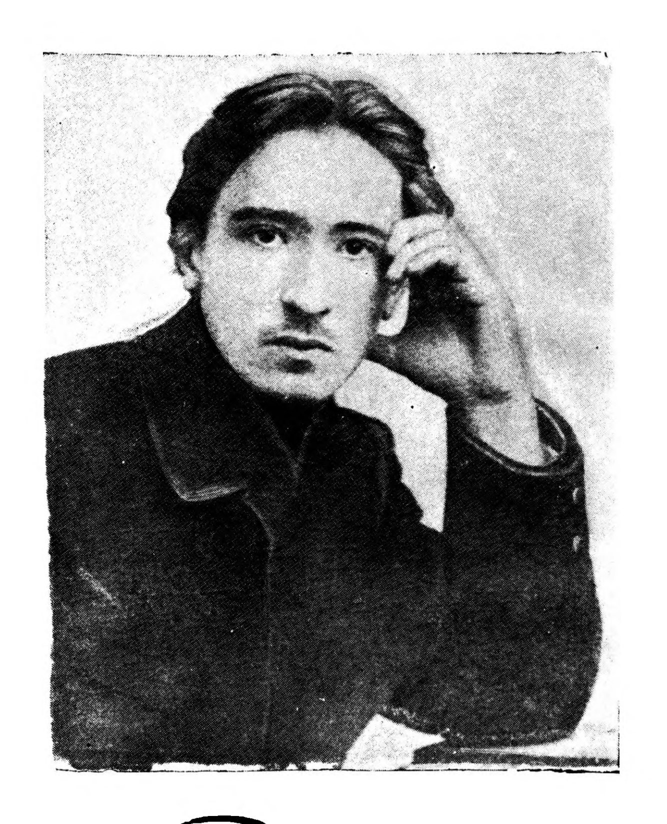
ПЕТР ШИРЯЕВ

Избранное



ПЕТР ШИРЯЕВ



ТАМБОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1962

Вступительная статья
В. Г. ЛИДИНА

Редактор-составитель
М. ШЕВЧЕНКО

ПЕТР ШИРЯЕВ

Петру Алексеевичу Ширяеву была дана недолгая жизнь; а для писательского действия в ней был отведен совсем малый срок. С молодых лет он начал скитания, принял участие в революционной борьбе, узнал суд, тюрьмы, арестантские роты, ссылку в Сибирь и, наконец, бегство и эмиграцию. Скитаясь по многим странам Запада, Ширяев особенно полюбил трудовой итальянский народ, изучил его язык и впоследствии радовался каждой возможности перевести на русский язык книги того или другого хорошего итальянского писателя.

Все, что Ширяев пережил сам, стало темой многих его повестей и рассказов. Они убедительны правдой жизни, узнанной лично, а не только наблюдаемой со стороны. В этом смысле большинство из того, что написано Ширяевым, очень располагает к себе.

Петр Алексеевич Ширяев появился в советской литературе в двадцатых годах. Первая мировая война застала его, как и многих политических эмигрантов, за границей, в Италии. Но, как и многие из тех, кто бежал из царских тюрем или ссылки, Ширяев ждал того дня, когда его родная страна сбросит с себя ненавистное самодержавие.

Редактируя как-то книгу автобиографий советских писателей, я попросил и Ширяева написать свою автобиографию.

— Надо подумать, — сказал он, — жизнь у меня была сложная и путаная, да и в литературе я сделал еще так мало!

Он долго не присылал мне своего жизнеописания и, наконец, прислал его в виде короткого письма:

«...Хуже обстоит дело с автобиографией: что писать и как? Удовлетворит ли Вас следующее:

От роду мне 38 лет. Когда-то был учеником Тамбовского Реального училища, откуда был изгнан позорно за «неблагонадежность». Пропутавшись около года после изгнания из Реального училища по лесам Ряз. губ. с ружьем и собакой, уехал в Москву, где сошелся с революционными организациями. В 1905 г. желторотым юношей дрался на баррикадах в Москве, в результате чего очутился в Бутырках. По выходе из тюрьмы ушел в революционную работу, перешел на нелегальное положение. Снова аресты, тюрьмы, суд и — лишенный всех прав и преимуществ — я был водворен в арестантские роты за вооруженное сопротивление при аресте. Потом ссылка в Сибирь, бегство и наконец эмиграция.

Франция, Италия, Бельгия ets, а в 1917 вернулся в Россию, побыл на фронте, а с 1924 начал писать. Первая вещь «Накипь» напечатана в «Новом мире» за 1925 г. № 3.

Вот приблизительно всё.

22.V. Москва. 27».

— Петр Алексеевич, — сказал я ему при встрече, — ведь это короче воробьиного носа, что вы мне прислали.

— Знаете, — засмеялся он, — когда я принялся за описание своей жизни для сборника о писателях, то подумал: чем короче напишу, тем более это будет соответствовать тому, что я сделал в литературе. Ведь сделал я пока еще очень мало.

Это было не самоуничижением, а в природе критически строгого к себе и совестливого писателя. Скромность писателя не добродетель, а следствие глубокого понимания своей ответственности и своего назначения, и чем глубже это понимание, тем строже к себе писатель. Ширяев поздно начал писать, и поэтому особенно дорожил каждым годом своей писательской жизни, молодое расточительство было ему уже «не по средствам», как шутливо сказал он мне как-то.

— Писать вообще нелегко, а когда сознаешь, что поздно начал и нужно наверстывать — тем более.

Его первую большую вещь «Накипь» приветил в 1925 году журнал «Новый мир», и с этой поры, собственно, и началась писательская деятельность Ширяева.

Как нередко случается в жизни, люди самого различного душевного толка и глубоко несхожие один с другим начинают вдруг дружить в такой степени, что становятся почти неразлучными: так дружил в те времена Ширяев с драматургом Павлом Сухотиным и поэтом, а впоследствии и прозаиком, Константином Большаковым. Дружба эта была не по общности творческих интересов, скорее, это было приятельство. Но по свойствам своей натуры Ширяев не упустил, наверно, ни одного случая проявить товарищескую верность: множество раз устремлялся он устраивать дела не слишком обласканных на своем литературном пути товарищей; сил, когда дело касалось кого-либо другого, Ширяев не жалел, хотя у него самого было их не так-то много.

Писатель Андрей Соболь, проведший с Ширяевым не один год в эмиграции — во Франции и в Италии, сказал о нем раз:

— Ширяев вроде бруска... общаясь с ним, оттачиваешь принципиальность, товарищ он удивительно верный — Петр.

Есть одна закономерность: когда писатель поздно приходит в литературу, ему предстоит с опозданием выработать и профессиональные навыки: рабочий стол требует не только усидчивости, он служит ежедневным напоминанием о том, что — подобно музыканту — надо непрерывно упражняться в своем деле, пусть это будет иной раз лишь простой гаммой. Этой профессиональной усидчивости, по всем обстоятельствам его скитальческой жизни, Ширяеву не хватало: он написал меньше, чем мог и задумал.

В однотомник Петра Ширяева вошло не все, написанное им; однако лучшее, что он написал, и в первую очередь, конечно, его отличная повесть «Внук Тальони». Задумав написать эту повесть, Ширяев специально уехал на один из конных заводов где-то возле Воронежа. Вернулся он оттуда свежо взволнованный, как это бывает всегда, когда писатель находит свою тему, притом в такой степени близкую, что остается только сесть за стол и понудить руку поспеть за мыслью. Одно все-таки несколько беспокоило Ширяева: он встретил на конном заводе другого писателя, страстно любившего лошадей и выпустившего незадолго до этого книгу «Конармия»; писателем этим был И. Бабель.

— Вы не спросите как-нибудь Исаака Эммануиловича, не заду-

мал ли он что-нибудь написать о лошадях? — попросил меня Ширяев стеснительно. — Ведь это было бы так неудачно, если бы мы стали писать на одну и ту же тему.

Бабель, великий ходок по жизни, романтик и тонкий наблюдатель, засмеялся, когда я спросил его о том, что беспокоило Ширяева.

— Пусть себе пишет, — сказал он, — моя тема не о лошадях, а о том, как лошади дышат и любят.

Гиперболизм Бабеля был всегда романтическим, и Ширяев успокоился. Потом он написал свою книгу «Внук Тальони».

Ширяев был человеком высокообразованным, но нигде и никогда не показывал это: мне кажется, что даже его близкие друзья не знали, что Ширяев в совершенстве владеет итальянским языком и может свободно, чрезвычайно близко к оригиналу, переводить с него. У меня хранится не одно письмо Ширяева именно по поводу его переводов с итальянского языка: вернувшись в ту пору из Италии, я принял некоторое участие в ознакомлении советских читателей с молодой итальянской литературой и привлек к этому и Ширяева. Он блистательно перевел тогда книгу Марио Собреро «Знамена и люди», выпущенную издательством «Федерация», и ряд рассказов Папини, Борджезе, Пиранделло...

«Простите, что карандашом. Пишу лежа — болен», — пишет он мне в одном из писем. «Джузеппе-Антонио Борджезе — сицилианец. Лучшие страницы романа «Рубе» те, в которых как раз говорится о Сицилии. Великолепны его «заметки читателя», хотя и не свободные от специфической идеологии издательской фирмы «Тревес»... Книга Лючио Риденти хороша вообще и будет иметь несомненный тираж. Актеры будут читать все. Перевод ея труден чрезвычайно в силу прихотливых скачков мысли, синонимов и специальных словечек, которым подыскивать эквивалент крайне трудно. В пятницу — ежели встану — в Союз приду и принесу статью Преццолини об экономическом положении итальянских писателей. Хороша для «Вечерки».

Эта сторона деятельности Ширяева мало известна; однако, при всей его любви к Италии, дело это было для Ширяева побочным. В 1927 году вышла его первая книга «Печальная комедия», а в 1928 году издательство «Круг» выпустило книгу его рассказов «Цикута». В рассказе, давшем название всей книге, Ширяев приоткрывает одну из трагических страниц прошлого: руководитель подпольной организации оказывается провокатором, предает одного за другим членов организации, и в образе присяжного поверенного Вениамина Аполлоновича Гудима можно узнать зловещую фигуру пресловутого провокатора Азефа. Повесть Ширяева «Внук Тальони» написана в традициях русской классической литературы: мы знаем изумительную повесть Л. Н. Толстого «Холстомер» и рассказ «Изумруд» Куприна; в повестях этих история одной лошади служит лишь для широкого раскрытия ряда судеб и общественных отношений того времени.

По всему тому, что заложено в книгах Петра Ширяева, по искренности их голоса, по строгости писателя к себе, книгам этим дано остаться во времени. Ширяев не писал проходных вещей; у него есть рассказы более сильные или менее сильные, но все написано им по внутренней необходимости, причем, как мне кажется, с постоянным ощущением, что сделано это не в полную силу: Ширяев принадлежал к тем достойным писателям, которые всегда

недовольны собой, всегда критически сами проверяют себя, но мы знаем, что это и составляет двигательную силу таланта. Писательская рука Ширяева была надежная, и будь ему дана более долгая жизнь, он несомненно написал бы еще многое, может быть, в конце концов и удовлетворившее его самого; впрочем, истинный художник никогда не бывает доволен достигнутым.

Некоторое время назад я получил письмо из районного центра Уварово Тамбовской области, где Ширяев родился. В письме говорилось о том, что земляки писателя Петра Ширяева чтят его память и устраивают вечера с чтением его произведений; прислали мне и номер районной газеты «Коммунар» со снимком дома, в котором писатель родился. Я глубоко порадовался не только тому, что имя Ширяева не забыто, но и тому, что его узнаёт новое молодое поколение читателей.

Книги Ширяева займут достойное место в советской литературе прежде всего потому, что они написаны искренне, человеком, боровшимся за народное счастье, познавшим много зла и несправедливости в прошлом и всегда верившим в светлое будущее своего народа. Этой верой и согрето все то, что успел Ширяев написать за свою недолгую жизнь.

Вл. ЛИДИН.



ВНУК ТАЛЬОНИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Наездник Олимп Лутошкин сидел у себя в столовой перед недопитым стаканом чаю, и у него было такое выражение лица, какое бывает у людей, потерявших последние деньги, когда за первым моментом испуга и отчаяния и часто нелепых попыток найти потерянное наступает безнадежное и злобно-сосредоточенное успокоение...

На столе лежали счета от шорника, ветеринарного врача, от кузнеца, беговая размеченная программа этого воскресенья, а пальцы правой руки, вытянутой по столу, мяли записку от очаровательной Сафир, в которой она смешно напоминала, что «завтра вечером я именинница».

Эту записку принес вчера Филипп, старший конюх, и, передавая ее, напомнил:

— Кузнеца опять встретил, лается и судом грозит.

Откинувшись на спинку стула, Лутошкин щурил глаза, и от этого сухое, красивое лицо его казалось злым и острым. Он уже не думал, где бы достать денег. Эти думы, не дававшие спать ночь, к утру осели безнадежной гущей; лишь изредка из этой гущи ядовитым пузырьком булькало воспоминание о деньгах, собранных им среди товарищей для больного наездника Гришина, и тогда Лутошкин скашивал глаза на лежавшую перед ним беговую размеченную программу и смотрел на нее так, как смотрит послуш-

ный охотничий пес на кусок мяса, который хозяин запретил ему трогать...

Шестьсот семьдесят рублей, собранные для Гришина, лежали в ночном столике, в спальне, а сегодняшние бега при крупной ставке в тотализатор обещали хороший выигрыш...

«Если зарядить во втором заезде на Голубку все шестьсот семьдесят... Кобыла не имеет права проиграть!.. — Лутошкин зажмурился. — А если?..»

Левая бровь болезненно поползла вверх; Лутошкин встал, подошел к большому зеркалу и долго смотрел на искривленное усмешкой лицо.

— ...тогда под-лец! — раздельно выговорил он вслух и повторил еще раз это слово так, будто писал его крупными, жирными буквами: — Пп-о-дд-л-е-ц.

«Хотя почему в сущности подлец? — неожиданно вынырнула откуда-то юркая мысль. — Проиграю — подлец, а выиграю — умница и честный? Чушь! Это же чушь, чушь! И потом, по существу, — все подлецы! Кто не подличает? Не платить два месяца жалованья конюхам разве не подлость? В конце концов все эти понятия о подлости и честности относительны...»

Мысли Лутошкина неодолимо устремились по пути переоценки всех ценностей. Он даже начал припоминать читанных на школьной скамье Шопенгауэров, Гартманов, Ницшей...

Был шестой час утра. В передней скрипнула дверь. Старший конюх Филипп с немытым опухшим лицом и закисшими глазами вошел в столовую.

— Кобылу-то собирать? — спросил он и, икнув, отвернулся, по-собачьи виновато, от Лутошкина.

Заострившимся взглядом Лутошкин впился в его лицо и с тихой угрозой застучал по столу пальцами:

— Если ты... еще раз заявишься на конюшню пьяный — выгоню к чертовой матери! Понял?

Округлое свекольное лицо Филиппа приняло плаксивое выражение. Он съежился, словно ему вдруг стало холодно, и хрипло заговорил:

— Что вы, Алим Иваныч?!. Одной росинки во рту не было!.. Будь я проклят, ежели...

— Сукин ты сын, вот что! — встал Лутошкин и, сунув в карман кителя секундомер, вышел во двор.

— Корм проела кобыла?

Филипп пренебрежительно сплюнул.

— Ко-орм?! Она кормушку могёт слопать, не то что корм! Заморенная, дьявол! На мое рассуждение, Алим Иваныч, толков из нее никаких не должно выйтить: и скучновата, и ребра мало, и...

— Помолчи, без тебя разберемся! — оборвал его Лутошкин.

Не отвечая на поклон двух конюхов, чистивших сбрую, он прошел в конец конюшни, к крайнему деннику.

Уткнув понурую голову в угол, серая кобыла даже не оглянулась на вошедших в денник наездника и конюха. Она казалась еще худее и унылее, чем вчера, когда ее привели. У Лутошкина неприятно засосало на сердце.

«Пожалуй, прав Филька, — ни рожи, ни кожи...»

— Собирай! — хмуро приказал он, выйдя из денника.

Филипп и оба конюха начали готовить серую Лесть к запряжке. Лутошкин стоял тут же и изредка бросал приказания:

— Спусти бинт!

— Ногавки давай!

— Чек!

По мере того как кобылу, словно невесту к венцу, облачали в беговой наряд, ее понурость исчезала; она заметно оживлялась, и в кротких, влажных глазах зажигались огни. Уши, вздрагивая как стрелки компаса, настораживались, нервные и чуткие к каждому звуку и к каждому движению конюхов. По тонким и сухим передним ногам пробегала чуть заметная дрожь. Из-за решетчатых дверей денников другие лошади смотрели с пугливой внимательностью на свою подругу, и некоторые из них били копытом в деревянный пол.

Лутошкину понравилось, что кобыла спокойна и в то же время чутка той чуткостью, которая сразу говорит наезднику об отдатливости лошади в работе и указывает, что у нее «много сердца». Как всякий наездник, он терпеть не мог лошадей тупых, «без сердца», хотя бы и очень резвых. Езда на таких лошадях вызывала в нем чувство, похожее на то, что человек с огромным аппетитом вынужден удовлетворять голод неприятным и невкусным блюдом...

Наблюдая за Лестью, Лутошкин вспомнил слова больного Гришина, по рекомендации которого владелец поставил в его конюшню эту лошадь:

«Кобыла старшего класса! Держись обеими руками за нее...»

Спустя полчаса он въезжал на беговой круг. Огромное пространство ипподрома, похожее на овальное блюдо, было ярко озарено утренним солнцем. Усыпанная желтым песком беговая дорожка красиво оттенялась сочною зеленью газонов и цветников по середине круга. Взад и вперед проносились американки: шла обычная работа лошадей. Лутошкин подобрал опущенные ноги и стал укорачивать вожжи. Лесть заиграла сторожкими ушами и, словно балерина, начинала перебирать ногами, когда навстречу или перегоняя проносилась американка. Лутошкин оглаживал ее голосом и успокаивал. Наездник Синицын, на вороном машистом жеребце, догнал Лутошкина и, скользнув взглядом по худой и лохматой Лести, насмешливо крикнул:

— С бойни?

Лутошкин промолчал. Лишь вожжи чуть дрогнули в руках, будто хотел он ударить кобылу...

Синицын никогда не пропускал случая посмеяться над Лутошкиным. Малограмотный, бывший лихач-извозчик, он не мог простить наезднику Лутошкину его интеллигентности, не мог примириться с тем, что Лутошкин когда-то учился в высшем учебном заведении и один из всех наездников посещал театры и концерты. «Ба-арин!» — часто язвил Синицын, намекая на его происхождение, и этим словом бередил самое больное место в самолюбии Олимпа Лутошкина. Лутошкин был незаконным сыном дворянина-помещика Варягина владельца захудалого конного завода в Рязанской губернии. Чудак Варягин питал непонятную страсть к античному миру, и в его конюшне все жеребцы носили громкие имена богов, а кобылы — богинь: Юпитер, Посейдон, Зевс вороной, Астарта, Венера серая, Венера караковая и так далее. Прижив с вдовой своего бывшего кучера Ивана Лутошкина, скотницей Марфой, сына, Варягин окрестил и его Олимпом и взял к себе в дом на воспитание. Вся нелепость последующей жизни Лутошкина, рожденного на скотном дворе от барина и скотницы, была как бы заранее предугадана и зафиксирована в этом сочетании чисто мужичьей фамилии и громкого имени, взятого из учебника истории древней Греции. Чудак Варягин скончался без предупреждения на конюшне в тот самый год, когда Олимп, окончив реальное, поступил в Горный институт и ревностно занялся восстановлением запущенного конного завода, но вскоре с позором был изгнан из имения законными наследниками, появив-

шимися неведомо откуда в образе двух престарелых дев. Страсть к лошадям определила дальнейшую судьбу Олимпа Лутошкина: из студента Горного института он превратился в наездника...

Согрев кобылу маховой ездой на полный круг, Лутошкин вынул секундомер и, заложив его в ладонь левой руки, принял кобылу на вожжи. Лесть словно ждала этого: сразу подобралась, нетерпеливо мотнула головой, прося свободы, и, переменив ногу, вытянулась в неодолимом устремлении вперед. Все еще боясь разочарований, Лутошкин невольно сдерживал ее и напряженно присматривался к движениям, но, видя, как свободно выносит она перед, отмечая мощный отхлест задних ног, он незаметно для себя отдавался растущему в нем восторгу и, забывая все сомнения, все заботы и все, что оставалось позади, сливался в одно с лошадью и неуловимым для постороннего глаза движением рук постепенно давал кобыле волю, чувствуя в ней огромный запас резвости. Сделав четверть круга, повернул назад, к старту, и у столба, щелкнув секундомером, выпустил кобылу. Лесть приняла первую четверть круга в такую страшную резвость, почти невероятную для неработанной лошади, что Лутошкин не поверил секундомеру и лишь на прямой у полукруга, снова взглянув на секундомер, убедился, что ошибки нет... Гришин сказал правду: серая кобыла была старшего класса.

Ноги, упиравшиеся в американку, задрожали и, скользнув, повисли вниз, сразу утратив упругость и силу; на лбу выступил обильный пот. Лутошкин слышал, как колотится у него сердце. К горлу подкатывался комок. Он сдержал кобылу, переводя ее на легкий тротт[1]. Почти сейчас же вырос рядом с ним вороной, блещущий порядком жеребец Синицына. Некоторое время Синицын ехал рядом, ухо в ухо, внимательно присматриваясь к кобыле; потом спросил:

— Откуда кобыла-то?

— С бойни! — срывающимся голосом ответил Лутошкин и съехал с круга.

Филипп и оба конюха встретили его у ворот двора. Обычно Лутошкин, въехав во двор, тут же, у ворот, слезал с американки и передавал лошадь конюхам. Но на этот раз он подъехал к самой конюшне. Филипп, не знавший результатов проездки, мгновенно понял, в чем дело, и, хотя и сгорал от любопытства узнать, как едет кобыла,

---

[1] Тротт — тихая рысь. *(Прим. авт.)*

ничего не спросил и, отстраняя конюхов, сам начал распрягать ее.

Освобожденная от бегового наряда, Лесть опять приняла свой понурый вид, как до езды, в деннике. Специальным деревянным ножом Филипп быстро и ловко соскоблил с нее пот, вытер соломой и набросил попону. Конюхи тем временем разбинтовывали ноги. Когда Филипп передал конюху повод для проводки, Лутошкин остановил конюха:

— Подожди!..

— Растиранье? — догадался сразу и не дал договорить ему Филипп и зарычал на конюха: — Какого же черта ушами хлопаешь? Давай флюид!

Закатав рукава выше локтя, он с необычным усердием начал растирать суставы и сухожилья покорно стоявшей Лести составом из свинцового сахара, настойки опия и воды. Лутошкин ходил вокруг лошади и указывал:

— Забирай повыше! Вот так! Сильней три, пониже, хорошо...

— Бинты-ы! — начал командовать Филипп конюхам, кончив растиранье. — Да смотри, у меня по сторонам не зевать, поведешь на проводку. Знаю я вас, чертей!.. Здесь, по двору, проваживай, на улицу не выводи!..

— Слушаюсь, Филипп Акимыч!

— Повод-то возьми покороче, распустил, как слюни...

Конюх вывел кобылу. Филипп из ведра сполоснул руки, вытер их о штаны и взглянул на Лутошкина.

В его заплывших от постоянного пьянства глазах был теперь один вопрос: «Как едет кобыла?» Вопрос невысказанный, сидевший гвоздем в мозгу с того момента, когда Лутошкин въехал после проездки во двор и не сдал конюхам лошадь, а сам подъехал на ней к конюшне. Этот вопрос имел для конюха такое же огромное значение, как и для наездника. В глубине души Филипп рассматривал старшего конюха даже выше наездника.

— Лошадь бежит от порядка, в каком она есть, а порядок от конюха! — говаривал он частенько и свое постоянное пьянство объяснял отсутствием высокого класса в конюшне Лутошкина.

— Очутись, к примеру, в деннике у меня Крепыш... Да будь я проклят, ежели одна росинка капнет мне в рот!..

Круглое лицо Филиппа отображало такое мучительное любопытство, его рот был так выразительно раскрыт, и так уморительно вздрагивала на кончике ноздреватого носа

крупная капля пота, что Лутошкин невольно рассмеялся, но все-таки ничего не сказал и, играя хлыстом, вышел из конюшни. Молча Филипп пошел за ним, в пятку, как пес. У дверей дома Лутошкин, не смотря на Филиппа, уронил куда-то в сторону:

— Кобыла сейчас должна приехать без сорок...

Филипп снял картуз с надорванным козырьком и перекрестился.

2

Войдя в столовую, Лутошкин бросил на стол картуз и хлыст и взволнованно зашагал из угла в угол.

Глубоко запрятанная, всегда жила в нем надежда на какую-то удачу, которая должна, наконец, разрубить не только гордиев узел из векселей, расписок и неоплаченных счетов, но и выдвинуть его в первый ряд классных наездников. Присутствуя в большие беговые дни на ипподроме при триумфах других наездников, он испытывал мучительное чувство бессилия и злобы. Его конюшня в ряду других была лохмотьями нищего, случайным сбродом посредственных лошадей, принадлежавших мелким охотникам. Дай ее в руки самого Вильяма Кэйтона — и его громкая слава погасла бы, как лампа без керосина. В такие минуты ему хотелось крикнуть рукоплещущей тысячной толпе зрителей, и триумфатору-наезднику, и миллионеру-владельцу какую-то оскорбительную правду, правду голодного — сытым, нищего — богатым; ту правду, которую впервые познал он в тот памятный день, когда ему сказали, что у него нет ни отца, ни имени и никакого права на жизнь.

— Твоя мать, голубчик, скотница!.. Какой же ты студент и наследник? Иди на конюшню!

Как часто потом, сталкиваясь с владельцами-коннозаводчиками, он припоминал этот день, припоминал два ехидно-ласковых старушечьих личика, обрамленных кружевными чепцами, запах одеколона и валерьяновых капель и пухлую маленькую ручку, протягивавшую ему пятидесятирублевую бумажку.

— Вот тебе, голубчик, на расходы, поезжай отсюда с богом...

И это припоминание жгло, мутило мысль; и богач-коннозаводчик не понимал, почему это наездник Лутошкин вдруг в середине делового разговора круто обрывал речь, бледнел и назначал за работу лошадей такую бешеную

цену, которой позавидовал бы сам Вильям Кэйтон, а на высказанное удивление отвечал высокомерно:

— Хотя я только конюх, но дешевле вы меня не купите... Да и вообще я разговаривать с вами не же-ла-ю, поняли?

И уходил. Уходил к какому-нибудь выскочке-владельцу из мелких мещан и, презирая их в глубине души, соглашался на нищенское вознаграждение, служил им и выезжал на ипподром на беспородном сброде, почти никогда не выигрывая первых призов и не зная восторгов победителя...

Серая Лесть пришла вдруг, словно из сказки... В том, что она была лошадью исключительного класса, — Лутошкин не сомневался. Перед ним теперь вставал другой вопрос: как сделать так, чтобы Лесть осталась у него в конюшне? Случайным владельцем кобылы был торговец из Замоскворечья. Тип таких владельцев был слишком хорошо знаком ему. Лошадь для них — только товар. В них не было страсти. Как монета с орлом и решкой, их мир был двусторонний: купить, чтобы продать, и продать, чтобы купить. И если сейчас Лутошкин пошел бы к хозяину Лести и рассказал бы ему об исключительном классе кобылы и о бесспорности ее беговой карьеры, в этом приземистом лабазнике с неподвижными серыми глазами отложилось бы от всех его рассказов только одно слово: барыш... Назавтра он начал бы искать покупателя, а так как репутации классного наездника у Лутошкина не было, то новый владелец Лести мог в любое время отобрать ее у него.

Остановившись у раскрытого окна, Лутошкин долго смотрел на кобылу, проваживаемую конюхом по двору. Накрытая попоной Лесть смиренно шагала взад и вперед и, вытягивая шею, пыталась ущипнуть зеленую травку. Ей не было никакого дела до вопросов и сомнений человека, пытливо наблюдавшего за ней из окна маленького домика в глубине двора. Соскучившись от бесцельного хождения по двору, она потянулась к голове конюха, губами стянула с него картуз и бросила.

Лутошкин улыбнулся и крикнул конюху:

— Пошли ко мне Филиппа.

Присев к столу, он набросал телеграмму владельцу конного завода Аристарху Сергеевичу Бурмину:

ПРОДАЕТСЯ КОБЫЛА ОТ ГОРЫНЫЧА И ПЕРЦОВКИ. СРОЧНО ОТВЕЧАЙТЕ. ЛУТОШКИН.

Бурмин был фанатиком орловского рысака и кобылу с такой породой не мог упустить в другие руки. Лутошкин это знал. Был он уверен и в том, что Бурмин согласится на его условие: не отдавать кобылу в работу никому, кроме него.

— У тебя деньги есть? — спросил он вошедшего Филиппа. — Отправь срочную телеграмму. Да смотри языком не трепи!

— Аль я совсем уж глупый, Алим Иваныч?! — весело обиделся Филипп. — На этом деле вырос!

Лутошкин помолчал, побарабанил пальцами по столу и нерешительно добавил:

— Зайди, Филя, к Семену Прохорычу... Попробуй хоть полсотни перехватить, а?

Филипп мрачно засопел. Телеграмму свертывал долго и тщательно, не глядя на Лутошкина. Потом решительно выговорил:

— Не даст.

Лутошкин скользнул взглядом по размеченной беговой программе на столе. Покосился на нее и Филипп.

— А если к Володьке? — еще нерешительнее сказал Лутошкин.

— Этот сам будет играть. Перед бегом у него отец родной наплачется из-за копейки. Нипочем не даст! Уж лучше к Семену Прохорычу попытаться... Только на мое мнение — не даст! Зайтить мне, конечно, ничего не стоит, но только не даст.

— Зайди, Филя... Скажи — до завтра, завтра отдам!..

— Сколько просить-то? — вздохнул Филипп.

— Полсотни... Иль проси всю сотню, завтра отдам, обязательно отдам!

За дверью спальни послышалась возня, и оттуда высунулась пепельная голова Елизаветы Витальевны. Филипп поспешно вышел. Болезненно-брюзгливым голосом Елизавета Витальевна спросила:

— Ты уходишь? Оставь, пожалуйста, мне денег. Ты же знаешь, у меня нет ни копейки!

— Денег у меня нет, — отрезал Лутошкин и взял со стола картуз и хлыст.

Ненавидящими глазами Елизавета Витальевна впилась в лицо мужа. Лутошкин следил за ее вздрагивающими губами и, угадывая слова, готовые с них сорваться, криво усмехался, а когда Елизавета Витальевна, ничего не сказав, хлопнула за собой дверью спальни, он шагнул

к двери огромным, неслышным шагом и припал к ней ухом. Мгновенье он оставался так, сдерживая дыханье, согнутый, без движенья... И вдруг хлыст дрогнул в руке и зловеще, словно хвост у кошки, заиграл кончиком по полу... Лутошкин ударом кулака с треском распахнул дверь.

— Что вы сказали? Повторите, что вы сказали! — хрипло выкрикнул он, подступая к Елизавете Витальевне, стоявшей перед постелью спиной к нему. — Ну? Не хотите! Нет? Нет? Хам! Мужик! Так вы сказали? Так?!

Искаженное, бледное лицо Лутошкина было страшно. Елизавета Витальевна повернулась к нему и, смотря на вздрагивающий хлыст в его руке, тихо проговорила:

— Не бей!

Некоторое время они оставались так, друг против друга. Елизавета Витальевна неотрывно смотрела на хлыст, и спина у нее была сгорблена.

— Не бей! — повторила она еще тише и вдруг, надломившись, села на неубранную постель и заплакала.

Резким движеньем Лутошкин дернул ящик ночного столика и, выхватив оттуда сверток с деньгами, собранными для больного Гришина, вышел из спальни.

В конце Башиловки Лутошкина догнал запыхавшийся Филипп.

— Телеграмму сдал, Алим Иваныч, квитанция вот, ну а прочее...

— Ничего не достал?

— Ни-и... и слушать не хочет!

— А у тебя есть деньги?

— Какие у меня деньги! Одиннадцать рублей всего.

— Давай их сюда.

Филипп почесался и полез в карман.

— Эх, хотел на Самурая поставить, глядишь — пятерочку подработал бы!..

— Ла-адно, твое от тебя не уйдет! Отнеси сейчас эти деньги Елизавете Витальевне, скажи — дома обедать не буду... Яшку не видел?

— Видел. К Митричу пошел.

Третьеразрядный трактир Митрича, неподалеку от ресторана «Яр», был излюбленным местом наездников; в свободное от работы время с утра и до ночи велись здесь споры о лошадях, наездниках, конюшнях и заводах, рассказывались всевозможные случаи из жизни ипподрома, устанавливались генеалогические линии рысаков, и без

конца пился чай, этот неизменный наезднический напиток. Хозяин трактира, приятный, круглолицый Митрич, в клетчатом жилете зимой, а летом в шитой малороссийской рубахе, познаниями в иппологии мог щегольнуть перед любым профессором и беспроигрышно играл в тотализаторе каждый беговой день.

Увидя входившего Лутошкина, едущего в этот день на верном Самурае, Митрич с почтительностью потряс ему руку.

— С праздничком, Олимп Иванович!

Лутошкин, ища глазами Яшку Гуськова, рассеянно ответил на приветствие Митрича, но Митрич прилепился пластырем:

— Едете сегодня, Олимп Иванович? Вне конкуренции должны приехать, жеребец-то у вас в поря-ядке! Много за него, конечно, не дадут, фаворит будет на тринадцать с полтиной...

Гуськов пил в углу чай. Лутошкин подсел к нему и заказал коньяку и лимонаду. Выждав, когда отойдет Митрич, он посмотрел в красивое цыганское лицо Гуськова и тихо сказал:

— Есть дело!

Блестящие глаза Яшки заиграли и забегали по соседним столикам. Он придвинулся ближе. Лутошкин налил в стопки коньяк и лимонад. Митрич, наблюдавший за ними из-за стойки, вдруг забеспокоился. Тихий разговор за уединенным столиком двух наездников, едущих в одном и том же заезде, навел его на размышления, от которых приятно защемило под ложечкой, а шитый ворот малороссийской рубахи вдруг показался узким...

«Сплав?»[1] — радостно отпечаталось в его мозгу чудодейственное, всеобещающее слово.

Но следом пришли другие, расхолаживающие мысли, целый ряд увесистых и, казалось, неопровержимых соображений.

Беговую программу этого воскресенья Митрич знал наизусть. В пятом заезде шло шесть лошадей. Первым номером на Самурае ехал Лутошкин, третьим номером на рыжей Заре — Яшка. Проиграть на Самурае Заре Лутошкин не мог без риска быть уличенным в сговоре с Гуськовым. После такого проигрыша владелец Самурая,

---

[1] Сплав — сговор, сделка (жаргон лошадников-беговиков). *(Прим. авт.)*

наверняка, отберет его у Лутошкина, тем более, что в руках прежнего наездника Гришина Самурай не знал проигрыша. А без Самурая Лутошкину — хоть закрывай конюшню, остальные лошади у него барахло...

— Но Лутошкин до зарезу нуждается в деньгах! — возражал сам себе Митрич. — Сидит без копья, Филька обегал всю Башиловку.

— На Самурае я выиграю, как хочу, — тихо говорил между тем Лутошкин Яшке, — всех за флагом брошу... Тебе и второго места не видать. Понял?

— Понимать тут нечего!

Лутошкин залпом выпил стопку и впился глазами в лицо Гуськова.

— А жеребец у меня сегодня может не заладить, — проговорил он, подчеркивая последнее слово, — первую четверть приму порезвей, все сдохнут. После такого приема Самурай будет на сбою... Понял? Если ты побережешь кобылу с приема...

Гуськов метнул воровским взглядом по сторонам и чуть заметно кивнул головой.

— Заметано? — одними губами спросил Лутошкин.

— Поехали! — так же тихо ответил Яшка.

— Олимп Иванович, — заискивающе заговорил Митрич Лутошкину, когда тот поднялся уходить, — так мы уж на вас, как в банк...

Его карие глаза прыгали от Лутошкина к Гуськову, ища ответа на неразрешенный вопрос: «Кто?.. Самурай или Заря? Лутошкин или Яшка?»

— Да ведь разыграют, сволочи, получишь свою десятку обратно! — зевая, ответил Лутошкин.

— Мы за большими рублями не гонимся, Олимп Иванович! Уж очень лошадка-то у вас верна, Олимп Иванович! На Яшу я вот и полтинника не поставлю...

За коньяк Лутошкин расплачивался деньгами Гришина. Вынул из кармана все шестьсот семьдесят рублей и долго рылся в пачке, ища пятерку. У Митрича запрыгала правая бровь. Он был уверен, что Лутошкин без денег...

Проводив Лутошкина до двери, Митрич сел у столика, за которым только что сидели два наездника, и мучительно задумался...

Придя на бег, Лутошкин разыскал в рублевых местах барышника Арона и сунул ему шестьсот рублей.

— В пятом заезде поставь на третий номер. Тут ровно шестьсот.

Арон выкатил глаза.

— На Яшку?

— Да.

— На Зарю?!

Арон торопливо проглотил слюну и забормотал с такою поспешностью, будто во рту у него была швейная мастерская:

— Шестьсот рублей таки-ие деньги, ай-ай-ай! Заря была же только без тридцати семь, она же никакая лошадь, когда едет Самурай, она же сдохнет на первой четверти; хорошенькое дело будет, если она придет, когда едет ваш жеребец. Какой дурак так думает?..

— Жеребец не ладит, — мрачно сказал Лутошкин.

— Самурай не ладит?! — удивленно подхватил Арон.— Но я же, Арон, вот этими собственными глазами видел его на проездке, и он шел, как Вильгельм по несчастной Бельгии...

— Ладно! — оборвал его Лутошкин. — Потом поговорим! На третий номер в пятом.

— А если застраховаться в двойничке? — предложил Арон, но Лутошкин только поморщился.

Когда Арон повернулся уходить, Лутошкин остановил его и, порывшись в кармане, вынул еще несколько бумажек.

— Тут вот еще шестьдесят пять рублей, поставь и эти...

Не оглядываясь, Лутошкин пошел в наездническую. На лестнице до его слуха дошла кем-то брошенная фраза:

— ...может прийти Ветелочка. Кобыла те-емная...

Лутошкин вздрогнул, словно его ударили, и остановился. Перед ним возник образ вороной ладной лошадки, недавно появившейся на ипподроме и принадлежавшей никому не известному В. К. Кокореву. Ветелочка шла в том же пятом заезде. Ехал владелец.

Обернувшись назад, он увидел на площадке лестницы двоих, по одежде и лицу принадлежавших к людям откуда-нибудь из Замоскворечья, близ Конной площади, которые неизвестно как ухитряются пронюхать о самых сокровенных замыслах наездников и владельцев, знают наперечет всех лошадей ипподрома, их порядок и играют почти без проигрыша в тотализатор; грубые, самоуверенные и наглые, с воловьими бритыми шеями, в суконных картузах, они заполняют дешевые места трибун и

яростно освистывают наездника, если он случайно обманет их ожидания.

Первой мыслью Лутошкина было подойти к ним и спросить о Ветелочке, узнать хоть что-нибудь о вороной кобыленке... Пусть они ничего не скажут: одного намека, выражения лица было бы для него достаточно.

Один из них был высокий и весь жесткий, с коротко подстриженной огненной бородкой; другой — в летней поддевке нараспашку, ярко-румяный, стоял, широко растопырив ноги, и ковырял в носу.

— Ее и надо сыграть. Полсотни поставим, а Кокорев подгадить не должен! — произнес высокий тем же самым гнусящим голосом, каким была произнесена услышанная Лутошкиным фраза.

— Я — как ты, Максим Семеныч; по четвертному, значит? — отозвался другой.

В мыслях Лутошкина все перемешалось... Заря, Самурай... Яшка, и больной Гришин, и именины Сафир; и над этой сумятицей, словно зловещая световая реклама в движеньи и шуме ночной жизни, два слова:

«Кобыла те-емная...»

Шестьсот семьдесят рублей, собранные для больного Гришина, унес Арон, а с бегового круга уже доносились удары колокола, возвещавшие начало бегового дня...

3

Над постелью Егора Ивановича Гришина висели наезднические доспехи: черный шелковый камзол, зеленый картуз, очки и хлыст, а под хлыстом — секундомер. Егор Иванович с постели почти не вставал. Лежа в одиночестве, он целыми днями рассматривал эти знакомые до мелочей вещи и все забывал сказать Авдотье Петровне, чтобы она зашила распоровшийся шов на правом рукаве камзола... Иногда снимал со стены секундомер и подолгу наблюдал за прерывистым бегом стрелок, и таинственное чередование секунд и минут вызывало в нем знакомые образы лошадей, изученных и измеренных этой машинкой. То останавливая, то пуская его, Егор Иванович определял резвость воображаемых рысаков, высчитывая верстовые и полуторные четверти, резвость приемов и поворотов, проскачки и финиши, подбирал из знакомых крэков ипподрома компании и пускал их на полторы, на три вер-

сты, перевоплощаясь из наездника в стартера, из стартера в судью, из судьи в зрителя...

Входила Авдотья Петровна.

— Что ты с секундомером-то все возишься, уснул бы часок!

— Прикидываю, прикидываю, старуха, в какую резвость на Девичье еду? — шутил Егор Иванович, щелкая секундомером. — Помереть, старуха, не страшно, а вот сосет тут, как подумаю — ипподрома-то там и нет!.. Разок бы разъединственный еще на круг попасть, потешить сердце!..

Авдотья Петровна со вздохом брала у него из рук секундомер и вешала на место. И уходила, незаметно вытирая мокнувшие глаза.

Снова оставаясь один, Егор Иванович вытягивал исхудалую руку по стеганому одеялу и, сжимая и разжимая пальцы, рассматривал ее... Совсем еще недавно эта рука, теперь бессильная и ни на что не пригодная, ломала надвое подкову и могла остановить на полном ходу любую лошадь... Сколько их прошло через эти руки?! Серые, вороные, гнедые, злобные и добрые, отбойные и покорные, повиновались они каждому движению пальцев, чутко ловили малейший трепет вожжей и мчали, и уносили его по замкнутому кругу ипподрома.

На стене, против постели, висела большая фотография, изображавшая могучего серого жеребца. Это была первая лошадь, на которой двадцать лет назад Егор Гришин въехал на беговой круг Московского ипподрома и выиграл свой первый приз.

Глядя на него, Егор Иванович припоминал прожитую жизнь, и она вставала перед ним, как один непрерывный бег. Бег без начала и конца, без старта и без финиша. Не множество рысаков, а один неутомимый, не знающий устали, с стальным сердцем и мускулами, призрачный Рысак мчал его все эти двадцать лет по замкнутому кругу огромного, бесконечного ипподрома... Шумная, взволнованная жизнь проносилась мимо, уплывала назад, исчезала, чтобы надвинуться снова и снова исчезнуть позади, а впереди — стремительная дорожка безначального и бесконечного круга...

Лутошкин приехал к Гришину после бегов.

— Алимушка?! Вот хорошо, вот хорошо! — как ребенок подарку, обрадовался Егор Иванович и даже встать хотел, но Лутошкин удержал его.

— Я на одну минутку, деньги тебе привез...

— Какие там деньги, раздевайся, рассказывай!.. Что у вас там? Как сегодня денек? Вильям ехал? Рассказывай, садись! Как Бирюза? Компания с ней подобралась классная!

Лутошкин вынул из кармана шестьсот семьдесят рублей и положил их на стул у постели.

— Вот собрали мы между собой... — начал он, но Егор Иванович сердито отодвинул деньги, не глядя на них.

— Потом, потом скажешь!.. Деньги мы с тобой видали! Потом скажешь. Говори, какие дела на кругу делаются? На Самурае-то ехал нынче?

— Ехал.

— Как?

— Никак.

Егор Иванович вскинул быстрый взгляд на Лутошкина, и на лбу у него торопливые завозились морщинки. Сунув под подушку руку, он вытащил беговую программу, открыл на пятом заезде, прочел и уставился вопросительно на Лутошкина.

— Галопом столб! — деланно громко сказал Лутошкин.

Егор Иванович щипнул свою мужицкую русую бороденку и запыхтел, как еж, которого дразнят. Некоторое время оба наездника молчали. Лутошкин наблюдал за лицом Гришина и, угадывая его мысли, нервно подергивал ртом, готовясь отвечать.

— Яшка, стало быть? — глухо выговорил Егор Иванович.

Лутошкин утвердительно мотнул головой, отвернулся и крупно зашагал по комнате, похрустывая пальцами.

— Та-а-ак... — протянул Егор Иванович.

Оба долго молчали.

Лутошкин подошел к постели и уставился в хмурое лицо товарища.

— Егор!

— Чего?

— Нехорошо, скажешь? — выговорил Лутошкин после долгой паузы и, не дождавшись ответа, заговорил торопливо: — А по-моему, хорошо! Так им, чертям, и надо! Мало мы их кунаем, почаще бы их так!.. Приедешь — свистят, а не приедешь — лаются. А посади каждого из них в мою шкуру! Два месяца конюхам не плачу, до ручки дошел. На призу едешь, а в голове бухгалтерия итальянская: шорнику столько-то, кузнецу завтра столько-то, в

ломбарде столько-то... Эх, Егор, надоело, наелся! Тебе можно говорить, у тебя первоклассный материал в конюшне был, а у меня что?!

— А теперь и Самурая владелец отберет,—сказал Егор Иванович.

— И черт с ним! На одном Самурае далеко не уедешь!

— А я вот, — помолчав, раздумчиво заговорил Егор Иванович, — за двадцать лет ни разу ездой не слукавил. Ни разу, Алим! На совесть ехал. А скажи, сколько Егор Гришин на своем веку кордонружа выпил? Сколько его в других влил?.. Окия-ян!.. Яшка, — он ноне на кругу, а завтра холуем в трактир пойдет, ему наездническая честь не дорога; а тебе репутация, репута-а-ция нужна, Алим, от нее и класс будет в конюшне.

Егор Иванович щёлкнул пальцами по программе и с горечью воскликнул:

— Проигра-ал-то кому-у?! Заре!! Ни роду, ни племени, четыре ноги да хвост, а кроме ничего!.. Э-эх, Алим!..

Лутошкин молчал. Никаких угрызений совести за свой намеренный проигрыш на Самурае он не испытывал. Напротив, в нем жило злобное чувство удовлетворения. Когда после проигрыша Самурая он выехал на проездку на другой лошади, обманутая им многотысячная толпа встретила его улюлюканьем, свистом и руганью, и он первый раз в жизни ощутил вдруг свое превосходство над всеми этими орущими людьми и, отдаваясь во власть этого чувства, перевел лошадь на медленный шаг, ближе к решетке, отделявшей его от толпы, потом совсем остановился, как бы бросая молчаливый вызов беснующимся трибунам... И рев вдруг сразу стих, и в тишине чей-то голос сверху восхищенно крикнул: «Браво, Лутошкин!» Этот возглас прозвучал для него единственным человеческим голосом в зверином жадном реве толпы, и воспоминание о нем хотелось хранить, как ценный приз.

Присев на кровать, Лутошкин рассказал об этом Егору Ивановичу.

И лицо Гришина вдруг повеселело. Он сочувственно улыбнулся Лутошкину и несколько раз повторил:

— Это ты правильно! Молодец! Так их и надо!

Потом с неожиданной суровостью спросил:

— Лесть как?

Обеими руками Лутошкин взял худую руку Егора Ивановича и крепко пожал ее.

— Что-о?

— Знаешь, как едет кобыла? — воскликнул Лутошкин и зажмурился. — Страшно едет! Без двенадцати полуторную приняла, — думал, секундомер врет...

Егор Иванович отбросил одеяло и, быстро вскочив с постели, схватил Лутошкина за пиджак и начал трясти.

— Говорил тебе... Говорил... А поро-ода, порода-то какая, Алим! От Горыныча-а, правнучка соллогубовского Добродея, внучка Летучего и Ладьи. Бриллиантовая руда-а кровца-то!.. Верь мне, верь Егору Гришину, держись за кобылу обеими руками, она тебя вывезет. Я все обдумал, пиши сейчас Бурмину, телеграмму пошли, — он купит! Орловскую не упустит, за такую породу никаких денег не пожалеет! Тебя он уважает, оставит ее у тебя в конюшне, другому не отдаст. Строчи сейчас телеграмму... Так и так, мол, от Горыныча и Перцовки... Так, говоришь, полуторную без двенадцати?

— Не поверил, понимаешь, не поверил, — возбужденно заговорил опять Лутошкин, — глянул, сердце зашлось, сдержанно полкруга без двадцати трех, сдержанно, понимаешь?

Он встал и взволнованно прошелся по комнате.

— Знаешь, Егор, если б деньги были — ни за что не упустил бы кобылу, сам купил бы...

Егор Иванович сел на кровать и задумался; потом исподлобья долго и сосредоточенно смотрел на Лутошкина.

— Зря говоришь, Алим. Для наездника ни к чему такие слова! Сердце у нашего брата должно быть вольное, прилепишься к лошади — руки потеряешь. Сколько их вот в этих руках перебывало, а никогда в мыслях не держал, чтоб приобресть. Вон он, — Егор Иванович поднял глаза к фотографии серого жеребца против постели, — мог и его купить, ан нет, уберег себя! А уж любовь у меня с ним была-а, такой теперь нету, двадцать лет прошло, а помню...

Егор Иванович вздохнул и понурился.

В одном белье, исхудалый, в спадающих штанах, был он маленький и жалкий. Странным казалось, что не так давно этот невзрачный человечек, с простым лицом рязанского мужичка, был достойным соперником самого Вильяма в тонком и сложном искусстве езды. Лутошкин, глядя на его прозрачные, неживые руки, припоминал слова одного охотника-ездока, к которому попала лошадь, бывшая в работе у Гришина: «У нее так верен рот — ни на

одной стороне нет лишнего золотника. Таких рук, как у Гришина, на ипподроме нет и не будет».

Лутошкин осторожно положил ему на плечо руку и с печальной мягкостью в голосе проговорил:

— Зачем встал, Егор, лежи!..

Егор Иванович вздохнул и понурился.

— Эх-эх, Алимушка, отъездился Егор Гришин, крышка, брат!

Слушая тяжелое, прерывистое дыхание товарища, Лутошкин искал в себе какие-то слова утешения и не находил, и было нехорошо от мысли, что сейчас от Егора он поедет на именины к Сафир, а потом в «Яр»...

— Что за деньги привез? — недовольным голосом спросил Егор Иванович, залезая под одеяло.

— На лечение собрали тебе... Пригласишь хорошего доктора, авось и...

— Еще чего?!—запыхтел Егор Иванович.—Доктора!.. Доктор теперь ни при чем! Деньгам перевод, ничего кроме. Отъездился! На всяких ездил, двадцать лет ездил... Нонче на серой, а завтра на гнедой, на вороной, на разных гонял, ан выходит, по настоящему-то теперь вот еду... Финишем, Алим, еду к столбу...

Прошло два дня. В среду все наездники получили краткое письменное приглашение от Егора Ивановича Гришина пожаловать к нему на рюмку водки...

Авдотья Петровна пыталась отговорить Егора Ивановича, но он был неумолим. Вытаскивал из-под подушки деньги, оставленные Лутошкиным, отсчитывал бумажку за бумажкой и отдавал приказания:

— Икру в Охотном возьмешь, да смотри, чтобы первый сорт... Балык там же. Кордонружу две корзинки, коньяку пять звездочек... Да не забудь для Семена Иваныча мадерки, он мадерку лю-юбит, а Ваське—рому...

— Довольно тебе, хватит! — говорила Авдотья Петровна.

— Знаю, знаю, что делаю, — обрывал ее Егор Иванович и прекратил свои приказания только тогда, когда все шестьсот семьдесят рублей превратились в горы закусок и целые батареи всевозможных водок и вин.

— По-наездницки, чтоб начисто! — приговаривал он и счастливо улыбался, осматривая с порога спальни накрытый стол, и волновался, когда замечал какой-либо непо-

рядок. — Петя-то что тебе сказал? Ты в руки отдала ему записку? Сказал — приедет?

— Сказал — приедет, — со вздохом в десятый раз повторяла Авдотья Петровна.

— Приедет, приедет! — успокоенно повторял и Егор Иванович. — К кому другому, а к Егору Гришину приедет, все бросит, а приедет... Помню, раз у «Яра» с Алимом гуляли... Слышим — в соседнем кабинете Петькин голос, поет... Посылаю я человека туда, говорю: «Зови к нам Петю». — «Ничего, говорит, не выйдет из этого, Егор Иванович, потому фон Мекк там гуляют и специально его к себе пригласили». Ну, а мы с Алимушкой ему записку: «Хоть ты и миллионщиком приглашен, а мы рядом в кабинете по-наездницки гуляем». Минуты не прошло, смотрим — вваливается к нам, всех фон Мекков к лешему! Знает Петька, кому его песни нужны, зна-а-ет!.. Поет, а мы, бывало, плачем, а иной раз и сам заревет. Раз и гитару расшиб вдребезги, душой не стерпел. Нет такого человека во всей Москве, чтобы «По старой Калужской дороге» так мог спеть, как Петька Рассохин. Многих слыхал, а таких нет еще.

Егор Иванович присел на стул и задумался. Опустил на грудь голову и долго сидел так, смотря в одну точку. Потом смахнул со щеки слезинку, вздохнул, встал с видимым усилием и, окинув еще раз взглядом приготовленный для гостей стол, попросил Авдотью Петровну закрыть дверь спальни и не тревожить его.

— Скоро придут... Приготовиться надо, отлежаться малость... Все, все соберутся, по-наездницки, по-хорошему...

Авдотья Петровна накрыла его стеганым одеялом и вышла, плотно прикрыв дверь в столовую.

Егор Иванович закрыл глаза и долго лежал в той же позе, в какой оставила его Авдотья Петровна. Лежал и прислушивался к своему телу. Обычно он его не ощущал, а ощущал и слышал то, что было где-то внутри, что давало жизнь мыслям и чувствованиям. Но теперь он вдруг в первый раз почувствовал тело и удивился его свинцовой тяжести. Особенно ноги... Они лежали под одеялом, как две чугунные сваи, одна на другой, плотно, словно склепанные, и не было такой силы, которая могла бы изменить их положение. Кто-то сложил их так навечно, навсегда... И от них эта чугунность, непреоборимая и вечная, надвигалась постепенно на все тело, наливала тяжко пальцы

рук, плечи и голову, вдавливая ее в подушку. В бореньи с ней Егор Иванович шевельнул правой рукой, лежавшей поверх одеяла, и стал поднимать и опускать ее, сгибая в локте, а когда ощутил тяжесть век, ему вдруг стало страшно, и он постепенно открыл глаза... Увидел справа на стене черный камзол, зеленый, необычайно яркий картуз, огромные очки и хлыст, и под хлыстом секундомер. Секундомер шел...

Оторвавшись от секундомера, Егор Иванович с усилием передвинул глаза к любимой фотографии серого жеребца. И серый Рысак вышел из черной рамы и стал у постели, нагнув голову, стальной, могучий и готовый принять седока...

Двигавшаяся вниз и вверх правая рука поднялась в последний раз и долго не хотела опускаться...

4

Аристарх Сергеевич Бурмин, низко склонившись к столу, рассматривал что-то на белой накрахмаленной скатерти, и черный квадрат его ассирийской бороды вздрагивал. В столовую вошла экономка, белобрысая, затянутая в корсет, и подала ему телеграмму. Не взглянув на телеграмму, Бурмин отложил ее в сторону, медленно выпрямился, и его указательный палец вопросительно ткнул в скатерть.

Адель Максимовна, вспыхнув, быстро нагнулась к столу к тому самому месту, куда упирался палец в золотом широком перстне, и ничего там не увидела. Палец поднялся и опустился еще раз на то же самое место.

— Я спрашиваю вас, что это? — деревянным голосом выговорил Бурмин.

— Но тут ничего нет. Где? — робко спросила Адель Максимовна и дунула на скатерть.

— Передвиньте мой прибор на другое место!

На лице Адель Максимовны проступили мелкие капельки пота. Торопливо она переставила прибор на другую сторону стола и, непонимающая, растерянная, попыталась еще раз увидеть на скатерти то, что заставило Аристарха Сергеевича Бурмина пересесть на другое место, и еще раз ничего не увидела.

Бурмин кашлянул, когда она, выходя из столовой, дошла до двери. Это было признаком его желания что-то сказать. Адель Максимовна быстро подошла к нему.

— Муха-с, — проговорил Бурмин и выдержал долгую паузу, — муха, понимаете, посидела и оставила-с... гуа-а-но! А вы изволили туда мой прибор поставить? Ступайте!

Придвинувшись к столу, Бурмин принялся за чай. Прежде чем намазать на хлеб масло, он внимательно со всех сторон осмотрел хлеб, потом масло и нож и, намазывая, тщательно следил за тем, чтобы масло легло ровным слоем и закрыло все дырочки. Налив чаю, поднял стакан и долго рассматривал его на свет. Телеграмму он вскрыл после завтрака, в кабинете, огромном и неуютном, похожем на старинный сундук. Спинка у деревянного кресла перед письменным столом изображала дугу, а ручки — два топора. На дуге — пословица резными буквами: «Тише едешь, дальше будешь». И на сиденье — пара деревянных галиц, мешающих удобно расположиться в кресле. Таким же неудобством отличался и большой книжный шкаф благодаря особому устройству раздвижных дверок, закрывавших при всяком положении всю среднюю часть шкафа так, что достать книгу, стоящую на середине полки, было почти невозможно. Против письменного стола на видном месте висела в богатой раме копия с известной старинной гравюры, изображавшей графа Орлова на сером Барсе, родоначальнике орловских рысаков, а под ней — большой фотографический снимок Крепыша и его знаменитые предки: Громадный, Громада, Летучий, Волокита, Кокетка...

В спорах, раздиравших в это время российских коннозаводчиков, Аристарх Бурмин был непоколебимым сторонником орловского рысака и носил в своем бесстрастном сердце окаменелую ненависть к американской лошади и ко всем тем, кто ратовал за ввод в Россию американских производителей. На письменном столе у него лежала заводская книга в тисненом кожаном переплете, куда записывались рожденные в его заводе жеребята. На первой странице из бристольской бумаги была изображена золотом виньетка — лавровый венок и в венке слова:

СЛАВА ОТЕЧЕСТВА НЕ ПОМЕРКНЕТ, ИБО ГЕНИЙ ОРЛОВСКОГО РЫСАКА БЕССМЕРТЕН. КОННОЗАВОДЧИК АРИСТАРХ БУРМИН.

Телеграмма была от Лутошкина. Бурмин два раза перечитал ее и задумался. Лутошкина он знал давно и внимательно следил за его наездницеской карьерой.

К этому у него были серьезные основания. Юношей он как-то присутствовал при разговоре отца с одним из его приятелей и был поражен рассказом об известном споре конnозаводчика Стаховича со своими друзьями. Стахович утверждал, что от жеребца и кобылы, по его выбору, каких угодно мастей, но только не рыжей масти и ее оттенков, он выведет жеребца именно рыжей масти. Пари было заключено, и, к изумлению противников, в заводе Стаховича появился жеребенок рыжей масти от отца и матери, которые были совершенно других мастей. Этот рассказ породил в мозгу юного Аристарха мысль, с которой он потом уже не мог расстаться, мысль о наезднике.

Скрестить классного наездника с потомками другого классного наездника и таким путем вывести в конце концов наездника гениального... приблизительно так решил тогда же юный Аристарх. К этой мысли он не раз возвращался и впоследствии, когда после смерти отца сделался полным хозяином конного завода, и, встретив на бегах в Москве Олимпа Лутошкина, он вдруг вспомнил, что Варягин, отец Лутошкина, был известен как знаменитый тренер, а мать Лутошкина, скотница Марфа, была дочерью не менее замечательного Ивана, варягинского кучера, прославленного редким искусством езды. Олимп Лутошкин не понял тогда, почему это Бурмин вдруг оборвал на полуслове разговор и таким странным и долгим взглядом посмотрел на него, а отойдя, начал торопливо что-то вписывать в свою большую записную книжку в малиновом переплете из сафьяна.

Полученная телеграмма лишний раз напомнила Бурмину о существовании Олимпа Лутошкина. Из нижнего ящика письменного стола он достал записную книжку в малиновом переплете и, неторопливо перелистав ее, остановился на записи, сделанной тогда на бегах в Москве при встрече с Лутошкиным.

— «Лутошкин от Варягина и Марфы. Марфа? Срочно установить, от кого Иван Лутошкин, и вообще генеалогические линии!» — гласила бисерная запись.

Про отца Варягина рассказывали, что он мог совершенно точно определить на выводке жеребят по одному внешнему виду, от кого данный жеребенок. А когда ослеп, то по звуку копыт бежавшей лошади безошибочно угадывал, какая лошадь бежит. Дед Варягина Варлаам Варягин славился как борзятник и любитель скаковой лошади, а бабка Евдокия Никитишна сломала шею на травле вол-

ка. Варягины были соседями Бурмина по имению, и их генеалогия не была трудным делом. Мудренее было с предками Марфы...

«Вот если бы Марфа была лошадью!» — подумал Бурмин и разгладил ладонью полученную телеграмму.

ПРОДАЕТСЯ КОБЫЛА ОТ ГОРЫНЫЧА И ПЕРЦОВКИ. СРОЧНО ОТВЕЧАЙТЕ. ЛУТОШКИН.

В мозгу человека, не посвященного в тайны науки о лошадях, эти два имени вызвали бы самое бо́льшее — образы Горыныча и Перцовки, если он их видел когда-нибудь. Но Аристарх Бурмин недаром проводил ночи напролет, склонившись над книгами и тетрадями, вписывая туда своим бисерным почерком заметки о лошадях, устанавливая генеалогию отдельных рысаков, подмечая отличительные свойства как отдельных лошадей, так и целых семейств и родов, их способность передавать потомству то или иное качество и прочее. Запершись в своем огромном и неуютном кабинете, Бурмин, как алхимик в поисках чудодейственного эликсира, сталкивал кровь дедов и внуков, сестер и братьев, отцов и дочерей в упрямой и тайной надежде напасть на такое сочетание кровей, которое вдруг вспыхнет ослепительным блеском гения, как вспыхнула орловская кровь в гениальном великом Крепыше. И эта огромная, кропотливая работа раскрывала перед ним все лошадиные имена, наполняя их физически ощутимым содержанием. Горыныч был сыном славного Летучего и внуком соллогубовского Добродея, а Добродей — дед Громадного и прадед великого Крепыша...

Кто знает — не таит ли в себе предлагаемая дочь Горыныча и Перцовки священный огонь гения? Разве в ней так же, как и в Крепыше, не собрался максимум генеалогических данных для произведения потомка исключительного класса?

Накрыв волосатой рукой телеграмму, Бурмин отвалился на спинку кресла и окаменел в безмолвном созерцании проходивших перед ним царственной вереницей жеребцов и кобыл, знаменитых прадедов и дедов, отцов и детей... И, словно это было не в мыслях, не в кабинете за письменным столом, а в яви, на выводке, он отмечал каждого из них кивком головы, и в улыбке у него тихо вздрагивал черный квадрат бороды...

В кабинет вошла Даша, красивая и плутоватая жена повара Димитрия.

— В баню-то ай не пойдете нонче? Митрий заждался!

Бурмин оглянулся на нее, придвинул четвертушку бумаги и написал ответную телеграмму Лутошкину:

ПОРОДА ДОСТОЙНАЯ, ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ПОРЯДОК, ВОЗРАСТ, КТО ПРОДАЕТ, ЦЕНУ. АРИСТАРХ БУРМИН.

— Поди сюда! — кивнул он Даше.

Даша оглянулась на дверь, хихикнула и, виляя выпуклыми бедрами, подошла к столу. Бурмин внимательно осмотрел ее ловкую, плотную фигуру, и правый стрельчатый ус его странно шевельнулся.

— Вот телеграмма, — заговорил он, раздвигая паузами слова и не переставая шарить глазами по фигуре Даши, — отдашь Павлу отправить на станцию...

Поймав Дашу за руку, протянувшуюся к телеграмме, он привлек ее к себе и начал гладить по спине. Гладил так же, как гладил в конюшне лошадей, и приговаривал:

— Вер-хом п-пусть от-везет на ст-анцию, на стан-цию, на... на... на... станцию, на ст-анцию...

Даша притворно ежилась от поглаживаний, хихикала и оглядывалась на дверь. И, не делая попытки освободиться, просила с деланой испуганностью:

— Ой, да пустите!.. Ой, да что вы?! Ой, увидят!

— Стой смирно! Спина у тебя хор-ошая, — глухо поскрипывал Бурмин, — не шали, стой см-ирно!.. На станцию п-пусть от-отве-зет, на ста-а-нцию. Повернись боком, вот та-ак!.. Тебе пп-риятно, когда я гла-ажу, глажу вот та-ак, по спине? Приятно, мм? Вв-от так, по спи-инке, вв-от та-ак...

— Ой, да что вы?! Пустите! Ой, щекотно!..

— Подожди!

Даша взвизгнула и, вырываясь из ставших вдруг цепкими рук Бурмина, метнула глазами на окно:

— Митрий смотрит!

Бурмин испуганно отшатнулся от нее и побледнел. Взглянул воровским, быстрым взглядом на все окна по очереди. Даша захихикала.

— Испужались?!

Раскрасневшаяся, с искрящимися лукавством глазами, с плутовскими ямочками на щеках, она была соблазнительна. Бурмин долго смотрел на нее молча, потом глотнул слюну и сказал:

— Придешь после обеда. В баню сходи.

Переодевшись в мягкий коричневый халат и туфли, Бурмин вышел из дома. Был понедельник, а по понедельникам утром он ходил в баню. Повар Димитрий поджидал его у крыльца с голубым тазом и суконками. Прежде чем войти в баню, Бурмин послал туда Димитрия.

— Понюхай!

— Возду-у-ух!.. — зажмурившись, пропел Димитрий, выйдя из бани. — Ну, скажи, в раю такого нету, одна легкость!

В предбаннике он раздел барина. С почтительностью к каждой части туалета аккуратно сложил белье на табурет, быстро разделся сам и, когда оба голые вошли в баню, заржал и зашлепал себя по ляжкам.

— О-о, и бла-го-да-ать! Ну и легкость! Ну и воздух! Чего ж стоишь! Садись, сейчас окачу тепленькой!

По понедельникам в бане Димитрию разрешалось называть барина на «ты» и не барином, а просто Сергеичем.

Растопырив руки и ноги, Бурмин беспомощно стоял посредине бани и недоверчиво нюхал воздух.

— Ну, чего внюхиваешься, сказываю — как в раю, одна легкость! — уверил его еще раз Димитрий и, поддерживая под локоть, довел до лавки и усадил. — И отчего ты, Сергеич, такой сумнительный?! Сиди тут, сейчас наберу в шаечку тепленькой, окачу наперво, — всякая сумленья пройдет!..

Сидя на краю лавки, Бурмин покорно ждал, наблюдая за Димитрием.

— У-ух, и вода-а! У-ух, о-го-го-го-о!.. — визжал и гоготал тот, опрокидывая на себя шайку за шайкой и, повертываясь к Бурмину мокрой физиономией, выражал свое удовольствие смехом, напоминающим ржанье:

— Гы-ыгы-гы-ы!..

Маленький, верткий, со скудной растительностью на лице, Димитрий никак не походил на повара в богатом барском имении. Бурмин остановил на нем выбор потому же, почему мечтал заполучить в свой завод наездником Олимпа Лутошкина. Родословная Димитрия изобиловала кухонными мужиками, стряпухами, кухарками и даже именами двух настоящих поваров. Сам Димитрий готовил отвратительно...

Набрав в шайку воды, Димитрий подошел к Бурмину. Бурмин недоверчиво попробовал рукой воду. С тех пор

как бойкая Даша стала приходить к нему по понедельникам после обеда в кабинет, у него появились опасения:

«А вдруг в шайке кипято-ок?»

— Зажмуряйся, ну! — командовал Димитрий, поднимая над его головой шайку; окатил и погрузился в таинство приготовления мыльной пены. Бурмин сидел и отплевывался от воды, скатывавшейся с головы и попадавшей ему в рот.

— Нешто поддать, Сергеич? — спросил Димитрий, покончив с пеной. Бурмин испуганно посмотрел на раскрытую дверку печи и торопливо сказал:

— Не надо, не надо!

— Их, и робкий ты, Сергеич, — замотал головой Димитрий, — а в пару, в нем самая польза. Пар костей не ломит, а болесть дурную гонит, ложись! — подошел он с тазом, полным мыльной пены, похожей на августовские клубы облаков в голубых недрах неба.

Бурмин покорно лег на лавку, вверх животом.

— Эх, и хорошо-о! Ну и благода-ать! — начал приговаривать Димитрий, растирая суконкой хозяйскую плоть. — Тело, она, видишь, лю-юбит, когда с умом ее трешь. Кажная жилочка радуется! Скотина, скажем, лошадь — та ничего не разумеет, стоит тебе, и не видать под шерстью у нее никакого удовольствия, а человек — он в каждой пупурышке сознание имеет... Руки-то подними, вот та-ак! Под мышкой самое скопление бывает, а у кого есть тут про-о-дух, ма-ахонькая эдак дырка, такой человек два века могёт жить, потому дыркой этой он вроде как ротом дышит...

Бурмин вдруг поднялся и сел, весь покрытый мыльной пеной. Димитрий смолк и, почесывая под коленкой, выжидающе смотрел на него.

Кашлянув, Бурмин поднял к нему глаза и спросил:

— Отец Марфы кучером был?

— Тимофей-то? А как же!

— Его Тимофеем звали?

— Тимофей Петрович, а прозвище Мочалкин! И-их, и кучер бы-ыл!

— Что?

— По всей округе первый кучер, таких теперь нигде и нету... Бородища по пупок, за заднее колесо на ходу телегу останавливал, а вино пил из миски, во-о какой был!

— Как — из миски?

— Очень просто. Выльет, бывало, четверть в миску, накрошит туда же ситнику и ложкой хлебает.

Аристарх Бурмин почти никогда не смеялся, и его смех всем запоминался так же, как запоминается исключительное событие: буря, пожар, гроза необыкновенная... И вот в понедельник в бане, сидя на лавке, намыленный, он вдруг рассмеялся. Черная борода его, с приставшими к ней клочьями пены, запрыгала, и из-под усов глянули белые крепкие зубы...

— Из миски, говоришь? — затрясся он в беззвучном смехе. — С ситным?

— Вот те крест, не вру! Из миски, и оригинально, ложкой...

— Не врешь?

— Ей-богу, барин!

Бурмин строго взглянул на Димитрия и проговорил:

— Дурак! Я давно знал, что ты дурак!

— Прости, Сергеич! — спохватился Димитрий, вспомнив, что они в бане, в понедельник, когда барином называть не полагается. — Ты хоть и без штанов, а сословие-то белое, забытье и ударяет в голову...

— В бане и перед богом все равны! — строго заметил Бурмин; помолчал и добавил:

— На том свете, может, ты будешь барином, а я поваром...

Мокрое лицо Димитрия расплылось в довольной улыбке. Он шлепнул себя по животу.

— Вот здорово-то! Кажный день буду тебе заказ там делать, чтобы лапшу куриную мне стряпал, лапшу очень я уважаю, с потроха-ми! А еще — гуся жарить. Морду с такой пишши во-о разнесет, и все тело крупитчатое сделается, кипенное, белое...

— Ты про Тимофея рассказывай! — оборвал его Бурмин.

— Да чего ж сказывать! Говорю, из миски ложкой вино хлебал.

— Деревянной ложкой?

— А то какой же? Да ведь она, ложка-то, тогда с половник была!..

Опираясь обеими руками на лавку и далеко вперед вытянув жилистые ноги, Бурмин сидел и беззвучно смеялся. Подсохшая мыльная пена делала его волосатое тело серым и словно поседевшим, а борода казалась выварянной в паутине.

— Тридцать лет кучером ездил, — продолжал Димитрий, — бывало, наряд свой наденет, безрукавка бархатная, шапка с перьями, а к поясу — часы-ы, ну, прямо министер какой сидит, голосишше огромадный, как из бочки... Раз упал кореннику под ноги с козлов, озорно-ой жеребец был... как он его резанет задом-то, а он схватил его за ноги — да на бок, ей-богу!.. От натуги и богу душу отдал, царство ему небесное... Спор произошел у его барина с другим тоже барином, графом, — был такой граф Пускевич. «Мой, говорит, Тимофей на полном ходу тройку, что ни на есть отбойную, на задницу посодит». А граф засмеялся и говорит: «Никак это невозможно». Тут и произошел спор промеж их на тыщу рублей. Да-а! Запрягли самых злеющих лошадей и выехали в поле на пар. Тимофей, как полагается, сел на козлы да как зареве-ёт, они и понесли-и и понесли, батюшки-светы-ы! Граф и кричит: «Стой!» Тимофей уперся, подножка у козлов — хрясть, — а они несут. «Стой!» — кричит опять граф. И опять Тимофей уперся, весь кровью налился; пояс ременный — лоп! ворот у рубахи со всех пуговиц — ло-оп! безрукавка в плечах и по спине — лоп!.. И из ушей кровь брызнула. Посадил тройку всю как есть, и... кончился. С козлов так и не слез, на козлах и кончился, от натуги, видишь, все нутро в нем оборвалось; ну, тут граф, конечно, с полным конфузом Варягину барину тыщу рублей в ручку передал...

Бурмин долго молчал после рассказа Димитрия; смотрел на свои вытянутые жилистые ноги и о чем-то думал.

— Давай теперь спину натирать буду! — сказал Димитрий.

Бурмин кашлянул, но ничего не сказал и покорно лег на лавку вверх спиной. Как настоящий банщик, Димитрий начал выделывать над ним разные фокусы: тер, мял, пришлепывал и гладил, выбивал ребрами ладоней какой-то такт, словно рубил котлеты, снова мял и пришлепывал, кряхтел и не переставал приговаривать:

— Эх, и благодать! Эх, и хорошо! Ну и приятность! Ну и знаменито! Во-о ка-ак, у-у-ух!

Словно не он, а его растирали и мяли, доставляя ему величайшее наслаждение.

Бурмин лежал без звука, и его длинное, вытянутое тело, безвольно шевелившееся под руками Димитрия, казалось телом мертвеца, над которым издевается озорной мужичонка.

Тяжело дыша, Димитрий, наконец, кончил и сказал:

— Теперь ты передохни малость. Посиди, а я маленько поддам, сам попарюсь...

Забравшись на верхнюю полку, он заблеял по-козлиному от удовольствия:

— Во-о где, Сергеич, благода-ать-то-о-о-о!

Бурмин с любопытством смотрел, как Димитрий нахлестывал себя веником, и на лице его было недоверие к испытываемому Димитрием удовольствию. Он никогда не мог решиться на это, и удовольствие Димитрия и прочей дворни от парки и веника объяснял наследственной привычкой русского мужика к розгам...

В предбаннике, одев Бурмина и одевшись сам, Димитрий вытер узелком с грязным бельем распаренное говяжье лицо и почтительно распахнул дверь в яркий, солнечный день, показавшийся после жаркой полутемной бани иным, радостно-светлым миром.

— С легким паром, барин!

Бурмин достал из кармана приготовленный новенький двугривенный и, как это всегда делалось по понедельникам после бани, не смотря на Димитрия, опустил монету, как в церковную кружку, в угодливую руку Димитрия, сложенную ловким ковшиком.

На крыльце кухни с тазами и суконками сидели Даша и Адель Максимовна в ожидании, когда Бурмин пройдет в дом. Они пользовались привилегией мыться в барской бане сейчас же после барина...

5

С того дня как серая Лесть была куплена и, казалось, надолго водворилась в конюшне Лутошкина, Филипп перестал опаздывать на утреннюю уборку, чаще стал умываться и, неожиданно для всех, почти перестал пить и купил себе новый картуз с широким лаковым козырьком, как у Митрича.

Филипп жил вместе со своей сестрой в двух тесных и грязных комнатах на Масловке. Нюша почти не видела брата. Приходил Филипп поздно, уходил чуть свет, и лишь в дни особенно тяжкого похмелья он проводил полдня, а иногда и весь день дома. И этот день начинался так:

— Нюша!

— Чего тебе?

— Нюша!

— Ну, что еще?..

— Нюш, ты думаешь, отчего я пью?

— Пьянчужка — вот и пьешь!

Филипп вздыхал горестно и с присвистом и, спустив с кровати ноги (спал он, не раздеваясь), начинал шарить по карманам.

— Чего ищешь-то?.. Все ведь оставил у Митрича! — говорила с сердцем Нюша. — Вчерашнего дня ищешь?!

Молча Филипп продолжал поиски и, ничего не найдя, зябко съеживался и замолкал. Тогда Нюша приносила ему стакан водки и кислой капусты.

— Вот ты говоришь — пьянчужка, — оживал Филипп, отхлебнув водки, — а того не понимаешь: пью я совсем наоборот!

Отхлебывал еще, жевал капусту и откашливался.

— Пью я от несоответствия! — убежденно договаривал он и, так как Нюши уже не было в комнате, шел к ней на кухню.

В клубах пара, согнувшись над огромным цинковым корытом, Нюша стирала белье. От плиты и бурлящих на ней чугунов в кухне было жарко и влажно, как в тропиках.

Филипп, выбрав местечко, свободное от грязного белья, ворохом лежавшего на полу, утверждался на нем и начинал рассказ о знаменитой гнедой кобыле Потешной, на которой он два года тому назад выиграл приз. Потешная была поставлена в конюшню Лутошкина мелким охотником, новичком в беговом деле. Как призовой материал кобыла была безнадежна, но, уступая настояниям владельца, жаждавшего славы, Лутошкин записал ее на приз и ехать посадил на нее Филиппа. И Филипп... выиграл. Когда был дан старт, Потешная, как и ожидал Лутошкин, отпала на предпоследнее место. Первым поехал Синицын на фаворите Кракусе, за ним ухо в ухо, в ожесточенной борьбе за второе место, три других лошади. И случилось так, что эти три, ехавшие впереди Потешной, лошади в азарте борьбы сцепились американками и вынуждены были все три съехать с круга, предоставляя совершенно неожиданно Филиппу второе место. Но этим не кончилось. Счастье не хотело расстаться с Филиппом. У Синицына лопнула вожжа. Потешная пришла к столбу первой. В тотализаторе за нее платили бешеные деньги. Владелец погиб от славы, а для Филиппа рассказ об этом знаменательном дне стал такой же необходимостью, как стакан водки в похмельное утро.

— Вот ты говоришь — пьянчужка... Выговорить такое

мнение легко, язык — он, как лошадиный хвост, крутнет, а зачем крутнет, и сам не знает! Родная сестра ты нам, а не сознаешь!.. Была у меня вот гнедая кобыла от Барса и Потехи, Потешная...

Продолжение Нюша знала, но, по пословице «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», брата не останавливала и терпеливо выслушивала до конца.

— Василь Капитоныч Синицын на Кракусе ехал... — продолжал Филипп, — знаешь, какого класса жеребец? Как в банк на него ставили! Ну, думаю, ладно!.. В нашем деле вяжут руки. Отчего у Вильяма бегут, какая-никакая? От рук... Так оно и вышло! Знаешь, какую я ему езду предложил?! Вожжа лопнула, вот какую!!! Как подобрался к нему в повороте да как нажал, он и не выдержал, а я мимо — жик, до свиданья, Василь Капитоныч, приходите завтра чай пить. А потом что бы-ы-ло-о! И-ых! Руку жмут, поздравляют, ура даже кричали, а в наезднической сам Вильям подошел и говорит: «Ну, говорит, Филипп Акимыч, вы показали такой, говорит, класс езды, такой-ой...» — и даже расцеловались мы с ним при этом случае. «Руки, говорит, у вас, Филипп Акимыч, золотые...».

Нюша слушала и, опрокидывая в корыто кипящие чугуны, исчезала в клубах едкого пара.

— От несоответствия и выпиваю иногда! — заключал Филипп и тоскливо начинал шарить по карманам: после каждой пьянки у него оставалось припоминанье о непропитой трешнице, припрятанной им в один из карманов для похмелья, и первая мысль, приходившая ему в голову наутро, была мысль об этой уцелевшей чудесной зеленой бумажке...

— Поди у Митрича поищи! — резонно замечала Нюша, бросая на него через плечо быстрый, занятый делом взгляд.

— С места не сойтить! — клялся Филипп. — Чтоб у меня вожжа лопнула, как сейчас помню — в жилетный карман положил... Не иначе — обронил! Ах ты, мать честная!.. Не досадно бы, если настоящие деньги, скажем... а то и делов-то всего три рубля!.. Подумаешь, какой капитал!

Нюша молчала.

— В нашем деле три рубля — ништо, плюнуть и ногой растереть, — помолчав, продолжал Филипп, — пойду вот нонче на бег, заряжу в двойничке красненькую на Мимозу, например, — и этих самых рублей девать некуда!

Один раз, помню, также вот деньги понадобились... Пошел, и на Милорда две красных. По восемьдесят пять с полтиной платили, сто семьдесят один рублик, как из банка, получил.

Нюша молчала.

— Белья-то ты сколько набрала! — замечал Филипп и, смолкнув, долго топтался на месте, а потом произносил: — Можешь ты мне в последний раз по-родственному одолжение сделать? Дай полтора рубля.

Знал Филипп — не откажет Нюша. И Нюша никогда не отказывала. Для этих случаев специально держала в коробочке из-под монпансье на комоде рубля полтора или два... и на просьбу брата, вздохнув, всегда отвечала кротко:

— Возьми там... на комоде...

Серую Лесть Нюша узнала и полюбила не только по рассказам Филиппа. В круглой коробочке из-под монпансье, на комоде, давным-давно нетронутыми лежали два рубля. Если Филипп и приходил иногда навеселе, то уж не заваливался сразу бревном бесчувственным на кровать, а садился за стол по-хорошему, просил подогреть самоварчик и без конца рассказывал о серой чудесной кобыле. Редко верила Нюша рассказам брата, а тут — верила. И как-то раз у нее даже вырвалось:

— Хоть бы посмотреть на нее!

— Полная красавица, э-эх и красавица! — крутил головой Филипп и, посматривая на часы, вставал из-за стола с озабоченным лицом: — Спать пора, а то уборку проспишь...

Жизнь в конюшне начиналась с раннего утра. К четырем часам приходил Филипп и начинал ругаться с конюхами. Поднять их с постелей было делом нелегким, особенно жбанообразно крутощекого Ваську. На толчки Филиппа он переворачивался с боку на бок, со спины на живот и, мучительно стоная, мычал: «Чи-ча-ас!..»

— Павел, давай блистер! — приказывал в таких случаях Филипп другому конюху. Услышав это слово, Васька подскакивал на постели, как ошпаренный, и мгновенно просыпался. Он больше всего на свете боялся этой мази, употреблявшейся для лечения курб[1], и с тех пор как одна-

[1] Курба — болезнь ног у лошадей. *(Прим. авт.)*

жды пьяный Филипп вымазал ему физиономию этой мазью, Васька не мог равнодушно слышать слово «блистер».

Утренняя уборка начиналась с раздачи лошадям воды и корма. Всего лошадей в конюшне было одиннадцать. Привыкшие к строгому, никогда не нарушавшемуся режиму, лошади встречали утреннее появление Филиппа сдержанным довольным ржанием, зная, что сейчас им поднесут воду, а потом овес и сено. Уткнув головы в решетчатые двери денников, они блестящими глазами ревниво следили за двигавшимися по коридору конюхами и, шлепая губами, глухо, гортанно бормотали, словно жаловались на что. Самым нетерпеливым из всех одиннадцати был караковый четырехлеток Витязь. Его денник был последним в очереди, и он был осужден видеть, как Васька и длинный Павел много раз проходят мимо с ведрами воды и овсом. Прильнув раздувавшимися ноздрями к решетке, он косил на приближавшегося конюха горячий, с синим отливом глаз, в струнку ставил чуткие уши и замирал:

«Ко мне?».

Конюх проходил мимо. Тогда Витязь, согнув в кольцо красивую шею, откидывался, как на пружинах, назад, вглубь денника, взвизгивал и, сделав полный круг, снова утыкался мордой в решетчатую дверь и сердито бил в пол копытом. Конюхов это забавляло, и они нарочно всегда давали ему корм в последнюю очередь.

После раздачи корма конюшня успокаивалась: тишина нарушалась лишь мерным хрупаньем овса одиннадцатью парами крепкозубых челюстей. Филипп и оба конюха пили чай, а после чаю принимались за чистку лошадей и денников. Караковый Витязь и здесь вел себя не как другие, и чистить его приходилось всегда обоим конюхам, а иногда и втроем с Филиппом. Он, как огня, боялся щекотки. Каждое прикосновение суконки или скербницы заставляло его танцевать и извиваться, взвизгивать и всячески мешать конюхам. Даже флегматичный длинный Павел, и тот иногда не выдерживал, бросал щетку и скребницу, плевался и, отойдя на два шага от каракового красавца, говорил:

— Рази это лошадь! Шлюха! Тьфу-у!..

Но зато не было послушнее Витязя, когда дело доходило до копыт. Он сам поднимал ногу и не шевелился и никогда не пытался опустить ее, пока конюх вычищал крючком и щеткой подошву и стрелку, и с готовностью сейчас же поднимал следующую, не дожидаясь приказания...

До появления серой Лести Витязь был баловнем конюшни: ломти круто посоленного черного хлеба, куски сахару, яблоки перепадали ему чаще, чем другим. Сахар он брал одними губами, осторожно и с такой грацией, что Павел опять не выдерживал, плевался и повторял:

— Ну, рази не шлюха, пропади ты пропадом!..

Первая поездка на Лести сразу и бесповоротно оттеснила каракового любимца на второй план, и в центре внимания всей конюшни поставила серую кобылу. С нею в конюшню вошло новое т а й н о е, то, что перекрасило в предпраздничную краску каждый день и каждый час. Такими бывают великопостные дни, насыщенные весенним ожиданием, когда сползает снег, начинают бормотать ручьи и трогаются реки. Васька и Павел переругались, споря о том, кому убирать кобылу. Филипп взял всю уборку на себя. Сам поил, сам задавал корм, чистил, делал втирания и бинтовал и лишь проваживать давал по очереди Ваське и Павлу.

Лутошкин приходил в конюшню в пять утра. Первый вопрос его был:

— Как кобыла?

— Слава богу! — весело отвечал Филипп. — Поправляется! Через месяц, Алим Иваныч, не узнаете!

Лутошкин внимательно осматривал Лесть, щупал суставы ног, сухожилья, спину и, ласково поглаживая просторное плечо, с восхищением говорил Филиппу:

— Вот чем дороги орловцы-то, смотри! У какого американца или метиса ты найдешь такое плечо?! И для приза и для русского хомута места сколько хочешь... Вот что, Филя, с завтрашнего дня надо давать кашу ей, а морковь прекрати. Льняное семя есть у нас? По одной горсти сыпь в кашу да щепотку сольцы, запаривай хорошенько, тепленькую и давай, понял?

— Знае-ем, Алим Иваныч, не впервой!

Благодаря тщательному уходу Лесть быстро приходила в свои надлежащие формы. К половине зимы трудно было узнать прежнюю Лесть в крупной серой кобыле с сухой, интеллигентной головой, с длинным и косым плечом, с округленными ребрами и широкими квадратными формами колена и скакательного сустава. От понурой Лести осталась только ласковая покорность, особенно дорогая ухаживавшим за ней людям.

Лутошкин не торопился с работой кобылы. Помимо желания привести кобылу в должный порядок, прежде чем начать работать, в его неторопливости были еще сомнения.

А вдруг Лесть не оправдает ожиданий? Разве в его практике не бывало так: по первой проездке лошадь показывает прекрасную резвость, а потом — никуда! Взять того же Витязя! Трехлеткой он показал великолепную для его возраста резвость, и вот прошел год, а он не едет и вряд ли когда-нибудь поедет...

И Лутошкин откладывал со дня на день работу кобылы — тяжело было расстаться с мечтой.

Приступил он к работе во второй половине зимы. Первые проездки делал по Петровскому парку. И с первых проездок увидел, что внешний блестящий порядок кобылы вполне оправдывает себя; в каждом движении ее он ощущал не только идеальную слаженность частей, как в механизме, но и душу механизма. Покорная и отдатливая Лесть как бы угадывала каждое желание наездника и отдавала себя всю его воле. В конце февраля выпал обильный снег, езда по парку стала невозможной, и Лутошкин поехал на беговой круг. Дутые шины американки мягко шипели на разметенной ледяной дорожке, и Лесть запросила ходу. Острые шипы подков хрупко вонзались в лед. На ипподроме было пустынно. Но когда Лутошкин, сделав махом полный круг, слегка послал кобылу на второй, он увидел въезжавшего на круг Синицына на сером Самурае.

Владелец Самурая, как и предсказывал покойный Гришин, взял жеребца от Лутошкина на другой же день после знаменательного проигрыша рыжей Заре и поставил в конюшню Синицына.

Догнав Лутошкина, Синицын, обошел его с вызывающей улыбкой и выпустил жеребца в резвую. И Лутошкин, вдруг забывая, что кобыла еще не готова, что он не делал на ней ни одной резвой езды, бросил ее вперед, за уносившимся Самураем, быстро достал его и упер Лесть в спину Синицыну. Синицын оглянулся и начал посылать еще жеребца, но Лутошкин уже опомнился: «Что я делаю!.. Сломать кобылу по первой езде...»

А остановленная Лесть недовольно мотала головой и просила свободы...

В этот вечер в трактире Митрича Синицын поманил к себе пальцем вошедшего Филиппа. В трактире, как всегда по вечерам, было шумно и тесно. Наездники, конюхи, барышники, мелкие владельцы кучно сидели за столиками, пили чай, водку из-под полы, закусывали дымящейся

яичницей с колбасой и солянкой, и потели, и спорили, и их разноголосый говор был расшит, как ворот Митричевой рубахи, цветистым сквернословием. За столиком Синицына сидели, кроме него, еще два человека: богатый барышник с Мытной — ласковый и хитрый Михал Михалыч Груздев и неизвестный Филиппу молодой блондин, с перстнями на пальцах и наглыми глазами. Михал Михалыч первый протянул Филиппу руку и мягким тенорком, совсем не похожим на его жесткие серые глаза, пропел:

— Здравствуй, сынок, сто лет не видал тебя...

Филипп поздоровался со всеми и присел: беличий треух снял и положил к себе на колени.

— Слыхали мы — хозяин-то твой покупочку Бурмину устроил, — заговорил Михал Михалыч, — кобылка не плохих кровей по аттестату. Аристарх Сергеевич, он завистной до орловских. Ничего не пожалеет! Ну, а на наше рассуждение, твой хозяин поторопился, кобылку можно бы за полцены взять, торопкой он у тебя, вот что-о!.. Лошадка-то не тово-о, порядочку мало в ней, заморенная была, а может, и сломанная. Поторопился, поторопился он...

Мясистое распаренное лицо Синицына треснуло чернозубой улыбкой. Толкая под столом ногу блондина, он заговорил, перебивая Груздева:

— Есть покупатель на вашу кобылу, вот Иван Александрович, — он мотнул головой на соседа в перстнях, — за наличный расчет, сейчас купит.

— Не купит, — сказал Филипп, — непродажная кобыла.

И, присмотревшись к смеющимся глазам Синицына, встал и надел шапку.

— Подожди-и, дело говорю, — попробовал удержать его Синицын, но Филипп отстранил его руку и проговорил:

— Эх, сказал бы я вам, Василь Капитоныч, да...

— Вот дурной, я всурьез, а он!.. Говорю — покупатель, вот сейчас и магарычи разопьем. Иван Александрович на действующую армию ранцы поставляет, понимаешь, а на ранцы кожа нужна, кобыла-то как раз подходящая...

Синицын хотел что-то еще добавить, но тут произошло такое, о чем долго потом говорили все посетители трактира Митрича.

Филипп четко, всем слышно, выругался, сорвал с головы беличий треух и шлепнул им о пол. А когда за

столиками наступила тишина и протянулось к нему всеобщее внимание, он предложил Синицыну пари:

— На год без жалованья конюхом тебе буду служить, ежели кобыла не объедет твоего Магната через месяц. При свидетелях вот говорю, расписку напишу... Ну?

Синицын гуняво засмеялся.

— Сбавь, Филя, широко шагаешь, ширинка у тебя с барином лопнет.

Магнат был лучшей лошадью в его конюшне.

— А в конюха я тебя и задарма не возьму не токмо на год, а на один день!

— Выходит, боитесь, Василь Капитоныч? Вожжа лопнет, — язвительно проговорил Филипп.

Синицын вспыхнул, вытянул из жилетки бумажник с вензелем, порылся в нем, пряча его под стол, и разгладил перед собой пятисотенную бумажку. Вся чайная сгрудилась в напряженном молчании вокруг спорщиков. Смотря не на Филиппа, а на Михала Михалыча, Синицын проговорил так, что было слышно всем:

— Ежели ты с барином своим хочешь спор держать, то соответствуй. Клади на кон! Языком я трепать не умею. Магната вы объедете, когда рак свистнет!

Лицо Филиппа сразу поглупело; округлые бабьи плечи опустились. Он смотрел на пятисотенный билет под рукой Синицына и пыхтел, выдавливая из себя ненужные и жалкие слова:

— Это что!.. Это ни к чему!.. Деньги — это что?.. Я не к этому.

Кругом заржали. Подошедший Митрич снисходительно похлопал его по плечу и, подмигивая Синицыну, сказал:

— Брось, Филипп Акимыч, разве с ними договоришься, вишь, народ какой — сразу и деньги на кон! Брось, не связывайся!

А сзади кто-то крикнул:

— Не сдавайся, Филька! Выволакивай свою тыщу, не жалей!

Конфуз Филиппа был бы полный, не случись тут происшествия, как раз и заставившего потом долго говорить обо всем этом.

В трактире по вечерам часто появлялась странная, запоминающаяся с первого взгляда фигура. Высокий старик в старомодном сюртуке, с бородой, похожей на расчесанный моченец. Звали его Семен Андреевич Девяткин. В Замоскворечье у него был мучной лабаз. Больше

ничего никто о нем не знал. Придя в трактир, он выбирал столик поуединеннее, где-нибудь в углу, вытаскивал из заднего кармана длиннополого сюртука чашку и блюдце, как это делают старообрядцы, и заказывал пару чаю. Неразговорчивый, молчаливый, согнувшись над столиком, слишком низким для его высокого роста, с насупленными мохнатыми бровями, он был похож на старого филина, одиноко сидящего где-нибудь на пне, в лесу. Никто не знал, зачем он приходит в трактир, какая сила влечет его из Замоскворечья, из чистых горниц с половичками и лампадами перед старинными киотами, на Башиловку — в этот вертеп сквернословия и страстей.

В тот момент, когда сконфуженный Филипп, нахлобучив на глаза беличий треух, уже повернулся к выходу, Семен Андреевич Девяткин встал и, сутулясь, подошел к столику Синицына.

— Почтение!

Синицын, Груздев и многие другие, обступавшие столик, переглянулись. Девяткин, прихватывая рукавом бороду, сунул руку во внутренний карман глухого, со множеством пуговиц жилета и извлек оттуда сверток в черном потертом коленкоре. Положил его на стол и развернул. В нем оказались кредитки разного достоинства: трешницы, пятерки, десятки, четвертные, аккуратно сложенные по сотням и перепоясанные белыми бумажками. Вынув снизу пятисотрублевый билет, Девяткин придвинул его к пятисотке Синицына и указал бородой на Филиппа:

— Мы отвечаем за их кобылу наличием.

В дружном, мгновенном и напряженном молчании, наступившем за этими словами, было слышно, как сладострастно крякнул Митрич, будто давнул его кто-то под самую ложечку.

— Аа-аа-а-к!

И все видели, как коротколапая рука Синицына быстро сунулась вперед по столу и накрыла свою пятисотку. Кто-то свистнул. Загалдели все сразу, наперебой. Михал Михалыч Груздев отодвинулся от столика и закашлялся. Круглое лицо Синицына, и без того всегда красное, побагровело. Он искал слов и, незаметно работая пальцами, придвигал к себе свой пятисотенный билет. А Девяткин, высокий, в черном длиннополом сюртуке, стоял над ним, сутулясь, и супил седые мохнатые брови и был похож на вещую и страшную птицу, бесшумно прилетевшую к столику.

— Крой, Василь Капитонов, чего ж сробел? — крикнул кто-то резким, страдающим голосом.

— Не бойсь, крой! — поддержали сразу другие. — Магнат в две четырнадцать по грязи был. Кро-ой!

Митрич протискался к Девяткину и зашептал ему на ухо:

— За зря деньги потеряете... Вы хорошо кобылу-то знаете? Непорядочек у нее. Как честный свидетель, говорю... За зря вы...

Девяткин посмотрел на него суровым взглядом и ничего не ответил. Синицын спрятал свою пятисотку в карман и отвалился назад от столика.

— Постороннего человека я в расход вводить не желаю, — с деланной улыбкой заговорил он, избегая смотреть на высокого старика, — спор я держать буду с хозяином, а с вами не согласен, наказывать вас не хочу...

Девяткин ничего не сказал. Достал снова свой коленкоровый бумажник, запрягал вниз, под аккуратные пачки, пятисотрублевый билет, туго завернул черный коленкор и с неторопливостью, долго застегивал глухой, до самой шеи, жилет, потом сюртук на все пуговицы. И отошел к своему столику в углу.

Почти сейчас же около него очутился Митрич.

— Вы, значит, кобылу-то хорошо изволите знать? — вкрадчиво заговорил он.

Девяткин налил в блюдце чаю и, водрузив его на пять пальцев, подул и погрузил в золотистую влагу моченцовые усы. Ответил потом, когда выпил блюдце:

— А как же без знати на риск идти собственным достоянием? Я, почтеннейший, — тут Девяткин приложил руку к левой стороне груди, где заметно топырился сюртук, — не на станке их печатаю...

6

Лутошкин жестоко выругал Филиппа, узнав на другой день о происшествии в трактире Митрича. Филипп был кроток и не оправдывался. Но под конец не выдержал:

— Да, ведь объедем, Алим Иваныч, как бог свят, объедем, ну? — страстно вырвалось у него.

Лутошкин смолк и внимательно посмотрел на Филиппа, а на другой день перешел с обычной работы Лести на подготовку ее к призу.

В руках Лутошкина перебывало немало лошадей, хороших и плохих, резвых и посредственных, приятных и неприятных; с каждой лошадью всегда устанавливались у него своеобразные отношения, определявшиеся множеством незаметных для постороннего человека мелочей в характере лошади. К одним он привязывался с первой же езды и вкладывал в работу на них все свое терпение и необходимую в тренинге выдержку; других ненавидел за тупость, за неотдатливость, за скверный, грубый рот или даже за одну какую-нибудь неприятную привычку и безжалостно ломал их ездой и мучил жестокими приемами в попытке подчинить их своей воле. Каждая лошадь чувствовала отношение наездника к ней, особенно тогда, когда это отношение было враждебным, и платила тем же, часто вступая с ним в единоборство: упрямо не подчинялась его желаниям, встречала его злобными глазами, прижимала назад уши и жутко подбирала зад, услышав ненавистный знакомый голос вблизи. В большинстве случаев это единоборство кончалось победой наездника и его помощников — конюхов. Лошадь подчинялась, но эта борьба выбивала ее из ряда первоклассных рысаков. Для битв на ипподроме у нее не оставалось сердца... Были у Лутошкина и такие, с которыми он ничего не мог сделать. Отбойный вороной Гетман переломал у него дюжину качалок и ушел из его рук таким же непокорным и злобным, как пришел.

Работа на Лести была огромным удовольствием для Лутошкина. Каждый день езды открывал для него все новые и новые достоинства в кобыле. Дыханье, приемы, концы были великолепны. Внимательно наблюдая за кобылой в работе и в конюшне, Лутошкин проверял свои наблюдения накопленным опытом работы с другими лошадьми, и, как это редко случалось при тренинге, он с первых же дней, почти интуитивно, угадал характер кобылы и ее особенности и установил тот план работы, который как раз и требовался для Лести. Ремесло поднялось до искусства. К концу третьей недели Лесть нашла свои идеальные формы. Лутошкин отправил Бурмину письмо, прося разрешения записать кобылу на приз. Бурмин ответил телеграммой:

СКОРО САМ ПРИБУДУ В МОСКВУ.
ДО МОЕГО ПРИЕЗДА НЕ ЗАПИСЫВАТЬ.
АРИСТАРХ БУРМИН.

Для Лутошкина и всей его конюшни потянулись томительные дни. Васька и Павел вели нескончаемые споры о том, в какой группе и с какими лошадьми поедет Лесть.

Филипп слушал и важно молчал, а иногда подходил к спорившим и, смотря на крутощекое Васькино лицо, изрекал:

— Не с твоей физикой об эдаких спидах разговоры разговаривать!

Васька сконфуженно умолкал, убитый незнакомым словом, значение которого Филипп никогда не хотел объяснить. После вечерней уборки Васька и Павел по очереди ходили в трактир Митрича; Павел — просто попить на свободе чайку, поболтать с приятелями из других конюшен, а Васька — с тайной надеждой оказаться свидетелем другого такого же спора, как тот замечательный спор Филиппа Акимыча с Синицыным. Когда присутствие Васьки в трактире совпадало с присутствием там Девяткина, Васька старался сесть поближе к его столику и весь вечер не отрывал широких глаз от сутулого старика с мохнатыми бровями.

— Э-эх, и де-енег у него-о-о! — рассказывал он Павлу, возвращаясь в конюшню. — Вытащил кошелек, а там все тыщи, все тыщи — полно! Вот если б потерял, а? А я бы поднял, а?.. Половину бы на кобылу поставил против Синицына. А ты, Пашка, поставил бы?

Прошла неделя, другая и третья — Бурмин не приезжал. Записать Лесть на приз без него Лутошкин не решался, зная взбалмошный и самолюбивый его характер. И нервничал и злился. Подходя к большому зеркалу в столовой, он всматривался в сухое, острое лицо, отраженное зеркалом, и криво усмехался:

— Конюх — и больше ничего!

В одну из таких минут Лутошкин не выдержал и написал Бурмину резкое и страстное письмо:

«...я рассчитывал ехать на приз в начале апреля и сообразно с этим приготовил кобылу. Ваш ответ, запрещающий записку, и промедление с приездом нарушают расчеты наездника и ставят его в дурацкое положение. У каждого наездника есть так же свои соображения, как и у владельца, с той только разницей, что соображения наездника имеют в виду главным образом успешное выступление лошади, а вла-

делец часто преследует иные цели. Вы, Аристарх Сергеевич, не можете не знать, что удачный бег складывается не одной только резвостью рысака, но и настроением, душевным состоянием наездника: наездник не кучер и не извозчик. Наездник создает класс лошади, из грубого сырья делает формы, **создает рысака**. Как наездник, я отвечаю за вверенную мне лошадь, я отвечаю за успех и неудачи, а поэтому я же и должен распоряжаться ею в смысле права записи по моему усмотрению на приз...»

Ровно через неделю пришел ответ на это письмо, в необыкновенно длинном и узком конверте с дворянской короной и инициалами.

«Любезнейший Олимп Иванович! — писал Бурмин бисерными строками. — Ваше письмо доставило мне истинную приятность столь редким в наше время сознанием долга и ответственности, возложенных на наездника владельцем вверенной ему лошади. Это похвально и делает Вам честь. В сем сознании — верный залог разумного воспитания столь тонкого и чуткого организма, каковым является орловский рысак, это божественное и несравненное создание гениального Алексея Григорьевича графа Орлова-Чесменского. Мы суть слабые продолжатели славных деяний его. Не жалея средств материальных, не щадя сил душевных, в неусыпных заботах, с достойной твердостью, владелец-коннозаводчик несет тяжелое бремя трудов и огорчений и испытывает редко веселие духа. Великий Крепыш, чье имя благоговейно произносит каждый истинно русский человек, был неиссякаемым источником радостей и упоения для владельца, но он же причинил и жестокую неутолимую боль ему и всей России в памятный февральский день 1912 года. Что же произошло? Как могло померкнуть блистающее светило? Чья кощунственная рука посягнула на царственный гений орловского рысака? Чьи черные помыслы воплотились в ядовитую змею в этот незабвенный день? Был ли один русский человек среди множества и множества тысяч людей, заполнивших в этот день ипподром первопрестольной столицы, который бы сомневался в предстоящей победе великого Крепыша? Нет! Не был и быть не мог! И я спрашиваю: кто попустил? Как могло померкнуть блистающее светило? Из членской

беседки я имел возможность созерцать это соревнование семи рысаков, из которых, как Вам известно, **р у с с к и й** рысак был только один — Крепыш. И я утверждаю с полной ответственностью за свои слова: на царственный гений Крепыша посягнула рука наездника-иноземца. Старт был дан сразу. Повел Дженераль Эйч с Франком Кэйтоном, за ним Вильям Кэйтон на Крепыше. Я видел, как на втором кругу Крепыш свободно и царственно, как и подобает ему, достал броском Дженераль Эйча и выдвинулся на полкорпуса, но в повороте иноземцы, сын и отец, подлым сговором и вероломством дали Дженераль Эйчу уйти вперед и выиграть приз. И разве не достаточно мимолетного взгляда на этого паршивого американского жеребенка и на нашего несравнимого красавца Крепыша, чтобы понять вероломство наездников? Проходя среди публики после бега, я видел на каждом русском лице невыразимую печаль и страдание. И лишь один юноша громко радовался, выиграв на Дженераль Эйче. Услышав произносимые им громко слова радости, я подошел и сказал ему: «Стыдитесь, молодой человек, веселиться, когда вся Россия плачет поруганная!..» И юноша, устыдившись, на глазах у множества людей порвал свои билеты, по которым должен был получить хорошую мзду за случайного победителя. Поступок достойный, напомнивший моему сердцу Александра Македонского в безводной пустыне.

Возвращаясь к исходной точке моих суждений, любезнейший Олимп Иванович, я могу повторить, что в Вашем лице я вижу наездника с редким сознанием своей ответственности перед владельцем, а также и счастливое совпадение наших суждений об обязанностях такового. Сие совпадение есть вернейшая гарантия преуспеяния и невозможности вероломства, подобного тому, о коем сказано выше. По моем приезде в Москву мы примем надлежащее решение относительно записи кобылы на приз.

Аристарх Бурмин»

Прочтя письмо, Лутошкин с бешенством разорвал его в клочья. Его первой мыслью было: пойти сейчас же на ипподром и записать Лесть на ближайший беговой

день. Остановило отсутствие денег, необходимых на записку. Тогда он начал думать о новом письме Бурмину и вечером в первый раз с тех пор, как Лесть была куплена, сильно напился у Митрича.

Утром на другой день Филипп подал ему телеграмму:

БУДУ В МОСКВЕ, ЛОСКУТНАЯ, ПОСЛЕЗАВТРА, ЧЕТЫРНАДЦАТОГО. АРИСТАРХ БУРМИН.

7

Большой номер Лоскутной гостиницы выходил окнами на Тверскую. Аристарх Бурмин смотрел на золотые луковицы св. Параскевы и скрипучим голосом говорил:

— Некогда были здесь дремучие леса и рыскали дикие звери. Воздвигнутая царственной волей, теперь красуется первопрестольная столица, и вместо зверей движется род человеческий... Род Бурминых корнями своими произрастает из седой древности...

В разговорах Бурмин забыл зажечь свет, и комната была озарена лишь слабым отсветом уличных фонарей. В розоватом квадрате окна его высокая, негнущаяся фигура, с горизонтальными плечами, в темно-синей поддевке, перетянутой в талии узким серебряным поясом, походила на ярмарочный пряник. Лутошкин сидел на диване за потухшим самоваром и выжидал паузы в монотонной речи Бурмина.

— Когда кобылу-то приедете смотреть? — резко спросил он, наконец. Бурмин подошел к двери и нажал два раза пуговку звонка.

— Дайте свет! — приказал он вошедшей горничной.

Горничная повернула выключатель и удивленно посмотрела на Бурмина, очевидно, не понимая, почему он не мог этого сделать сам.

Бурмин сел к столу против Лутошкина. Движения его поражали полным отсутствием мягких и закругленных линий, как будто весь он был из квадратов, параллелограммов и треугольников. Садясь к столу, он уронил салфетку и, поднимая ее, не согнулся, а переломился под прямым углом в талии.

— Кобылу мы приедем смотреть завтра, — заскрипел он, поглаживая иссиня-черную бороду, — в двенадцать

часов. Сейчас я намерен поговорить с вами о другом... Сколько вы получаете доходу от вашей конюшни? Двести рублей? Вы, конечно, осведомлены о моем заводе? О великолепном маточном материале, собранном в нем. Я предлагаю вам занять место старшего наездника у меня. Оклад жалованья превысит сумму, получаемую вами с вашей конюшни.

Лутошкин меньше всего ожидал услышать такое предложение. Бурмин внимательно наблюдал за выражением его лица. Указательный палец в широком золотом перстне медленно ползал по черной бороде сверху вниз.

Сухим и нервным лицом Лутошкин напоминал своего отца Варягина, а фигурой, очевидно, — мать: широкоплечий, высокий, с развитой спиной и шеей. Его отдаленный предок, один из трех Семенов-наездников, Семен Ермилович Мочалкин, по описанию современников, был тщедушен и весьма слабого сложения, что, однако, не мешало ему быть великим мастером езды и любимым наездником Алексея Григорьевича графа Орлова-Чесменского, взявшего его с собой даже в изгнание, в Дрезден...

— Я полагаю пробыть в Москве три дня. У вас есть время обдумать наше предложение, — после долгой паузы добавил Бурмин.

Лутошкин порывисто встал и подошел к окну. Предложение Бурмина вызвало в нем чувство смутной тревоги. Увлеченный Лестью, он совершенно не думал эти последние месяцы о делах своей конюшни. Они были плохи, и Бурмин косвенно напомнил ему об этом. Так напоминает о себе темная вода, внезапно глянувшая изподо льда, провалившегося под неосторожной ногой пешехода... Из одиннадцати лошадей конюшни надежды на будущее давала только одна Лесть. Лесть, хозяином которой был Бурмин...

Но уехать из Москвы — невозможно. Расстаться с ипподромом, с тысячными толпами зрителей, замуровать себя в деревне? А Сафир?! Косоглазая, смуглая Сафир, бойкая, как чертенок, и верная, как секундомер...

— Я не могу, Аристарх Сергеевич, нет! — проговорил он, подходя к столу. — Целый ряд дел связывает меня с Москвой. Не могу.

Бурмин ожидал такой ответ. И сказал:

— Жаль.

Потом достал из бумажника семьсот пятьдесят рублей и придвинул их к Лутошкину.

— Напишите расписку в получении вами комиссионных за купленную кобылу.

Лутошкин написал, поблагодарил Бурмина и, прощаясь, еще раз сказал извиняющимся тоном:

— Никак не могу, Аристарх Сергеевич! Мне очень лестно такое предложение и доверие, но... личные обстоятельства и дела вынуждают отказаться. Я очень благодарен вам...

Бурмин потянул книзу черный прямоугольник бороды и еще раз выговорил:

— Жаль.

Ровно в двенадцать на следующий день во двор, где помещалась общественная конюшня Лутошкина, мягко вкатила пролетка на дутиках, и из нее спустился Бурмин.

Первым его увидел Васька и взвизгнул на всю конюшню:

— Приехал!..

Бросив Филиппу выразительное: «Готовь!», Лутошкин вышел навстречу.

На Филиппе была новенькая рубаха небесного цвета, а дважды вымытое духовитым мылом лицо лоснилось, как новая калоша. Зловеще зашипев на Ваську, без толку мечущегося по конюшне, он прошел в денник Лести, подобрал с полу соломинки, заглянул в кормушку и суконкой быстро и ловко еще раз протер блещущую порядком кобылу. Потом вытащил из пиджака зеркальце, поплевал на ладонь и, смочив свои светлые волосы, тою же суконкой тщательно пригладил их на прямой пробор; вытер и лаковый козырек своего картуза.

Аристарх Бурмин в темно-синей щегольской поддевке с серебряным поясом, высоко поднимая ассирийскую свою бороду, прямой, высокий, вошел в конюшню. За ним — Лутошкин. Оба конюха застыли на месте, не спуская глаз с Лутошкина, готовые сорваться, как тетива, от одного его знака.

В коридоре конюшни был идеальный порядок. Пол чисто выметен, ни соринки; развешанная по стенам сбруя — вычищена и смазана; запасные колеса американок блестели металлическими спицами. Пахло скипидаром и летучей мазью. В решетчатые двери денников смотрели

лошади, встревоженные появлением незнакомого человека. Лутошкин, идя рядом с Бурминым, называл ему каждую лошадь и ее происхождение. Бурмин останавливался у денников только орловцев, а от метисов, в том числе и от красавца Витязя, презрительно отворачивался. Когда подошли к деннику Лести, Лутошкин кивнул Филиппу, не спускавшему с него глаз, и странно сломавшимся голосом сказал:

— Сейч...ас покажу вам кобы-ылу. Давай, Филя!

Филипп с Васькой исчезли в деннике. Бурмин отошел в сторону и засунул левую руку под серебряный пояс. Было слышно в тишине, как Лесть принимает удила выводной уздечки.

— Пойдемте! — нервно покашливая, сказал Бурмину Лутошкин, и они оба вышли из конюшни во двор.

Лутошкин заметно волновался. Волновался за Лесть и за Филиппа, хотя в обоих был уверен. Из многих конюхов, перебывавших у него в конюшне, никто не умел так показать лошадь, как Филипп. Даже посредственных лошадей он выводил из конюшни с нарядного напряженного шага и ставил с одного разу, как того требовала традиция. И все-таки Лутошкин волновался. Ему хотелось самому пойти в денник, самому взять на повод кобылу и вывести ее и поставить перед Бурминым. Бурмин был знаток, а не только хозяин.

И нетерпеливо крикнул:

— Ну что ж ты там?!

Почти сейчас же в дверях конюшни показался Филипп, и рядом с ним гордая, на великолепном нарядном ходу Лесть. Проведя ее влево от конюшни, Филипп повернул и одновременно с окриком Лутошкина: «Поставь кобылу!» — врыл ее всеми четырьмя ногами в землю перед Бурминым. Бурмин бросил быстрый взгляд на постанов передних ног и удовлетворенно улыбнулся. Отойдя в сторону, он внимательно осмотрел кобылу, отмечая крутое ребро, отличную почку, сухость ног, подошел, пощупал скакательные суставы и несколько раз с любовью погладил просторное косое плечо... После проводки еще раз с тою же внимательностью осмотрел Лесть и, наконец, проговорил:

— Кобыла достойная.

— А порода какая, Аристарх Сергеевич! — воскликнул Лутошкин.

— Достойная кобыла, — повторил Бурмин, — формы

орловские. Ее мать — полусестра Полыни, тетка Корешка. Прекрасный материал для моего завода. К сожалению, многие наши отечественные коннозаводчики, — продолжал он после короткой паузы, — ослепленные призраком резвости иноземных рысаков, творят преступное дело, смешивая гениальную орловскую кровь и кровь жалкого ничтожества, американской лошади, столь модной теперь на ипподромах России. Помутнение всеобщего сознания. Забыт величайший пример неподкупленной любви к орловскому рысаку, явленный миру сто лет тому назад, в 1819 году, ближайшим помощником Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского — Василием Ивановичем Шишкиным.

Бурмин величественно повернулся к Лутошкину и поднял руку с выпрямленным указательным пальцем в золотом перстне.

— Знаете ли вы, что, когда пал двадцатипятилетний Любезный 1-й, Василий Иванович приказал похоронить его подле манежа, в глубокой могиле, куда труп Любезного был помещен стоя, в шитой попоне, в уздечке и капоре?!

Рука Бурмина медленно опустилась.

— А что мы видим ныне? Где отечественное сознание?

Бурмин строго взглянул на Филиппа, напряженно слушавшего его с раскрытым ртом.

— Тебя как звать?

— Филипп.

— Скажи, голубчик, американская лошадь дрянь?

— Никуды-ы не годится!

— Ни-ку-ды! Вот-с именно, ни-ку-ды! — с удовольствием повторил Бурмин. — Ты старший конюх?

— Так точно.

Бурмин вынул двадцатипятирублевую бумажку и дал Филиппу.

— Возьми, голубчик, на всю конюшню. Старайся.

Смиренно стоявшая и словно тоже слушавшая все разговоры Лесть потянулась губами к руке Филиппа, зажимавшей двадцатипятирублевку. Филипп вынул из кармана штанов кусок сахару и подал его Бурмину. С довольной улыбкой Бурмин поднес сахар к атласным губам кобылы, потом повернулся к Лутошкину.

— Благодарю вас за покупку и прекрасный порядок кобылы. Когда вы предполагаете записать ее на приз?

— В это воскресенье.

Лица обоих конюхов и Филиппа повеселели. Васька

незаметно подошел поближе и подмигнул Филиппу. Филипп отодвинул его свирепым взглядом и проговорил Лутошкину:

— Во вторник, Алим Иваныч, Тальони едет!

Бурмин вдруг нахмурился. Ему давно хотелось посмотреть нашумевшего телегинского рысака, не знающего поражений. С этой тайной мыслью он и приехал в Москву. Но признаться никому не хотел.

— Материал у вас в конюшне не интересный, — сухо заговорил он, направляясь к выходу, — кроме Лести, ни одного порядочного экземпляра. Мне кажется, у вас еще был серый жеребец?

Лутошкин понял, что речь идет о Самурае, и уклончиво ответил что-то о неладах с владельцем, вынудивших его отказаться от Самурая.

— Имея в конюшне такую кобылу, как Лесть, Аристарх Сергеевич, я не жалею о Самурае. Самурая я объеду на ней, как хочу! — убежденно добавил он.

— Кобыла достойная, — проговорил Бурмин и, поглаживая бороду, загадочно улыбнулся.

В этот вечер Филипп пришел домой раньше обыкновенного. Положил на стол перед Нюшей десять рублей и торжественно объявил:

— В воскресенье едем. А это тебе на гостинцы.

— Куда едем? — хотела было спросить Нюша, но, взглянув на брата, поняла сразу все, и ее лицо, еще не старое, но уже изморщиненное нуждой и тяжелой работой, оживилось. Поправив растрепанные волосы, она робко напомнила Филиппу:

— Я тоже пойду смотреть... Билетик-то мне не забудь!

— В субботу две контрамарки дам. Полусапожки новые надень... Э-эх, и езда буде-ет! — зажмурился Филипп. — Кобыла в страшном порядке, пружи-ина, а не лошадь! Нонче сам владелец смотреть приезжал, четвертную подарил... Ва-ажный, борода че-ерная, на руке кольцо золотое, а пояс серебряный! В воскресенье, говорит, на приз записывать, кобыла, говорит, редкостная, сроду таких не видал!..

Нюша слушала жадно и радостно и, словно уже сейчас нужно было идти на бега, прихорашивалась, поправляя то и дело волосы, одергивала кофточку и посматривала на свои руки, большие и красные, стертые бельем.

8

Рожденный в заводе Телегина от американского жеребца Гей-Бингена и полу-американской кобылы Тайны, вороной жеребец Тальони во вторник 24 мая на трехверстном призу в честь Колюбакина побил свою соперницу Бирюзу и поставил новый рекорд: три версты в 4 минуты 24 секунды.

В пятницу в одной из столичных газет появилась статья об этом беге.

«Вороной жеребец, на три четверти американец, в данное время — лучшее, что есть на русских ипподромах, — писал в отчетной статье о бегах неизвестный, укрывшийся под инициалами. — Приятного, изящного экстерьера, среднего роста, Тальони обладает изумительным по красоте и полезности движений ходом. Каждое движение его ног так точно, так целесообразно направлено к тому, чтобы дать резвость, где нужно, что просто поражаешься! Все время он сохраняет темп — особенность, весьма важная для призового рысака такого огромного класса. Не надо зыбавать, что Тальони теперь рекордист на три версты и сейчас третий рысак мира, после Гарвестра и Кресцеуса. Пример этого несравнимого рысака должен быть уроком для всех тех, кто является неисправимым противником метизации. Квасной патриотизм достаточно дорого обходится нашей стране...»

Аристарх Бурмин, присутствовавший на ипподроме во вторник и видевший блестящую победу прославленного рысака, в пятницу прочитал фельетон и приказал укладывать чемоданы. Шагая из угла в угол по номеру, он немилосердно коверкал квадратную симметрию своей бороды: накручивал волосы клочьями на палец, совал их в рот, прикусывал и снова завивал в жесткий жгутик, медленно раскручивавшийся, лишь только он оставлял его в покое. Подходя к окну, смотрел на золотые луковки св. Параскевы и нехорошо усмехался.

«Пер-р-рвопрестольная! Отданная во власть чу-жезем-цам!»

Тальони был почти американец, и ехал на нем Самуил Кэйтон.

«Хм, древняя столица, сердце России!..»

— Почему вы не приносите мне счет? — резко бросил он вошедшей горничной. — Что у вас за порядки стали в Москв-е?!

После обеда он вызвал к себе Лутошкина.

Весь поглощенный предстоящим выступлением Лести, Лутошкин пришел возбужденный и озабоченный и, сам того не зная, подлил масла в огонь, заговорив о Тальони.

— Удивительнее всего, Аристарх Сергеевич, — это то, что Тальони накануне бега только что был привезен из Петрограда! И, вы знаете, оказалось, что он окончил бег со сломанной подковой! Изумительно!

Бурмин мрачно выслушал, кашлянул и сказал:

— Потрудитесь приготовить Лесть к отправке в завод.

Лутошкин побледнел. Он только теперь заметил встрепанную бороду Бурмина и его недобрый взгляд. И, еще не понимая вполне и не веря тому, что услышал, проговорил дрогнувшим голосом:

— Она же записана на приз в воскресенье?!

— Кобыла на приз не поедет, — сухо ответил Бурмин, — я сообщил на ипподром, чтобы ее сняли с записки.

Лутошкин качнулся назад. Нижняя челюсть запрыгала.

Один момент он был неподвижен, неотрывно смотря в лицо Бурмина; потом страшно скрипнул зубами и в упор подошел к нему.

— Вы не сме-ете! Не смеете, слышите?!

— Садитесь! — деревянным голосом пригласил Бурмин и сам сел в бархатное кресло.

Лутошкин отшвырнул ногой стул и навалился на стол. Руки у него дрожали.

Бурмин кашлянул:

— Я ценю в вас талант наездника, любезный Олимп Иванович! Талант, еще не успевший проявить себя. Как вы изволили выразиться в вашем письме, «наездник из грубого сырья создает формы». Прекрасное выражение! Оно свидетельствует о зрелости вашего ума. Мое желанье — предоставить вам...

— Почему не поедет кобыла? — перебил его Лутошкин дрожащим голосом.

Бурмин сделал паузу и продолжал:

— ...мое желанье предоставить вам единственную возможность вызвать к жизни ваши способности, наличие коих подтверждено углубленным изучением законов наследственности и прочее. Успех сегодняшнего дня — призрачен. Но в будущем я питаю твердую и неоспоримую уверенность, ипподром столицы увидит вас искуснейшим мастером и победителем на лошадях нашего завода. Завод мой...

— Почему не поедет кобыла? — снова перебил его Лутошкин.

— Мой завод, — продолжал Бурмин тем же ровно поскрипывающим голосом, — располагает первоклассным материалом, надлежащие формы коему призваны дать вы. «Из грубого сырья наездник создает формы». — Бурмин поднял указательный палец. — Разве это не прекрасное назначение для наездника? Почетное место в анналах конно...

— Я вас спрашиваю, почему не поедет кобыла?! — выкрикнул Лутошкин и в бешенстве встряхнул стол, опрокидывая недопитый стакан с чаем.

Бурмин внимательно посмотрел ему в лицо, помолчал, и сухо проговорил:

— Распоряжаться кобылой могу только я. Кобыла пойдет в завод. У нее иное назначение. Завтра вы погрузите ее.

Он достал бумажник и, отсчитав деньги, положил их перед Лутошкиным.

— Здесь сумма, необходимая на погрузку кобылы. Напишите расписку. Сопровождать кобылу пошлите вашего старшего конюха.

Лутошкин отошел от стола и грузно сел на диван. Бурмин наблюдал за ним, поглаживая бороду. Лицо его было бесстрастно. Золотой широкий перстень равнодушно сползал сверху вниз по черному квадрату, поднимался, снова сползал... Из-за двери доходил мягкий звук чьих-то шагов, заглушаемых ковром, звонки, хлопанье дверями.

— Из грубого сырья наездник соз-да-ет формы... — медленно выговорил Лутошкин, смотря куда-то перед собой пустыми глазами, и тихо засмеялся, потом вдруг, снова воспламеняясь, порывисто встал и подошел к Бурмину. — Аристарх Сергеевич! Неужели для вас наездник — только конюх, которого интересует одно жалованье, одна корысть?! Наездник может забыть отца, мать, отказаться от любимой женщины, но забыть лошадь — никогда!.. У каждого наездника есть такая лошадь — единственная, неповторимая, понимаете? Пока нет ее, о ней мечтаешь, хочешь встретить ее в каждой лошади, которую приводят; ошибаешься, ненавидишь... Наездник?! Что такое наездник?.. Вы думаете — это сел и поехал, тротт, мах, резвая, потом приз?.. Вы ошибаетесь! Вот я скажу вам, слушайте!.. Я вам скажу... Вот вы обвиняете нас в

том, что мы ломаем и калечим лошадей, так? Ну вот! Приводят лошадь. Начинаешь ее работать. Работаешь неделю, месяц, ничего особенного в лошади нет. Но вот, совсем неожиданно, вдруг, на каких-нибудь десяти—двадцати саженях она вдруг сделает такой бросок, покажет такие движенья — обалдеешь! И уж тут — крышка! И ей крышка и наезднику. Тут кончено! Запомнишь эту проклятую вороную или серую спину, все равно как море, зыбкая эдакая, будто вот уплывает она куда-то из запряжки... Каждым пальцем запомнишь, как запоет вожжа, и уж тут — крышка! Сразу бесповоротно поверишь в нее, во сне будешь видеть. «Она! Наконец-то она!» Начнешь ухаживать за ней, выделишь из всех ее и ждешь, каждую езду, вот-вот сейчас улыбнется она движеньем и повторит памятный бросок. Одним словом, держишь год, полтора на конюшне, каждую езду просишь от нее, требуешь, а она — ни в какую! Обману-ула, Аристарх Сергеевич, обманула-а! Понимаете? Нет в ней ничего, ниче-го... Бабу за обман убить можно. Вот тут-то и начинается. Не отдаешь — так я вырву из тебя, сволочь, возьму. Тут уже позволено, Аристарх Сергеевич, тут все можно! Тут и ломаем и калечим и будем ломать, уж тут позвольте без разрешения... Вот, Аристарх Сергеевич! Понимаете?

Лутошкин смолк и, словно пытаясь припомнить, к чему все это он говорит, потер лоб. Потом протянул обе руки к Бурмину.

— Аристарх Сергеевич! Не берите от меня Лесть. Не отправляйте ее в завод. Не делайте этого.

Бурмин молчал и поглаживал бороду.

— Аристарх Сергеевич! Вы не знаете, что это за кобыла, какое это сердце! Эта не обманет. Не берите ее от меня... Я согласен без жалования служить вам. Оставьте ее.

Под усами Бурмина шевельнулась еле заметная удовлетворенная улыбка. Он думал о законах наследственности. Он вспоминал об отдаленном предке Лутошкина — Семене Мочалкине, сподвижнике графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского.

И сказал:

— Все, что вы говорите, Олимп Иванович, весьма знаменательно. Ваше окончательное решение в ответ на мое предложение поступить в мой завод старшим наездником вы сообщите мне по телеграфу не позднее первого. Возьмите деньги на отправку кобылы. Я надеюсь, что мы

вернемся к этому разговору, повторяю, весьма знаменательному, у меня в именье.

...Путь от Лоскутной до Башиловки был для Лутошкина долог, как болезнь. На Башиловке его ждали Филипп, Васька, Павел и серая Лесть...

У Тверской заставы он неожиданно приказал извозчику повернуть обратно и сказал адрес Сафир.

9

Жизнь огромного именья Бурмина вращалась вокруг одного стержня — конного завода. Вздыбленные кони над конюшней были видны издалека с большой дороги. Для крестьян двух соседних деревушек выхоленные рысаки, запряженные в рабочие качалки с высокими колесами, американская упряжь без дуги и хомута были привычным зрелищем, и ребята играли здесь не просто в лошадки, а в «наездники и прызы», а взрослые в разговорах часто употребляли слова, занесенные с конного завода: сварливых и непокорных баб называли «отбойными», беременных — «жерёбыми», гулянки — «выводкой» и т. п. В самом именье людей как бы и не существовало! Были лошади. Были жеребцы, кобылы, жеребята, качалки, американки, оберчеки, вожжи, хлысты, манеж и конюшни, овес и сено, курбы, шпаты, засечки и другие лошадиные болезни; был ветеринар, наездники, конюхи, кузнецы, шорники, кучера и заезжие барышники, и над всем этим из большого белого дома на берегу пруда — воля одного человека: она проникала собой все, все подчиняла себе, на все накладывала свою печать. День начинался лошадью, ею и кончался. И ночью, в снах, опять оживали в причудливых образах лошади. Над сонными службами, над ночным храпом людских, над задремавшим ночным караульным и сторожевыми псами, над главным входом в конюшни дыбились черные тела скакунов, освещенные ярким фонарем. И лишь соскучившийся пес иногда, задрав вверх морду, начинал на них лаять надрывистым, безнадежным лаем...

Лутошкину отвели отдельный флигель в две комнаты. Окна флигеля выходили к конюшне. Бурмин сам, на другой день по приезде Лутошкина, показал ему конюшни, манеж, устроил выводку всех лошадей и после пригласил к обеду. За обедом Лутошкин несколько раз пытался заговорить с Бурминым, но Бурмин в ответ лишь вскидывал на него глаза и молчал. От Адель Максимовны узнал по-

том Лутошкин, что Бурмин никогда не разговаривает за едой. И в этот раз разговор начался после сладкого, когда подали кофе. Начал Бурмин разговор фразой из письма Лутошкина:

— «Наездник из грубого сырья создает формы...» — Проговорил, помешал ложечкой кофе, отхлебнул и поднял глаза на Лутошкина. — Я предоставляю вам, Олимп Иванович, полную свободу в вашей ответственной созидательной деятельности в моем заводе. Хозяин в конюшне — вы!

Эту же фразу Бурмин повторил и при окончании разговора в кабинете, куда он провел Лутошкина, чтобы показать ему библиотеку, диаграммы и записи, рисующие жизнь завода.

И добавил:

— Я предоставляю вам также свободу делать разумные расходы, способствующие наилучшей выработке орловского рысака.

Для Лутошкина началась новая жизнь. Завод был поставлен образцово. Работа с молодняком требовала большого напряжения от наездника, внимательности и знаний. Многому Лутошкину пришлось учиться в процессе работы — воспитание молодняка было для него делом почти незнакомым. В отличие от других наездников, в огромном большинстве своем безграмотных и не знающих ни одной книги, он много и усердно читал специальной литературы о лошади. В библиотеке Бурмина был прекрасный подбор книг по всем вопросам, имеющим отношение к лошадям. И сам Бурмин, в частых разговорах с ним, обогащал его ценнейшими сведениями о том, как воспитывается рысак за границей, об устройстве там манежей, ипподромов, тренировке и пр. В короткое время Лутошкин приобрел ту уверенность в своих действиях, которая возможна только при взаимной проверке теории и опыта. Лошадь стала для него ближе, понятнее, и молодняк в его руках заметно стал прогрессировать.

Свободного времени у него почти не было. А когда оставалось, — его вдруг охватывала тоска. Тоска от безлюдья. Словно внезапно проснувшись, он вдруг с ужасом замечал, что вокруг только лошади, только лошадиные слова, мысли и разговоры... Откуда-то из другой жизни доходили сюда слухи о войне, поражениях, каких-то изменах высоких лиц и гасли здесь, как в безвоздушном пространстве. И опять ржали лошади, ржали жеребцы, ржа-

ли кобылы и отъемные жеребята, и по-лошадиному виляла задом Даша, проходя мимо флигеля в баню.

А Бурмин, поглаживая квадрат бороды, самодовольно улыбался удачному выбору наездника, безвыходно находящегося то в конюшне, то в манеже, то просиживающего напролет ночи за чтением толстых фолиантов из его библиотеки.

«Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский создал несравнимого орловского рысака. Наша задача — изъять орловского рысака из рук наездников-чужеземцев путем создания национального, русского мастера езды», — записал он в одну из своих многочисленных тетрадей и в этот же день увеличил вдвое жалованье Лутошкину.

Два раза в неделю Бурмин приходил в конюшню на утреннюю уборку, и каждое его посещение сопровождалось всегда своеобразной церемонией, как бы подтверждающей слова, сказанные им Лутошкину на другой день его приезда в конный завод: «Хозяин в конюшне — вы». Подойдя к главному входу в конюшню, Бурмин терпеливо ждал, пока не выйдет к нему навстречу Лутошкин, извещенный о его приходе конюхами. Лутошкин не всегда торопился встретить хозяина, часто делая это с умыслом. Бурмин покорно ждал.

— Можно войти? — спрашивал он, когда Лутошкин, наконец, появлялся, и, входя в конюшню, пропускал Лутошкина вперед себя. У денника Лести хозяин и наездник останавливались редко, разговор обрывался: Лутошкин ничего не говорил о кобыле, Бурмин ничего не спрашивал. Лишь один раз он попросил вывести ее из денника. Лесть была уже жереба. Лутошкин мрачно наблюдал за Бурминым, рассматривающим кобылу, и молчал.

Когда Лесть ввели снова в денник, Бурмин с самоуверенной улыбкой погладил бороду и сказал громко:

— Жеребенок обязан быть исключительным по классу. В нем встретятся кровь соллогубовского Добродея и несравненного Корешка. А в конце будущего зимнего сезона мы сможем записать кобылу на приз.

Лутошкин ничего не ответил.

Так прошла осень, зима, и наступил февраль семнадцатого года. Повар Димитрий, ездивший в город за покупками кухонных специй, войдя с отчетом о поездке в кабинет Бурмина, весело сообщил:

— Государь-то наш — тю-тю-тю!

Бурмин посмотрел на него и ничего не сказал, ничего не спросил. Взял счета и начал их просматривать.

— Отказался начисто от престола — и лататы к немцам! — помолчав, заговорил Димитрий. — Я и листок из города привез насчет всего этого...

Он достал из кармана скомканную газету и положил на стол.

Бурмин выпрямился, метнул на Димитрия заискрившийся взгляд и крикнул:

— Пошел вон, болван!

А когда Димитрий вышел, взял со стола газетный листок, прочитал его и гневно разорвал в клочья.

Вечером в этот день Бурмин уехал в город.

В конце лета, в звездную августовскую ночь, перед сном Бурмин совершал свою обычную получасовую прогулку по парку. В ночном успокоении было приятно слушать, как за прудом, в деревне, бьется стукушка ночного караульного, как подсвистывает на болоте поганка и стонет гулко выпь. Иногда до слуха доходили звуки падения яблок в саду, глухие, мягкие и одинокие; или вдруг в верхушках отцветающих лип начиналась таинственная возня и хлопанье крыльев... Все — знакомое, давнее, привычное и мирное. Нигде, ни в какое время дня не думалось так хорошо и плодотворно, как в парке во время этих ночных прогулок перед сном. Это как раз здесь, у спуска к пруду, пришла в голову Аристарху Бурмину счастливая и гениальная мысль покрыть семнадцатилетнюю Боярку, дочь Мстителя и Своенравной, серым Кудесником, сыном Будимира. Годовичок Боярин был теперь лучшим жеребенком в заводе, и Бурмин не сомневался в его прекрасном будущем...

«Хаос, претворенный божественной волей в стройное мироздание, дает нам пример и указует пути деятельности, — думал он, подходя к дому. — Если бы сын Лести не пал, мы имели бы тому прямое доказательство; в знаменитом Бадене завода Вяземских кровь Элекшионера повторяется в четвертом поколении три раза со стороны отца и со стороны матери один раз...»

— Наши марьевские отродясь безлошадные были! — громко проговорил знакомый Бурмину голос за углом кухни.

Потом было слышно, как кто-то вздохнул.

— Сколько их тут-то, — продолжал тот же голос, —

стра-асть! Ежели по одной на хозяйство распределить, на две Марьевки хватит!

— Куды-ы там, на всех достанется! — согласился поспешно другой голос.

Бурмин остановился. Один из говоривших был повар Димитрий — он сразу узнал его по голосу.

— Кобылу я давно облюбовал себе, и-ых, и кобыла!.. — продолжал Димитрий, понижая голос. — Полста пудов упрет — не крякнет, да еще годовичка на примете держу... Хозяйство справлю первый сорт!

— Форменно справишь! — поддержал другой и, помолчав, раздумчиво проговорил:

— Ну, только я тебе, Митрий Егорыч, скажу — неспособна такая лошадь для крестьянского дела, к другой жизни приучена, и опять же корма... Заводская лошадь она не стоит, играет...

— Игра-ает! — насмешливо перебил Димитрий. — Играет она с жиру, небось у меня не заиграет, накручу воз потяжелее, да заместо овса соломки, сразу осажу в правильное положение, всех господ позабудет!

Самым странным в этом разговоре Бурмину показалось то, что его повар говорит о каком-то хозяйстве, что у Димитрия в Марьевке есть хозяйство... Это его удивило и рассердило. Димитрий был повар, человек, приставленный к кухонной плите. Девять лет изо дня в день каждое утро он подавал ему через Адель Максимовну на утверждение письменное требование на продукты, необходимые на обед, завтрак, ужин; девять лет мысль Бурмина не отделяла имени Димитрия от ряда определенных, точных названий: ботвинья, бульон, битки, суфле, бланманже и пр.; девять лет по понедельникам он ходил с ним в баню, раздевал, мыл и одевал его, и никогда Бурмин не замечал, чтобы у повара Димитрия была еще жизнь, кроме жизни кухонной и понедельничной банной... И вдруг — какое-то хозяйство, марьевские интересы, собственная лошадь?! Повар — и собственное хозяйство! Повар — и собственная лошадь! Повар — и такие разговоры?!

«Уволить!» — решительно отметил в мыслях Бурмин и хотел выйти к разговаривавшим, но в это время к ним подошел третий — ночной сторож Степан, вернувшийся с фронта без руки год назад. Как и Димитрий, Степан был из Марьевки.

— Степан, ты? — спросил Димитрий тихо.

— Я, а то кто же!..

— Когда постановлено лошадей-то у нашего Ирода разбирать?

— Со снопами управимся — и разбирать! — угрюмо ответил Степан, слышно сплюнул и добавил: — По мне, хоть сейчас зачинай!

Дальше Бурмин не слушал... В тишину старой липовой аллеи ринулись дикие образы хаоса. Все знакомое, давнее, привычное, мирное вдруг исказило черты свои и стало неузнаваемым. По-иному свистела на болоте поганка, а звонкая стукушка ночного караульщика отбивала торопливый счет минутам стремительно уходившего срока...

— Ре-во-лю-ци-я!..

В первый раз произнес Бурмин слово, которого никогда не произносил, которого не хотел ни слышать, ни знать. И стены огромного кабинета, увешанные снимками рысаков и диаграммами, многократным эхом возвратили слуху произнесенное слово:

— Ре-во-лю-ци-я!!!

Утром на следующий день Аристарх Сергеевич Бурмин уехал в город, а через три дня в имении появились солдаты, присланные для охраны конного завода губернским комиссаром Временного правительства. Бурмин переменил характер своей работы. Лошадей сменили люди. В длинных списках имен и фамилий синий карандаш отмечал тех, кто казался Бурмину подозрительным. Но чем больше он размышлял над списками, тем все меньше оставалось в них имен и фамилий, не отмеченных синим крестиком...

Верной помощницей в этом деле была Адель Максимовна. Как старьевщик тряпье, собирала она жадно по кухням, в людской, в прачечной обрывки фраз, слова и вздохи, прерванные разговоры и намеки и сносила все это в кабинет Аристарха Сергеевича Бурмина. Ползал сверху вниз, снизу вверх по спискам синий карандаш, метил крестиком обнаруженную революцию, подсказывал из-за спины низкий мужской голос Адель Максимовны, и облегченно вздыхал с каждым днем Аристарх Бурмин — шла на убыль революция в списках... Отпуская верную экономку, он говорил:

— Ступайте и помните: не ре-во-лю-ция, а разбо-ой, не повар, а Дан-тон! Идите! Благодарю вас!

Когда в списках осталось только четыре имени: Адель Максимовны, Лутошкина, приказчика Федора Епифанова

и конюха Якова, пропавшего без вести на фронте полгода назад, — Бурмин призвал вечером Лутошкина к себе в кабинет и начал так:

— Сто лет тому назад император Александр I, осчастливив своим посещением Хреновский завод, выразил графине Орловой-Чесменской желание иметь некоторых жеребцов ее завода. И что же? Четыре, намеченные в подарок августейшему гостю, жеребца были предоставлены ко двору, но уже меринами...

Бурмин сделал долгую паузу, во время которой испытующе и вопросительно смотрел на Лутошкина. Потом продолжал, не повышая и не понижая голоса:

— Графиня не могла поступить иначе — воля ее великого родителя была священна. Граф Алексей Григорьевич завещал не продавать из завода жеребцов иначе, как меринами. Он хотел сохранить в чистоте выведенную им породу.

Указательный палец в широком золотом перстне выразительно стукнул по столу.

— Так была нарушена воля императора. История оправдала это. Почили в бозе император, и граф, и его дочь, а орловский рысак живет. В моем заводе собран лучший маточный материал чистейших орловских кровей. Не налагает ли это на нас с вами высокую обязанность принять все доступнейшие нам меры к его сохранению? Уточняя свои наблюдения за людьми конюшни, вы безошибочно произнесете свое суждение о каждом, ибо в обращении с лошадьми может укрываться анархия и дантоновские бредни. Вот список людей, подлежащих немедленному увольнению.

Лутошкин улыбнулся. Скользнув по списку глазами, он вскинул их в упор на Аристарха Бурмина. И проговорил раздельно:

— Бесполезно это. Всему бывает конец. Орловский рысак, может, и останется, а коннозаводчикам — крышка, Аристарх Сергеевич! Сейчас что ни конюх — то Емельян Пугачев. Мне видней...

— Емелька Пугачев был посажен в клетку-с! — перебил его Бурмин и, подумав, сухо скрипнул:

— Ступайте!

Когда Лутошкин вышел, синий карандаш поставил крестик в списке против его имени.

Через сутки после этого разговора, отряд, присланный для охраны завода, неожиданно покинул именье, а в

следующую ночь в спальню Аристарха Сергеевича Бурмина вбежала полуодетая Адель Максимовна с криком:

— Дан-то-он!!!

Сон Бурмина треснул огненной трещиной... Крик экономки бросил в мозг дикие образы...

— Ре-во-лю-ци-я!!!

В папильотках, в одной рубашке, с невыразимым отчаянием схлестнув руки на плоской груди, Адель Максимовна смотрела огромными глазами в дверь кабинета, вымазанного багровым отблеском пожара... Бурмин выпрыгнул из постели в кабинет, к одному окну, к другому, к окнам, ко всем окнам, толчком распахнул самое большое, венецианское, и услышал свистящее пламя, увидел стремительные валы дыма, толпы людей, услышал и рев, и ржанье, и треск взламываемых дверей и, отступая от окна, от пожара, от рева, от треска, от свиста, от революции вглубь кабинета, повел обезумевшими глазами по стенам ..

Все они были здесь. В порядке строгом и неизменном. И гордый красавец Крепыш, и величавый отец его Громадный, и Кокетка, и стальной, в яблоках, Гранит барона Толя, и Любезный... Все, все, все!.. Из черных с позолотой рам отчетливо выступали линии и круги диаграмм, а против письменного стола в багровом блике бешено уносился на могучем сером Барсе граф Орлов-Чесменский...

Аристарх Бурмин протянул к нему руки.

И в первый раз в жизни возвысил голос до безнадежного стонущего вскрика:

— Гр-р-а-а-ф!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

С севера на юг ползла воинская казачья часть от наступавших красноармейцев. Широкий и просторный большак, развалившийся привольно между полями на добрых полсотни сажен, курился желтоватыми облаками пыли, подолгу застаивавшейся в знойном неподвижном воздухе, и со стороны походил на пожарище. Шатневские мужики задолго до появления воинской части начали отгонять за

реку в лес лошадей и скот, прятать овес и сено, ловить бродивших по улицам свиней и кур и снимать с телег колеса и оглобли. За короткое время гражданской войны они в совершенстве усвоили свои взаимоотношения с проходящими воинскими частями независимо от того, какие это были части: белые, или красные, или знакомые банды зеленых и антоновцев...

Никита Лыков, узнав о приближении воинской части, прибежал с базара очумелый и первым делом бросился в хлев, оттуда в избу.

— Семка не вернулся?

— Эка скорый какой! — сказала Настасья. — Небось туды только прибыл, а ты верну-улся!..

Никита сел на лавку и уставился в пол.

Полгода назад проходившая красная часть забрала его с телегой и лошадью в наряд. Больше двухсот верст сделал он на своей Карюхе в обозе и, убедившись, что конца этим мытарствам не предвидится, ночью, на стоянке, бросив телегу, верхом удрал из части. На полдороге к родному селу его встретил казачий отряд. Карюху подпрягли к другой лошади в тачанку, и Никита вернулся в Шатневку пешком, без лошади и телеги, а на вопрос односельчан: дали ли ему казаки что за реквизированную Карюху, — отвечал:

— Как же не дать?! Да-ли... По шее два раза дали...

Ничего не знавшая Настасья посмотрела на мужа и спросила:

— На чего он тебе понадобился, Семка-то?

Никита вместо ответа замотал головой.

— Не миновать — встренут его на большаке... Чего теперь делать, головушка моя горькая?!.. Солдаты с городу идут к нам, — пояснил он Настасье и встал. — Вот чего, баба, я побегу огородами к выселкам, может, встрену его, а ежели разминусь дорогой и без меня вернется, чтоб моментально жеребца гнал за реку, к Горелому болоту, хлеба дай ему с собой, там пущай и ожидает меня. Хозяина ежели спросют, сказывай — нету, в наряде; передки телеги откати в пруд, заодно — замокнут пусть. Свинью с поросятами загони в катух да замкни, да овес из кадки выбери, две меры с половиной там, ворота на запоре держи, хозяин, скажи, в наряд выбыл; а я побегу, может, встрену его...

По огородам, перелезая через плетни, Никита быстро добрался до глубокого буерака, разрезавшего село на две

части и идущего до самых выселок, куда уехал за гвоздями верхом на жеребце девятилетний Семка.

По обеим сторонам буерака были вишневые сады, в буераке по ручью росли ветлы, крапива в рост человека и лопухи, от земли тянула сырая прохлада. Никита бежал, не останавливаясь; холстинная рубаха на спине потемнела от пота. Буераком до выселок было не больше пяти верст. Сват Григорий в риге резал сторновку[1].

— Откуда бог принес? — удивился он Никите. — А я, признаться, сам до тебя хотел дойти,— свинья, сказывают, у тебя опоросилась, мы с бабой в уме давно держали поросеночка от нее...

— Семка был? — перебил его Никита.

— А как же не был? Был, блинцы ел... Теперь по делам близу дома должен быть. Чтой-то взопрел ты, аль...

Никита схватился за голову и, не объяснив толком, в чем дело, пустился бегом в буерак.

С гвоздями за пазухой Семка еще с межи завидел пыль над большаком и в ней гигантским ужом вползавшую в Шатневку воинскую часть. Боясь опоздать и не увидеть солдат, он начал нахлестывать концом повода жеребца. Гнедой жеребец догнал конец обоза при въезде в село. На задней тачанке вверх пузом и задрав ноги лежали два казака и охрипшими голосами тянули две разные песни. Петь им, видимо, смертельно не хотелось. И они не пели, а взвывали. Взвоет один, сейчас же прицепится другой, спутаются два разных напева и вдруг оборвутся на полуслове. Помолчат и опять:

...стоя-ял он в се-ром сюр-ту-ке...
...на диком бреге Иртыша-а-а...—

запускал неожиданно другой, и походило на то, когда два борца, упав наземь, переплетают разнообутые ноги.

Семка с высоты жеребцовой спины важно посмотрел на потные, грязные лица певцов и хотел уже проехать дальше, как вдруг один из них поднял вихрастую, черную, как у цыгана, голову, взглянул на него, потом на сытого гнедого жеребца и толкнул локтем товарища.

---

[1] Сторновка — немятая солома, получаемая при специальном обмолоте. *(Прим. ред.)*

— Обожди! — крикнул он Семке, выбросив из тачанки ноги в обмотках и рваных башмаках.

— Чего? — подозрительно спросил Семка, слегка придерживая жеребца.

— Обожди, говорю, дело есть!

Вихрастый спрыгнул с тачанки и подошел к нему. Подошел и второй, раскачиваясь на затекших ногах, и взял жеребца под уздцы.

— Теперь слазь! — приказал черный.

— Пусти-и!..— плаксиво протянул Семка, дергая повод и ударяя голыми пятками жеребца в бок.

— Слазь тебе говорят! — схватил его за ногу черный и потащил вниз с жеребца.

Понял все Семка потом...

Солдаты быстро выпрягли из тачанки свою лошадь и на ее место запрягли гнедого. Семка с криком вцепился обеими руками в жеребца. Черный сдернул с тачанки винтовку и зарычал:

— Пристрелю, гаденок, сейчас! Отходи!

— Не да-ам, не да-ам, ой, папа-анька-а!..

Увесистый шлепок оторвал Семку от лошади, и он покатился на дорогу. Из-за пазухи посыпались гвозди. Тачанка с гнедым жеребцом запылила по дороге, догоняя обоз. Вопя и призывая отца, Семка побежал следом, но, вспомнив про рассыпанные гвозди, вернулся, и не прекращая плача, стал собирать их в пушистой пыли. А когда собрал и сосчитал, взглянул на паршивую, облезлую от чесотки клячу, уныло стоявшую на краю дороги, и взвыл с таким отчаянием и так пронзительно, словно его резали. Потом вдруг стих и еще раз посмотрел на лошадь. В широко раскрытых, налитых слезами глазах его отобразилась какая-то мысль; несколько мгновений он стоял так, не спуская глаз с лошади, с открытым ртом, в котором застрял выпиравший из нутра и внезапно оборванный крик, одной рукой держал подол рубахи с собранными гвоздями, другой — чесал под коленкой... Кляча, опустив до земли облезлую голову, шлепала отвисавшей губой и изредка бессильно отмахивалась жидким хвостом от мух, жадно липнувших к болячкам.

— О-ой! Ой-о-ой! — пронзительно завизжал Семка, увидев отца, бежавшего к нему с огородов.

— Где жеребец?! — страшным голосом выкрикнул Никита, подбегая. Семка в ответ залился еще пронзительней. Никита взглянул на оставленную клячу и свирепым уда-

ром по лицу опрокинул Семку. Из подола рубахи опять рассыпались гвозди. Увидя их, Никита с новой яростью схватил Семку за волосы и захрипел:

— Гвозди берег, стервец!.. Гвозди, гво-озди! Убью-у-у!

От жестоких ударов отца Семка кувыркался в пыль лицом, ползал на четвереньках, вставал и снова летел на землю. Полыхнув его еще раз ладонью по щеке, Никита с мутными глазами бросился на село.

Председатель совета, выслушав Никиту, вздохнул:

— Жеребец у тебя дельный был, что верно, то верно, ну, а сделать тут ничего невозможно, потому фронт и гражданская война. Ступай в волость, справку тебе об отборе дам, может, там чего придумают...

В избе причитала в голос Настасья, плакал на печи Семка с разбитым и опухшим лицом, а на дворе, у телеги без передков, стояла унылая кобыла, вся в паршах и болячках, похожая на освежеванную дохлятину. Никита долго смотрел на нее, стиснув зубы, потом с размаху ткнул ее сапогом в облезлый бок. Лошадь крякнула, повернула к нему голову, кривую на левый глаз, и отошла на другую сторону. Вечером Никита ушел в волость, вернулся пьяный оттуда и долго искал спрятавшегося Семку. На двор приходили соседи, рассматривали кобылу, вздыхая, жалели жеребца и уходили. Несколько раз выходила из избы Настасья, подолгу стояла перед лошадью и тихо всхлипывала, вытирая передником слезы.

Никита пил два дня. На третий, на заре, утром выйдя из клети, он подошел к кобыле и начал внимательно осматривать ее. Вся она была словно изъеденная молью, вместо шерсти — короста и плеши, над глазами — глубокие впадины, как это бывает у очень старых кляч, согнутые в коленях ноги дрожали и подламывались. Вытащив язык, Никита посмотрел ей в зубы. Кобыле было не меньше десяти лет.

— Чего мне с тобой делать? — заговорил он горестно. — Какая ты работница? Чего с тебя спросишь? К ветинару весть, на все село срамотиться! Шкура того не стоит!.. Опять же без лошади — никак невозможно! Кум Митрий меньше, чем за триста, своего мерина нипочем не отдаст, а такие деньги — откуда их взять?

Ладонью Никита упер во впалый бок кобылы. Лошадь пошатнулась.

— На ногах не стоит!

Из избы вышел Семка. Увидев около кобылы отца, он испуганно шмыгнул обратно.

В полдень, завязав в узелок полтора десятка яиц и два фунта масла, Никита повел кобылу к ветеринару в волость. Идти пришлось через все село. Опустив низко голову, Никита не вел, а тащил за собой еле переступавшую лошадь; встречая знакомых, отворачивался в сторону, словно чувствовал себя в чем-то виноватым. Отделенный брат его — Василий, промышлявший раньше так же, как и Никита, легким извозом и всегда злобно завидовавший гнедому жеребцу, вышел за ворота и на всю улицу крикнул:

— Сколько придачи-то дал за кобылу? Ле-ев, а не лошадь!

Как нарочно, лев в этот момент споткнулся и упал на передние ноги. Никита рванул повод и, видя, что кобыла не поднимается и продолжает стоять на коленях, ударил ее сапогом в морду. С усилием выпрямляя сперва одну, потом другую дрожащие ноги, лошадь кряхтя встала.

— Держи крепче, вырвется! — со смехом крикнул Василий.

Весь путь до ветеринара был для Никиты стыдной пыткой, словно проводили его сквозь строй за нехорошее, темное дело...

Ветеринара дома не оказалось. Никита бросил лошадь у коновязи, перед квартирой, и сел на крыльцо. Ждать пришлось долго. Думать было не о чем. За три дня Никита все передумал. Жеребец на плохой конец стоил пять с половиной сот, за кобылу не дадут и пятерки на кожу. Купить новую лошадь не было сил...

Рядом с домиком, в котором жил ветеринар, громоздились развалины двухэтажного дома; передняя стена, завалившаяся внутрь, открывала закопченное пожаром нутро с мрачными прогалами дверей; сожженный старый вяз стлал свои мертвые, черные руки по одной из стен; один из сучьев почти упирался в нависавший полуразрушенный балкон, на нем сидела ворона и следила насмешливо за рыжей пятнистой кошкой, подкрадывавшейся к ней по карнизу балкона...

Широко расставив ноги, Никита сидел с опущенной головой и вертел в руках старый картузишко: то ковырял ногтем истрепанный козырек, то вдруг начинал оттирать рукавом пыльные давние пятна. Отрываясь от картуза, обводил мрачным взглядом церковную площадь,

блистающие на солнце кресты, следил за галочьими стаями, останавливал глаза на развалинах дома, где в прошлом помещался исполком, думал о том, что дом этот был самый большой в Шатневке и самый красивый, и снова и снова возвращался мыслями к отобранному сытому и здоровому жеребцу и избегал смотреть на кобылу у коновязи, а она назойливо лезла в глаза и из галочьих стай, и из ослепительного блеска церковных крестов, и из мрачных развалин когда-то богатого и самого красивого в Шатневке дома... И словно не лошадь стояла у коновязи, безнадежно уронив до земли голову, а вся жизнь, утратившая смысл, постылая и никому не нужная...

Старый ветеринар прошел равнодушно мимо Никиты в дом с пачкой газет в руках. На кобылу не взглянул.

Никита встал и долго ждал стоя, когда он выйдет к нему. Не дождавшись, вошел сам в квартиру. Ветеринар читал газету.

— Я до твоей милости, Александр Егорыч...

— Чего? — продолжая читать газету, отрывисто спросил ветеринар.

— Да вот там привел...

Никите было стыдно назвать кобылу лошадью, и он добавил:

— ...больную...

— Понос, что ль?

Глухим голосом Никита рассказал все; положил на стол масло и яйца, потом достал царский полтинник и неловко сунул его по газете.

— Скажи ты мне только, Александр Егорыч, могёшь аль нет ее поправить? — закончил он и уставился в красное, изрезанное морщинками, седоусое лицо.

Александр Егорыч вышел на крыльцо и, взглянув на кобылу, свистнул:

— Ну и добро-о-о!

Бегло осмотрев лошадь, он пошел мыть руки. Никита мрачно остался на крыльце.

— Корм плохо ест? — снова вышел ветеринар.

За эти три дня Никита никакого корма кобыле не давал и ответил:

— Совсем не жрет.

— Поправить ее мудрено,— заговорил Александр Егорович, — чесотка и полное истощение. Если чесотка прошла внутрь — капут кобыле! Дам я мазь, попробуй, может, чего и выйдет. По-настоящему надо бы ее через сер-

ную камеру пропустить, да разве с вами, чертями, что сделаешь?! Три месяца долблю в совете: «Дайте денег на камеру, дайте денег на камеру!» В город из-за этого ездил... Вам не гражданами быть, к зулусам вас выселить.

Ветеринар злобно сплюнул.

— Мазь я тебе дам. Намажь все больные места, а потом промой табачным отваром да зеленым мылом, и опять намажь через день. Кормить надо кобылу. Картошку мелко-намелко режь и с овсом, болтушку из отрубей, морковь тертую подбавляй в овес. Понял? Через неделю приводи опять.

— И могёт справиться? — с робкой надеждой посмотрел Никита на ветеринара.

— Раз на раз не приходится. Случалось, и поправлялись. Первак-то есть, небось, захвати бутылочку!

Лицо Никиты просветлело. Просьба принести самогону подействовала на него лучше всяких обещаний.

— Только бы поправить кобылу. Перваку я тебе предоставлю без промедлениев, будь надежен, чисто спи-ирт!..

— Через неделю приводи! — повторил Александр Егорович и пошел в дом за лекарством.

Никита перекрестился на церковь.

Когда возвращался домой, ему казалось, что кобыла идет уже бодрее и не так тянет повод, и он думал, что немного сплошал, не захватив с собой сегодня бутылочку самогону: тогда, глядишь, леченье пошло бы скорее, и лекарства дал бы Александр Егорович побольше, а не такую маленькую баночку...

И, оглядываясь, он понукал кобылу, но в его голосе уже не было злобы, и он останавливался и покорно ждал, пока кобыла передыхала.

Чужая паршивая кляча возвращалась из волости полноправным членом семьи Никиты Лыкова.

2

Радость пришла к Никите так же нежданно-негаданно, как и несчастье в тот памятный знойный день...

Ухаживали за больной кобылой всей семьей. Никита мазал, мыл, выстригал вокруг болячек шерсть, чистил. Настасья заваривала болтушку, парила тяжелый бледно-золотой овес, укутывала ведро дежником, терла морковь, а Семка чистил несколько раз на дню катух и не про-

пускал случая, чтобы не сунуть посоленный ломоть пирога в ласковые губы лошади.

Кобыла медленно поправлялась и веселела. На месте болячек проступала новая шелковистая шерсть, густел хвост и грива, ноги выпрямлялись, и уже не струилась по ним вниз бессильная дрожь.

Как-то в полдень Семка стремглав влетел в избу, где полудничал отец, и радостно сообщил:

— Ржет, ей-богу, папанька, ржет! Пашка Никишин по проулку поехал, а она услыхала да как заржет!

Никита отложил ложку, вытер усы, и посмотрел на жену.

— Ноне Александр Егорыч посулился зайтить. Пущай теперь взглянет на нее, не признает нипочем.

— Нипочем не угадает! — подхватил Семка. — Ей-богу, не угадает. Я с гумна иду, смотрю, чья это кобыла стоит? Ну, никак не угадал, ей-богу, не хвастаю!.. А она стои-иит!

Старый ветеринар угадал...

Когда Никита вывел лошадь из катуха, Александр Егорович изумленно вскинул седые, четко оттененные красной кожей брови и отошел в сторону, чтобы лучше видеть кобылу. Потом быстро подошел к ней, посмотрел в зубы и оглянулся на Никиту. Никита самодовольно улыбался. Улыбался во весь рот и Семка, посматривал то на отца, то на старого ветеринара, то на кобылу.

— Ну, чего скажешь, Александр Егорыч? — весело спросил Никита, видя, что ветеринар молчит и лишь шевелит седыми прокуренными усами.

— Запрягал? — спросил Александр Егорович.

— Один раз испробовал: шаговитая кобыла.

Александр Егорович поднял у кобылы челку и увидел там белую отметку в форме полумесяца.

— Ты знаешь, что это за кобыла? — с неожиданной суровостью в голосе спросил он Никиту. — Крепышова тетка. От Горыныча кобыла. Бурминская.

Имя Горыныча ничего не сказало Никите, но о Крепыше он слыхал. И, бросив повод Семке, подошел близко к Александру Егоровичу.

— Крепышова тетка-а? — переспросил он, понижая голос до шепота.

— Лесть. Никаких сомнений! Она! — продолжая смотреть на кобылу, самому себе говорил ветеринар.— Лесть. Никаких гвоздей! А-ах, сволочи, как отработали лошадь! Ты знаешь,— круто повернулся он к Никите,— Бурмин

пять тысяч отвалил за эту кобылу. За кровность, за породу отвалил. Лесть от Горыныча и Перцовки, линия Корешка. От исплека я ее лечил у него на заводе. На правую переднюю жалуется? Ну, вот и тогда жаловалась. Заволоку ей с Лутошкиным наездником ставили.

Александр Егорович подошел к кобыле и начал мять правое плечо. Кобыла пожалась.

— Она! Лесть... Вот что, Никита Лукич, твое счастье. Держись за кобылу пуще, чем за бабу! Для заводского дела кобыла и сейчас больших денег стоит. Береги ее. Весной на случной пункт веди, к кровному жеребцу...

Жадно ловил Никита каждое слово старого ветеринара. И когда он ушел, ему стало страшно. Страшно, что вот Семка держит позади него на поводу такое богатство, о каком и помыслить страшно.

Пять тыщ за кобылу?!.

Маленький дворик с провалившимся навесом, дырявый хлев, где до сих пор стояла кобыла, ворота с плохим запором, а задние совсем без запора — все это стало особенно заметным теперь, после слов ветеринара, и рождало мысли неотложные и важные, требующие немедленного разрешения.

Семка крутился около отца, заглядывал ему в глаза, пытаясь узнать, о чем он думает, а вечером, после ужина, подошел к нему и тронул его за рукав.

— Папанька, а папанька?

— Чево тебе?

— Папанька, а помнишь, как ты хлобыстнул меня за жеребца по морде? Кэ-эк дашь, а я и запрокинулся вверх тормашками. И-их, и бо-ольно!.. Кэ-к треснишь, я — брык! И гвозди растерял все. А потом морду во-о разнесло! И-их, и здорово!..

Отсутствующим взглядом смотрел на сына Никита и думал о другом. Эту ночь он спал плохо. Когда в церкви били часы, испуганно поднимал голову и прислушивался:

— Не всполох ли? В этакую сушь, упаси бог!

Выходил во двор и слушал подолгу мерное жевание кобылы в плохо запиравшемся катухе.

Утром на следующий день Александр Егорович увидел входившего к нему Никиту с озабоченным и хмурым лицом. Войдя, Никита опасливо прикрыл за собою дверь, как заговорщик.

— Я опять до тебя, Александр Егорыч, — заговорил он

вполголоса,— за советом пришел. Чево мне теперь делать? Лучше бы ты мне ничего и не говорил про кобылу.

— А что?

— Затуманил ты мне вконец голову!

— В чем дело-то? Говори толком!

— Веришь, ночь не спал, в такое расстройство себя привел.— Никита оглянулся на дверь и шепотом выговорил:

— Отберут ведь!

— Кто отберет? Что? — досадливо спросил Александр Егорович.

— Кобылу-то!

— Почему?

— Да ведь как же, сам рассуди... Пять тыщ за нее заплочено, а жеребец мой и пяти сот не стоил...

— Ну и что ж?

— Да ведь что ж? Дознаются и отберут.

— Бро-ось, Лукич, не отберут! Кто отбирать-то будет? Кому это нужно?

— Кто? Опять же все они, кроме некому, власть, стало быть.

— Не имеют права, Никита Лукич!

— Правов-то, может, и не имеют, ну а сила на их стороне. К тому ж Крепышова тетка она есть,— горестно добавил Никита.

— Все равно, не имеют права,— уверенно повторил ветеринар и что-то еще хотел досказать, но Никита, оживляясь, быстро перебил его:

— И я к тому же, Александр Егорыч. Никаких правов не имеют, потому что жеребца от меня взяли. Опять же, кобылу оставили дохлую, неисправную, сколько я забот на нее положил, овса одного две четверти стравил, отрубей шесть пудов, да картошки, да морквы, а они — отбирать? Отобрать кажному охота, а ты в дело ее произведи-и... Скажем, хлеб — от чего его ем? От трудов и заботы. Я вспахал, я боронил, я сеял, опять же я с семейством убрал, обмолотил, на мельницу свез, баба пирог спекет, а они, выходит, кушать придут?.. Слов нету, ровнять ее с жеребцом никак невозможно, огромадный капитал за ее отдан...

— А кто знает, сколько за нее отдано? — перебил его Александр Егорович.

Никита умолк.

— Пять или двадцать пять тысяч она стоит, никому

до этого дела нет,— продолжал ветеринар,— кроме меня, никто не знает об этом.

Никита быстро оглянулся на дверь и, шагнув ближе к ветеринару, согнулся и просяще-жалостливо зашептал:

— Признаться, за этим и пришел до тебя, Александр Егорыч... Помолчи ты, Христа ради, про нее, и не сказывай ты никому об цене, возьми в рассуждение горестное мое положение!.. Сам знаешь, какой нонче народ пошел. Окажи мне такую милость...

Старый ветеринар взглянул на Никиту и нахмурился. В заискивающих словах Никиты, в его позе и выражении лица он увидел деревню, русскую деревню, приниженную и запуганную барами, господскими приказчиками, урядниками и купцами, дико боящуюся своего благополучия.

Никита не понимал, почему хмурится лицо Александра Егоровича, комкал в руках картуз и напряженно ждал ответа на свою просьбу. И думал о том, что забыл упомянуть в числе расходов на поправку кобылы тридцать фунтов льняного семени и свеклу.

— Опять же принять во внимание — кривая она на левый глаз, а жеребец мой справный был! — добавил он озабоченно.

— Э-эх, Русь матушка-а! — вздохнул Александр Егорович и безнадежно отмахнулся рукой от своих дум.— Возьми ты, Никита Лукич, в совете справку, что у тебя отобрали жеребца и взамен оставили кобылу, а я выдам тебе удостоверение, что кобыла полудохлая была и что выходил ее ты.

Домой вернулся Никита успокоенный, с бумажкой от ветеринара, к которой была приложена печать. Прошел в хлев и, любовно рассматривая кобылу, заговорил с ней:

— Вот ты у меня кака-ая-я!.. Крепышова сродственница. И что в тебе такое есть, скажи на милость, за чего громадные деньги такие отданы?!. Хмм!.. Диковинное дело! Десять жеребцов на такой капитал купить возможно, а за тебя за одну отвалили!

Рослая и широкая Лесть вполне соответствовала хозяйственным требованиям Никиты... Не по нутру ему была лишь светло-серая масть. Как и большинство крестьян, он предпочитал гнедых лошадей — на серых всякая грязь заметней.

— Слов нет — кобыла законная, правильная,— рассуждал он, прикидывая рост лошади,— все при тебе... А

может, Александр Егорыч попусту сказал, язык — он все могёт произнесть?! Ну, только доложу я тебе, человек он справедливый, не должен зря говорить, чего не надо, слово его — верное. И, опять же, по сноровке тебя видать — заводская и из благородных ты... Небось у прежнего хозяина-то конюшня как все равно горница была, нам, конечно, до господского положения не достать, а овсецом не обижу, будь спокойна...

Никита обошел кобылу кругом, погладил спину, разобрал гриву...

— Как же это ты глаза лишилась, скажи ты мне, пожалуйста? — соболезнующе спросил он и отвернул веко. Глаз был вытекший, сморщенный, как мятая бумага.

Серая Лесть положила на плечо Никиты голову и ласково забормотала губами...

Много могла бы поведать она ему в это осеннее утро... О том, как год назад ночью вошли в денник к ней незнакомые люди, от которых нехорошо и сильно пахло, так же, как пахло от Филиппа, неотлучно находившегося при ней в трескучем и тряском деннике, когда ее перевозили из одной конюшни в другую... Незнакомые люди накинули на нее чужую, не ее узду с тяжелыми и грубыми удилами, больно растянувшими губы, вывели на ярко освещенный двор, по которому в смятении бегали взад и вперед другие незнакомые люди, множество кричавших людей... За конюшней, там, где всегда высилось белое огромное здание, трещал и шипел большой огонь, и оттуда шел горячий ветер. Одна из красных точек, носившихся в воздухе, упала ей между ноздрей и причинила жгучую боль, от которой она рванулась в сторону, но грубая и сильная рука осадила ее так, как никогда никто не останавливал, и к боли между ноздрей прибавилась едкая боль в разорванной губе...

Потом наступили странные дни.

Не было денника с решетчатой дверью, в которую был виден коридор и люди с ведрами воды, с овсом и охапками пахучего сена. Куда-то исчезли все знакомые люди. Утром, когда в продолговатое окно ударял солнечный луч, не начинал звонить веселый колокольчик, не приносили воду, овес и сено, не выводили в просторный и светлый коридор, не лили воду на ноги, не терли бока и спину и не проваживали по большому двору... Все стало иное. Целыми днями приходилось нести на спине незнакомого, очень тяжелого человека. Он часто бил ее твердыми, как

железо, ногами, рвал губы, натягивал неизвестно зачем поводья и, когда хотел, чтобы она шла быстрей, не произносил знакомого и понятного звука, похожего на скрип, как это делали до него другие люди, а больно обжигал плетью живот, и шею, и голову, и приходилось закрывать глаза и жмуриться, чтобы жгучий конец не попал в глаз. Было мучительно бежать рысью, потому что тогда тяжесть на спине начинала ерзать со спины на шею, подниматься и опускаться с такой силой, что казалось, спина вот-вот сломается: на шее появилась рана, на которую на стоянках набрасывались злобные мухи... Когда воздух стал холодным и все вокруг побелело, корм ухудшился и сил стало меньше. Бежать рысью становилось трудней с каждым днем, ноги начинали дрожать и подламываться. В один из таких дней она отказалась брать подъем. Ее начали немилосердно бить. Тело почти не чувствовало боли. Били по животу, между ног, по шее, по голове. И вот в этот раз неожиданно и жгуче впилось что-то в левый глаз, и она отчаянно замотала головой в попытке сбросить прилепившуюся к глазу жгучую муху. С этого дня Лесть никогда не могла видеть того, что происходит около нее с той стороны, где был глаз, укушенный страшной мухой. Но зато с этого же дня она навсегда освободила свою ослабевшую спину от тяжести и стала вместе с другой лошадью возить экипаж. Экипаж был неудобный и тяжелый, бил по задним ногам. Раньше достаточно было ей шевельнуть ушами, и человек понимал ее. Когда ей хотелось мчаться вперед, она ставила уши прямо, и вожжи мягко отпускали ее и чутко следили за каждой ногой, а когда спрашивали больше, чем она могла дать, она шевелила ушами, перекладывала их, и ее понимали и останавливали, успокаивая протяжными словами. Теперь ее совсем не хотели понять и били, и экипаж с каждым днем становился тяжелее и тяжелее... Так продолжалось бесконечно долго. Когда появилась снова зеленая трава, переходы стали длинней; часто приходилось идти совсем без дорог, по оврагам, лесам; иногда начиналась бешеная скачка, вокруг все гремело, кричало, оглушал сухой треск над ухом, и в один из таких дней Лесть освободилась совсем от жестоких людей. Другие люди стали ее хозяевами. Но силы были уже на исходе, чесалось все тело, не хотелось есть, и с каждым днем все бессильнее начинали дрожать ноги...

Когда Никита первый раз запряг Лесть в телегу, она

долго не решалась переступить ногами: ее плечи хранили воспоминание прежней боли. На понуканье Никиты она повернула к нему голову и выразительно посмотрела единственным своим глазом. Она ждала, что сейчас ее ударят. Но человек подошел к голове и вместо удара ласково потянул ее за повод. Лесть осторожно переступила ногами и, все еще недоверчивая, тихим шагом пошла к воротам. А когда выехали в поле, она, чувствуя вернувшиеся силы, поставила, как прежде, уши свечкой и потянула вожжи.

Никита понял и пустил кобылу рысью.

3

Близилась осень. Лесть возила с поля снопы, пахала, боронила, и Никита не мог нарадоваться на сильную и старательную свою помощницу. Привыкший к простым, беспородным крестьянским лошадям, он быстро оценил преимущество серой кобылы. Шла ли она с возом, или порожняком — шаг у нее был всегда веселый и спорый, совсем не похожий на ленивую, нагоняющую сонливость поступь других лошадей. Она никогда не дожидалась понуканья, не нужно было несколько раз дергать вожжами, чтобы сдвинуть ее с места: как хороший работник, она все знала сама. Достаточно было увязать воз и взять в руки вожжи, как она, не дожидаясь окрика, плавно вкладывалась в хомут и, весело мотнув головой, свободно и ровно катила нагруженную телегу. И от этого далекое поле стало словно ближе, дорога легче и вся работа веселей. Никита не был мастером петь песни. Но иногда на меже где-нибудь, любуясь охотливым ходом кобылы, он вдруг начинал петь:

В поле алые све-то-чки...

Покончив с уборкой хлеба, Никита принялся за устройство теплого катуха. Обмазал глиной с навозом плетневые стены, починил крышу, устроил потолок и глинобитный пол. Много хлопот причинило ему устройство новой двери в катухе. Пришлось ставить дверную раму; требовались петли, гвозди, доски, а ничего этого у Никиты не было, и достать было не легко. Тайно от ворчавшей Настасьи он отвез в волость рожь и вернулся оттуда не только с досками, гвоздями и прочными петлями, но и с куском стекла. Александр Егорович постоянно твердил

ему, что конюшня должна быть светлой, и Никита рядом с новой дверью сделал небольшое настоящее окошко со стеклом, как в избе.

— Ты совсем рехнулся! — говорила мужу Настасья, глядя на его затеи. — В избе стекол нет, а ты в катух вставил.

— Молчи, старуха! — весело отвечал Никита. — Когда ты будешь Крепышовой сродственницей, я тебе три окна учиню. Лошадь — она скотина бессловесная и правильной жизни придерживаться должна.

Семка принимал деятельное участие во всех затеях отца. Когда навесили новую чистую дверь, он раздобыл где-то сурику и в точности воспроизвел на ней портрет Крепыша, взяв за образец ярмарочный пряник, изображавший скачущего крутошеего конька, хвост трубой, а для большего сходства с живой лошадью из-под хвоста до земли рассыпал цепочкой ядрышки...

Никита посмотрел на рисунок, взял из рук Семки самодельную кисточку, густо обмакнул ее в сурик и долго что-то соображал, намереваясь внести дополнение в рисунок сына. Два раза он был готов уже прикоснуться кистью к игривому красному коньку, но тут же опускал беспомощную руку, мучительно не умея перевести свою мысль в изображение. Так и не прикоснулся, к большому удовольствию ревнивого Семки. Вернул ему густо смоченную кисть и ограничился лишь одним звуком, выразившим то, чего не мог он нарисовать:

— Тпп-ррр-ууу!..

Наступила распутица, и с нею пришли длинные вечера и ночи — черное небо без звезд, черная грязь, и на огородах простуженный свист застрявшего в плетневой городьбе ветра.

Керосину не было. Жались всей семьей, как тараканы к караваю хлеба, к черепку с салом, в котором плавали ветошные фитильки. В спертом воздухе стоял едкий запах копоти, черным инеем лохматилась на потолке паутина, и широкие, ломаные тени трех людей, сидящих за столом, шарили по бревенчатым стенам и потолку, мрачно оживляя тесную избу. Налезая животом на стол, Семка щепкой поправлял обгоравшие фитили, проводя целые часы за этим занятием, а когда надоедало, ронял на стол густоволосую светлую голову и засыпал.

— Семк, иди на печь! — сердито говорила Настасья, латая штаны или пиджак. — Слышь, тебе говорю ай нет?

И толкала его в бок.

Семка капризно дергал плечом, мычал и продолжал спать.

Никита размышлял о хозяйстве. В эти долгие осенние вечера, в неторопливом раздумье производился тщательный осмотр несложному крестьянскому хозяйству, взвешивалась и обдумывалась каждая мелочь, каждая копейка и каждый гвоздь; все вещи приобретали точное назначение и место, а так как среди них не было таких, которые не существовали бы действительно в хозяйстве, то весь распорядок и план на будущее получался незыблемо крепким, как деревенский холст.

Иногда Никита на весь вечер уходил к Александру Егоровичу... Старый ветеринар, растерявший за тридцатилетнюю службу былые идеалы, в душе ненавидел мужика за его корысть и тупое равнодушие ко всему, что не затрагивало непосредственно его интересов, ограниченных собственным двором. В Никите его поразила необычайная и странная готовность, с какой он следовал всем его советам, касающимся ухода за лошадью. Когда Никита сказал ему, что отеплил катух и сделал окошко, Александр Егорович растрогался: давным-давно свернувшиеся сывороткой желания «сеять разумное, доброе, вечное» всплыли над «пулечкой по маленькой в преферанс, наливочками и закусоном», и он ощутил дыхание забытого прошлого, когда на плечах была студенческая куртка с белыми кантами и за бутылкой пива по целым ночам велись споры о Канте и Гегеле и вдохновенно пелись скорбные песни Некрасова...

Никита входил всегда робко, и по его застенчивости старый ветеринар догадывался, что пришел он не по делу, а просто так, поговорить и послушать. Слушал Никита так, как никто никогда не слушал Александра Егоровича. Усевшись на табурет около двери, степенно выпрямленный, он просиживал и час, и два, и три и уходил с сожалением.

Рассказывал Александр Егорович о разных вещах, но каждый раз разговор неизбежно сводился к лошадям. Старый охотник и знаток рысака, он перекачивал свою проснувшуюся страсть в жадно слушавшего Никиту и, видя, как тот заражается ею, увлекался и сам, и беседы с Никитой становились для него потребностью.

— Ты что ж не заходишь? — спрашивал он, встречая

Никиту на базаре иль в совете. — Заходи нонче, книжку я разыскал одну, посмотришь.

И показывал замечательную книжку с картинками лошадей всех пород. Каких только лошадей не было в этой книжке! И могучие битюги, и лохмоногие шайеры, и красавцы ардены, и игрушечные пони. Каждую картинку Александр Егорович сопровождал объяснениями, и неграмотный Никита прочно запоминал названия пород и их отличительные признаки.

— А вот это альбом орловских рысаков! — достал Александр Егорович как-то другую, толстую и большую книгу, в красочном переплете, с золотыми надписями. — Тут, братец, все родственники твоей кобылы есть!

Никита придвинулся к столу, вытянул шею и затаил дыхание. Невероятным показалось ему, чтобы в книге, такой толстой и важной, с золотыми надписями, было что-то касающееся его, Никиты Лыкова из Шатневки, кобылы...

На первой странице был портрет графа Орлова-Чесменского. Александр Егорович подробно рассказал Никите, как в русско-турецкую войну граф Орлов в битве под Чесмою взял в плен семейство турецкого генерала и за то, что после войны доставил семейство целым и невредимым генералу, получил в благодарность от турецкого султана и генерала настоящих арабских жеребцов, среди которых был знаменитый серый Сметанка, от которого и произошел орловский рысак...

Перелистывая страницы, ветеринар показывал изумленному Никите одного рысака за другим и, когда дошел до светло-серого жеребца с могучими формами, провел по странице ладонью и проговорил:

— А это Летучий, завода Шипова, твоей кобыле дед.

Никита навалился грудью на стол и впился глазами в серого жеребца. Как чистый лист бумаги переводную картинку, его мозг запечатлел портрет знаменитого деда Лести во всех мелочах: и хвост, и копыта, и выпуклое плечо, и широкую гордую шею, и человека в распахнутой поддевке, державшего жеребца под уздцы, и даже городьбу и постройки, видневшиеся на заднем плане. Придвигая к себе книгу, Никита осторожно, не прикасаясь к странице, водил по рисунку грубым, заскорузлым пальцем и пыхтел, не произнося ни слова.

Александр Егорович смотрел на него и улыбался, шевеля прокуренными усами. И в его памяти вставала

другая картина — миллионер Аристарх Бурмин в своем огромном кабинете...

— ...От Варшавы до Тобольска, от Архангельска до Одессы, по всей необъятной России тридцатимиллионное конское население улучшено волей гениального коннозаводчика и верного слуги отечества. На вашей обязанности лежит неустанное разъяснение звероподобному и темному сознанию наших об этом забот. Вас посылают врачевать не только четвероногих, но и прочую непросвещенную часть населения!.. — наставлял его когда-то Бурмин. На столе перед ним так же, как сейчас перед Никитой, лежала заводская книга орловских рысаков.

Александр Егорович положил на плечо Никиты руку. Никита тряхнул нечесаными вихрами и, повертываясь к ветеринару, с смущенной улыбкой проговорил:

— Уж очень замечательно, Александр Егорыч! А с моей кобылой схож, правильный жеребец.

— Вот что, Никита Лукич, кобылу ты выходил, поправил, — заговорил Александр Егорович, — слушай теперь меня! Кобыле десять лет. Был от нее один жеребенок у прежнего хозяина, да сдох. Чего ты думаешь весной с ней делать?

— Да чего, крыть всенепременно, Александр Егорыч!

— Так. А с кем? Небось, облюбовал какого-нибудь деревенского жеребца?

— Признаться, облюбовал! В выселках есть один...

— Я так и знал! — нахмурился Александр Егорович.— Ты выброси это из головы. Веди ты ее в земельный отдел, в завод. Есть там Любимец, к нему. Жеребца этого я знаю. Должен от него жеребенок редкий быть. Для господ не хитрая штука была выводить рысаков, а вот ты попробуй, ты, шатневский мужи-ик! Воспитай его, да в Москву на бега, знай наших, во-о...

— Куда нам! — вздохнул Никита и задумался.

В этот вечер, возвращаясь от ветеринара, Никита нес в себе мысли необычные и странные. Мысли о Москве, дальней, неведомой Москве, где есть таинственный круг, обнесенный забором, круг не простой, а называемый непонятным, мудреным словом, и на кругу этом бегут лошади со всех концов России... Великие тысячи людей собираются там смотреть, чья лошадь резвей прибежит, как на смотру играет музыка, и хозяину обогнавшей лошади дают «п р ы з». Слово «п р ы з» чаровало Никиту своей чудесной непонятностью, и, хотя Александр

Егорович и объяснил, что приз — денежная награда, в уме Никиты это слово рождало представление о чем-то круглом, ослепительно блистающем, что дороже всяких денег...

Чавкали сапоги по липкой грязи, сек мелкий дождик с ветром, вокруг — глухота и темень, ни дороги, ни изб... В боковом внутреннем кармане пиджака Никита нес картинку, на которой был изображен знаменитый дед его серой кобылы.

4

На Михайлов день по первопутью Никита повез на ссыпной пункт, на станцию, хлеб.

Пока Никита ждал очереди, подъехало еще несколько подвод из соседних деревень. Строгая и нарядная Лесть в куче лохматых простых лошаденок была особенно заметна, так же, как заметна, в чернолесье гордая сосна.

Крестьяне, обступив подводу Никиты, рассматривали кобылу и обменивались замечаниями. Спрашивали о годах, о том, жеребилась или нет, о цене...

— А мово мерина нипочем не объедет! — неожиданно с азартом проговорил один из них, маленький и шустрый, как ртутная капля на блюдце.

Никита покосился сперва на хозяина, потом на горбоносого серого мерина, привязанного в стороне от других лошадей.

— Твой мерин виноход!.. С виноходом ее равнять нельзя! У винохода совсем другая замашка, — разом вмешалось несколько голосов, — винохода никакая лошадь не возьмет, потому киргиз он. Винохода гони, сколько хошь, на сто верст, а он, окаянный, сухой и еще злее!

Никита по-ямски прищурился еще раз на серого мерина, сплюнул и в сторону уронил:

— Бормочешь, а чего — сам не разумеешь!

— Это я-то? — распетушился маленький хозяин иноходца, боком выпячиваясь к Никите. — Это обо мне ты? Это ты про мово мерина?

И неожиданно сорвал с себя шапку и шлепнул ее в снег.

— Давай на бутылку. Давай сейчас... Ссыплю рожь — и пошла, ну? Я человек такой — сказал, от своего слова не отрекаюсь! Объедешь — ставлю бутылку! Вот я какой! Хошь?

— Прогадаешь! — веско проговорил Никита.

— Сам прогадаешь! Закладывай на бутылку?!

— За бутылкой я не постою, а только прогадаешь, — повторил Никита; обвел медленным взглядом жадные лица, скучившиеся у его воза, и важным голосом произнес:

— Крепышу тетка моя кобыла, графских кровей и от турецкого султана.

Хозяин мерина вытаращил глаза на Никиту и сразу присмирел, как кипяток, в который подлили воды. Поднял шапку, стряхнул с нее снег, посмотрел на кобылу и разочарованно протянул:

— Та-ак бы и сказал, что не твоя кобыла, не крестьянская!

Ссыпав рожь и получив за нее деньги, Никита поехал к женину брату, стрелочнику на переезде. Никифор Петрович умудрялся добывать в эти трудные времена такие редкостные вещи, как спички, камешки для зажигалок, нитки и иголки, керосин и даже разные лекарственные порошки. Когда приходил «максимка», на переезде дежурила жена Никифора Петровича, Аграфена, толстозадая и широкая, как телега, а Никифор Петрович шел к поезду и возвращался оттуда «с товаром». Никифор Петрович был человек неразговорчивый, здоровался и прощался молча, а с женой даже и разговаривал молча: посмотрит на чайник, потом на ведро с водой — Аграфена самовар ставит; покосится на печь — завтракать пора; зевнет и живот почешет — надо постель стелить, а когда, прищурив левый глаз, протяжно, как весенняя улитка, чмокнет губами, Аграфена накидывала платок и шла к другому стрелочнику за свежим самогоном.

Никита редко заглядывал к молчаливому свояку, а когда случалось — Никифор Петрович неизменно потчевал его вином. И на этот раз, лишь только Никита, поздоровавшись, сел на скамью, Никифор Петрович прищурил глаз и чмокнул губами. Вторую бутылку Никита поставил от себя и накупил у Аграфены, кроме иголок и ниток, еще лекарственных порошков от поносу, лихорадки, от кашля и других болезней. Расплачивался новенькими хрустящими бумажками, полученными на ссыпном пункте.

— Нонче ночь товарный до утра стоял, мука пшеничная и сахар, — неизвестно зачем сказал Никифор Петрович ему при прощанье и исподлобья, по-волчьи, посмотрел сперва на него, потом на кобылу упорными черными глазами.

— Для фронту, должно полагать! — вздохнул Никита.
— А мы чем хуже их? — вмешалась Аграфена. — Теперь власть народная, а на фронту ему все одно не нонче — завтра помирать.

Никита вздохнул еще раз и уселся в сани. В голове у него слегка шумело от выпитого самогону. Лесть шла тихой рысью по ровному снежному займищу. Лежа на торпище,[1] Никита думал о горбоносом сером «виноходце» и его шустром хозяине и жалел, что не согласился на спор. Зрелище гонки вставало перед ним с такой отчетливостью, будто оно действительно было. Думал о Никифоре Петровиче, о том, что у него «черное нутро», думал о будущем жеребенке, о бегах в Москве и, поводя взглядом по ровной, как скатерть, равнине вокруг, возвращался мыслями к не состоявшейся гонке с серым мерином. Из-за леса, со стороны Мучкапа, вылез осиплый гудок паровоза, потом из выемки выполз длинный состав товарных вагонов.

«Пшеничная мука и сахар», — подумал Никита.

— Э-эй, уснул, вороти! — неожиданно раздалось над ним.

Никита торопливо дернул вожжи, сворачивая с дороги. Исполкомовская вороная пара пронеслась мимо. На козлах сидел брат Василий, служивший в исполкоме кучером. Никита посмотрел паре вслед и вдруг выпрямился, становясь в розвальнях на колени. Кобыла потянула подобранные вожжи, брызнул в лицо мягкий снег, накатанная дорога стремительно побежала под сани, загудел по ушам ветром тихий и теплый день, и вороная пара промелькнула мимо Никиты и оторвалась далеко позади...

Потом уже, выехав на гору, в село, Никита сообразил, что сделал он не ладно, обогнав самого председателя волисполкома, не любимого крестьянами, недоброго и злопамятного Пенькова, появившегося в Шатневке неведомо откуда и ходившего летом в синей суконной матроске с белым воротником.

На другой день, утром, во двор к Никите вошел Василий. Зачем — неизвестно. Никита чистил кобылу. Василий посмотрел на кобылу, на новую дверь в катухе, на окошко со стеклом и насмешливо сказал:

— Настоящим буржуём стал!

---

[1] Торпище — грубая пряжа или соломенные рогожи, применяемые для подстилки под ноги, под зерно, на возы. *(Прим. ред.)*

Потом еще раз взглянул на кобылу и произнес слово, которого не мог долго забыть Никита.

— Кобыла-то не иначе — краденая!

Никита с потемневшими глазами шагнул к брату и глухо проговорил:

— Уходи, сделай милость, не тревожь! Уходи!

Василий громко откусил кончик цигарки, сплюнул на новую дверь и пошел к воротам. У ворот обернулся и, увидя вышедшую из избы Настасью, мотнул головой в сторону катуха и ядовито проговорил:

— В бедный комитет ни одного пуда не дал, а в катухе стекла вставил!..

Никита стоял около кобылы и, глядя на уходившего брата, крепко сжимал повод уздечки.

5

Наступил Михайлов день, а с ним — гулянки и веселье. По старому обычаю, все свадьбы в Шатневке приурочивались к престольному празднику восьмого ноября, замыкая собой трудовой круг весенней, летней и осенней страды в полях и на гумнах...

У церковной ограды с утра и до вечера, как в ярмарку, стояли десятки крестьянских подвод, убранные самотканными цветными коврами, с расшитыми рушниками вокруг широких дуг, с колокольцами и со множеством яркоцветных тряпочек и лент, вплетенных в хвосты и гривы лошадей...

В главном приделе церкви три священника, сменяя друг друга, венчали парней и девок. Ставили в ряд перед аналоем по шести пар (больше не было венцов), нахлобучивали на глаза женихам и невестам тяжелые медные венцы и с торопливой усталостью свершали положенный обряд. В нетопленой церкви было мрачно и холодно, как в подземелье; изо ртов клубился пар; бархатные ризы священников, напяленные на теплую одежду, смешно топырились, из-под них выглядывали замызганные подолы стеганых подрясников и неуклюжие валенки; пахло овчиной и самогоном; вместо зажженных ослепительных люстр, теплились жалкие восковые свечи, а хоровое пение заменял простуженный речитатив псаломщика, за которым никак не мог поспеть старательный и благочестивый тенорок пономаря. И венчальный обряд, лишенный торжественной пышности, был похож на диван с ободранной обшивкой.

Зато по селу, за стенами церкви, по всей Шатневке раскатывалось неуемное хмельное веселье. Крепкие и звонкие голоса девок, не признающие ни мороза, ни простуд, до поздней ночи горланили свадебные песни, им вторили осиплые и пьяные мужики; со дворов и изб в улицы пер самогонный дух и теплый аромат блинов; перекликались во всех концах гармоники, и сам председатель волисполкома Пеньков, Николай третий, как прозвали его шатневцы, три дня сряду приходил в совет с опозданием и никак не мог кончить начатый перед праздником доклад уездной власти.

Никита два дня гулял на свадьбе у дяди, выдавшего дочь, а на третий собрался с Настасьей и Семкой в выселки к свату, женившему сына... Готовиться к поездке начал с утра. Вычистил кобылу, заплел в гриву и расчесанный хвост узкие красные лоскутки, наложил в сани сена и поверх дерюги расстелил тканый шерстяной ковер с зелеными и красными разводами. Раньше запряжка лошади была для Никиты таким же пустяшным, незаметным делом, как, скажем, обуться утром. Сунул ногу в валенок — и готово. С появлением на дворе серой тетки Крепыша все переменилось. Веревочки, связывающие разорванную шлею, исчезли, все было подшито, заплатано и пригнано. Надвязанный веревкой повод заменен ремнем, к подпруге пришита новая пряжка, а вместо моченцового чересседельника появился новый, двойной, из сыромятного ремня, обильно смазанный дегтем.

Семка деятельно помогал отцу запрягать кобылу. Когда все было готово, Никита вынес из избы красные тесьменные вожжи. Эти вожжи он купил тайно от Настасьи у бывшего торговца, старика Бубнова. У Семки загорелись глаза. И хотя Лесть стояла смирно, как овца, он важно прикрикнул на нее:

— Шали-ишь, ну-у!..

Вышла Настасья в новом дубленом полушубке с отороченными рукавами и в вязаном платке; торжественно и неудобно она уселась на высоко взбитое сено, рядом с ней — Семка в отцовской шапке. Никита окинул довольным взглядом разукрашенную кобылу, сани, жену и пошел открывать ворота. В это время вошел во двор косорукий Григорий, исполкомовский кучер.

— Здраствуешь, Никита Лукич, с праздничком!

Сунув под мышку левой неисправной руки бадик, скособочившись, он полез в карман штанов и долго в нем

рылся. И, роясь, пыхтел и выговаривал по одному слову:

— Тут... вот... Никита Лукич... принес... пове... повестку... принес тебе.

Враждебно следил за ним Никита и бумажку со штампом и печатью взял недоверчиво. Читать он не умел и спросил:

— Это насчет чего же?

Григорий удрученно махнул рукой.

— От председателя.

И погрузился в неторопливое свертывание цигарки.

Никита долго вертел повестку в руках, смотрел на штамп, на печать, потом вскинул вопрошающий взгляд на Григория.

— В наряд ехать! — сказал Григорий.—В город судью везть, либо сам с тобой поедет.

— Не иначе Васька языком набрехал! — вырвалось со злобой у Никиты. — Чего теперь будешь делать?

— Сперва Митрия Уклеина хотели нарядить, баба-то его в совете как раз была, — охотливо заговорил Григорий, — ну, а сам-то приказал до тебя иттить: кобыла, говорит, у него подходящая.

— Он, Васька! — убежденно повторил Никита и насупился. — Ежели в совет теперь иттить, просить, чтобы ослобонил — во внимание не примет, а не поехать — посодит и штраф наложит!

— Это уж без сомнениев, обязательно припечатает, хара-актер-ный, стра-а-асть! — подтвердил Григорий и посмотрел на разукрашенную ленточками кобылу. — Куда собрался-то?

— К свату, к Прохору.

— Что он, аль сына женил?

— Женил.

— У кого ж взял? Выселковую?

— Нашу шатневскую... Лутовинова Матвея знаешь? Ну, у него самого.

— Это Дашку?

— Ее самую.

— Та-ак!.. Что ж, девка справная, работящая и в самом прыску, кровь с молоком!.. Ну, Никита Лукич, я пойду, чего сказать-то, аль сам приедешь?

— И не придумаю, как теперь быть! — развел Никита руками. — Не миновать самому в совет иттить!

Закутанная Настасья все время, пока мужики разговаривали, сидела в санях, не шевелясь, как будто не ка-

салось ее ничто, происходившее вне саней, застланных узорным праздничным ковром. С поджатыми губами, степенно выпрямленная, смотрела прямо перед собой и ждала, когда Никита кончит разговор и откроет ворота в шумно-нарядную, праздничную улицу.

— Ну, баба, — повернулся к ней Никита, проводив Григория, — слазь, приехали!

И повернул кобылу от ворот во двор.

В волости про Пенькова говорили разное... Некоторые даже утверждали клятвенно, что он и не матрос.

С бритой головой, отчего прежде всего в глаза бросались черные густые усы, Пеньков с неутолимой свирепостью всюду и везде выискивал контрреволюцию.

На сходках и на расширенных заседаниях волисполкома выступал редко, подгоняя свое выступление к концу. Выйдет, уставится поверх голов водяными и словно невидящими глазами и начнет... Голос у него был глухой и низкий, словно кто водил тихо пальцем по барабану. Начало его речи крестьяне слушали вяло, как и речи других ораторов, выступавших от власти; любопытствовали больше не тому, о чем говорят, а манере говорившего. Каждый из них приносил на собрание свой взгляд и свой план, продуманный и выверенный у себя в избе в долгие зимние вечера, а так как хозяйственный уклад, определявший эти планы, был приблизительно у всех одинаков, то и случалось часто так: говорит оратор, распинается, доказывает и убеждает, а крестьяне слушают, молчат и как бы соглашаются, а дошло дело до голосования — все, как один, против... Пеньков крестьян знал. Покончив с деловой частью речи, его глухой и низкий голос вдруг, как стриж, взмывал тончайшим пронзительным фальцетом:

— Това-ри-щи-и!!!

И перебрасывал водянистые глаза в первые ряды слушателей, на одно какое-нибудь лицо... Только тут и начинался настоящий Пеньков. Потрясая руками, он громил буржуев, грозил расправой контрреволюции, стучал кулаком по столу, скрипел зубами, плевался и растирал плевки ногой, его бритая голова багровела, и шрам на ней был похож на веревку.

Расходясь, крестьяне мотали головами и говорили:

— С этим шутки плохие! Такого еще не было!

Никиту Пеньков встретил недружелюбно и, не дослушав, отрезал:

— К восьми часам чтобы была лошадь здесь. Никаких прений! Ступай.

На другой день, задолго до восьми, Никита подал Лесть к совету. Пеньков, увидя простые розвальни с наложенным на них сеном, выругался и спросил подозрительно:

— А санок нет?

— Есть, да у них полоз правый неисправен.

— Вре-ешь!

— Не веришь, посмотри дойди!

— Ну, ла-адно, я сейчас достану, — проговорил Пеньков и поднялся в совет. Через минуту оттуда вышел Григорий с запиской в руке.

— Отпрягай кобылу, пойдем за санками.

Бывший торговец, старик Бубнов внимательно несколько раз прочитал записку и насупил седые брови.

— До всего добрались, нагишом хотят пустить!

Вместе с елецкими санками Григорий согласно записке взял и лисий тулуп «на одну государственную поездку в город», как писал председатель исполкома. Усаживаясь в санки, Пеньков рядом с собой положил винтовку. До города было семьдесят верст. Проехав полпути, остановились кормить в Двориках.

— Максимыча знаешь, к нему заворачивай! — приказал Пеньков, и Никита, подъезжая к новой избе зажиточного пчелинца, подумал: «Пролетарий, а все норовит куда послаще!»

У Максимыча Пеньков ел яичницу с густо накрошенным салом, пил самогон, потом чай с забелкой и липовым медом, а когда собрались выезжать, Максимыч поставил в ноги Пенькова горшок с медом.

Вторую половину пути Пеньков несколько раз пытался погонять кобылу. Никита сдерживал понимавшую с голоса Лесть и переводил ее на легкую рысь, какой обычно ездят все ямщики. Не вытерпев, Пеньков потянулся к вожжам сам. Отстраняя его руки, Никита повернулся с облучка назад и решительно проговорил, переводя мрачный взгляд с Пенькова на винтовку.

— Не балуй. До лошади не касайся — и больше ничего.

— Во-о-от ты како-ой! — зловеще протянул Пеньков и за всю дорогу, укутавшись в лисий тулуп, не произнес ни слова.

В городе пробыли сутки. В постоялом дворе была и исполкомовская пара, привезшая военного комиссара и

судью. Василий встретил Никиту злорадным: «С приездом!»

Много хитрить пришлось Никите в день отъезда. Приказ запрягать он получил одновременно с Василием и сообразил, что, если выехать вместе, и Пеньков и Василий всю дорогу не дадут покою его кобыле... Чтобы отложить выезд, Никита сломал на передней ноге подкову и на ругань и требования Пенькова, торопившего с отъездом, упрямо отвечал:

— Подкую, и поедем. Над тобой ежели капит, поезжай с ними, а спортить кобыле ногу ты меня не заставишь.

— Ладно, приедем в волость, там поговорим!

— А грозить нам не можешь, потому за правду говорю! — не сдавался Никита и выехал из города долго спустя после отъезда седоков Василия.

Весь обратный путь Никита раздумывал о несчастье, обрушившемся на него, и искал способа, как уберечь серую Лесть и себя от злобы мстительного председателя. «Как бог свят — не даст он мне теперь спокою, доконает! Куды от него денешься?!. Жизнь ноне тонкая стала, чуть чего, глядь, и оборвалась!.. Э-эх, матушка-а, на беду свою во двор я тебя привел, выходил, выправил, ан вот...»

Мысль, что Пеньков может подстроить так, что у него отберут кобылу, стлала по сердцу мутью, как стелет перед вьюгой понизу ветер снежную пыль и угрозу, и рождались следом иные думы, недобрые, тайные... Мозолистые руки крепче сжимали вожжи, пробегал холодок в ноги от сердца, поднимался от ног к сердцу и в голову... А проезжали Грибановским лесом, край лысых, глубоких оврагов. От дрогнувших вожжей обеспокоилась кобыла и заводила настороженными ушами, косясь на глубокий овраг. Чуть придержал ее Никита, чувствуя, как ложе винтовки касается его ноги и медленно повернулся к Пенькову...

Два водянистые, напряженные тревогой глаза встретили его, и Никита видел, как левая рука в белой варежке тихо скользнула к стволу винтовки и оттянула от его ноги приклад...

И хрипло сказал Пеньков:

— Погоняй!

И Пеньков, и Никита, и, должно быть, серая обеспокоенная кобыла, странно шевелившая ушами, каждый по-своему, по-новому почуяли друг друга в лесной глухомани, край глубоких, лысых оврагов...

6

Никогда не видел Александр Егорович такого мрачного лица у Никиты. И голос был запавший, глухой, неохотливый.

— Охромить кобылу можешь?

— Что-о? — вскинулся Александр Егорович.

— Кобылу охромить можешь? — глухо повторил Никита, не отводя мрачных упорных глаз от ветеринара.

— Как охромить? Да ты в уме?!

— Оттого и пришел, что в уме.

Александр Егорович внимательно посмотрел в лицо Никиты и указал на стул:

— Садись и говори толком!

— Дома насиделся, всю, почитай, ночь, до рассвета сидел! — угрюмо проговорил Никита и, сняв шапку, присел на стул и уставился в пол. Потом тряхнул липкими вихрами, спадавшими на глаза, и рассказал Александру Егоровичу все от того дня, как, возвращаясь со станции, обогнал он на кобыле председателя, и до памятной минуты в Грибановском лесу, у лысого буерака, когда чуть было не порешил он Пенькова...

— Веришь, Александр Егорыч, и не знаю, как господь уберег от греха?!. Подумать — и то страшно! Посмотрел кругом — глухота, и никого — один свидетель лес-батюшка. Ну, думаю, все одно пропадать! Место подходящее буерак. Сидит он, в тулупе завернувшись, вроде как спутанный, оборониться никак ему не способно, а винтовка тут вот, только руку протянуть! Придержал я кобылу, повертываюсь, а он, окаянный, смоо-о-отрит и хоть ничего не говорит, а мне видно — сам не в себе и конец свой чует... Тут и опамятовался я, аж зябь в нутре закорябала!..

Согнувшись и уронив руки с шапкой между широко расставленных ног, Никита смотрел на пол и долго молчал, кончив рассказ. Потом медленно выпрямился и облегченно, протяжно вздохнул. Александр Егорович глядел на него округленными, широкими глазами, будто впервые видел его, и странно прикряхтывал и ерзал на стуле. Знакомая до мелочей окружающая жизнь, люди и вещи, как плесень на болоте, треснула и открыла темную, таинственную воду, полную причудливых форм, движений и красок. И уже не казалась нелепой и странной просьба, с которой пришел Никита. От глухих лысых ов-

рагов Грибановского леса пришел он — и вот о пустяшном просит деле...

— И решил я охромить кобылу! — сказал Никита, прямо смотря на Александра Егоровича. — Дай ты мне снадобье какое безвредное, помоги!

Не сразу согласился Александр Егорович. Заходил по комнате, задвигал сердито стульями, длинный мундштук с папиросой перекладывал из одного угла рта в другой, бормотал неразборчивое под нос себе и на Никиту не смотрел. Потом сел, снял с правой ноги валенок и озабоченно начал ковырять пальцем толстую строченую подошву. Чулок на нем был черный шерстяной, а надвязанная пятка белая.

— Одну зиму проносил, а уж разваливается! — сказал он и злобно сунул в валенок ногу. — Кобыла-то не жалуется на правое плечо после езды? Не замечал?

— Сейчас ничего, Александр Егорыч, приехал с городу хоть бы и опять запрягай, веселая и корм жрет охоткой.

— Ехал тихо?

— Так мало-мало, обыкновенной ездой.

— А пошибче не пробовал?

— Разъединственный раз, Александр Егорыч, со станции тогда... Немного выпимши был, у свояка выпил. Ну и правда, к вечеру, смотрю, припадать стала на правую переднюю, в точности как ты говорил. А назавтра как рукой сняло.

— Вот что, Никита Лукич, — оживился Александр Егорович, — охромлять ее мы не будем, а полечить — полечим! Раз на то пошло, поставим мы ей заволоку, понял? У кобылы атрофия мускулов правого плеча, исплек по-вашему, вот мы его и начнем лечить; с заволокой ни один комиссар на нее не польстится... И работать на кобыле ни-ни, пока буду лечить — месяца три стоять должна, штука это серьезная! Соображай — как! Ты хозяин!

Никита размышлял недолго.

— Лечи! Мы на все согласны. По-зряшному ты не посоветуешь.

Александр Егорович пришел к Никите в этот же день после обеда. Никита запер ворота и вывел Лесть из катуха. Ветеринар заставил его несколько раз пробежать

рысью с лошадью по двору, потом долго и внимательно исследовал правое плечо.

— Смотри вот, — подозвал он Никиту, — видишь, левое плечо полное, выпуклое, а правое западает... Надо оживить мускулатуру, подогнать сюда кровь. Понял?

— Мне чего ж понимать, тебе видней! — покорно отвечал Никита.

Крутившийся около них Семка жадно смотрел на левое и на правое плечо кобылы, пытаясь разглядеть то, о чем говорил ветеринар, и никак не мог понять, как Александр Егорович будет подгонять кровь к больному плечу.

— Заводи в катух! — приказал ветеринар, вытащив из кармана длинную кривую иглу и кусок бечевы. В катухе он ласково погладил Лесть.

— Потерпи, потерпи-и теперь, умница, ничего не поделаешь, потерпи-и!

Лесть терлась головой о плечо Никиты и время от времени настораживалась, улавливая скрип полозьев по переулку, за стеной катуха. Александр Егорович продел бечеву в иглу.

— Губовертку, пожалуй, не надо? — посмотрел он на Никиту.

— Ни к чему! Смиренница редкостная, — ответил Никита, оглаживая Лесть.

— Привяжи покороче.

Пахучей жидкостью из принесенного пузырька ветеринар вытер плечо лошади и, оттянув левой рукой кожу, запустил иглу в плечо. Коротко привязанная Лесть вздрогнула и изогнулась в попытке отстраниться от острой боли. Крупная капля крови торопливо скатилась по серой шерсти. Раскрытые широко глаза Семки, неотрывно наблюдавшие за кривой и страшной иглой в руках ветеринара, налились слезами, и в тот момент, когда игла вся исчезла в плече кобылы, он вдруг заревел и выскочил из катуха с испуганным криком:

— Мама-а-анька-аа!..

Протащив иглой бечеву под кожу, Александр Егорович оставил ее в ране и завязал в узел кольцом торчавшие из раны концы.

— Вот и дело сделано! — проговорил он, пряча иглу.— Теперь только смотри, чтобы не отвязалась кобыла, держи все время на короткой привязи. Недели три постоит так, с ниткой, понял? Через четыре дня я приду опять. К весне на кобыле хоть на бега поезжай!

Никита молчал и жалостливо смотрел на кобылу.

На пятый день Александр Егорович пришел, как обещал.

Потрогав ладонью горячее, воспаленное плечо Лести, повернулся к Никите.

— Смотри теперь, как надо сделать. Через каждые три-четыре дня надо передергивать бечеву, вот так...

Взяв завязанную в кольцо бечеву, Александр Егорович с осторожностью медленно передернул ее в одну сторону, потом так же медленно в другую, вытягивая вместе с бечевой из раны мутную сукровицу. Лесть съежилась и вся подобралась; по телу и ногам заструилась дрожь; единственным своим глазом она пыталась увидеть, что делает с ее ноющим и мучительно чешущимся плечом седоусый, краснолицый человек, и не понимала, почему Никита не может ее освободить от этой жгучей боли и от этого человека.

— Как начинает немного подживать, надо опять разбередить, — говорил Александр Егорович, придавая бечеве первоначальное положение, — чтобы усилить воспалительный процесс, кровь притянуть к больным мускулам. Корм-то ест?

— Не проедает. Ноне утром так одну щепоть овса съела, а до сена и не дотронулась, — горестно заговорил Никита, но старый ветеринар его успокоил, что при заволоке лошади не до корму.

— Недельки через три-четыре снимем заволоку, вот тогда сразу аппетит появится, а сейчас... Коснись тебя, ежели вот такую штуку тебе вставить...

— Чего уж! — со вздохом согласился Никита. — Как только и терпит? Потому — скотина бессловесная, ни сказать, ни пожаловаться.

Семка, стоя около отца, враждебно смотрел на Александра Егоровича, раздувал щеки и шевелил сердитыми губами, неслышно произнося разные нехорошие слова по адресу ветеринара:

— Самому бы тебе... Тоже какой!! Засадить бы тебе. Черт носатый... Кирпичом тебя вот, ууу-у!..

С того дня как кобыле проткнули длинной и кривой иглой плечо и оставили в ране толстую бечеву, Семка несколько раз на дню стал забегать в катух и подолгу оставался там, утешая всячески серую Лесть в ее одиноком, безмолвном страдании. Лесть жаловалась ему, шлепая губами; пыталась каждый раз прижиматься к нему воспа-

ленным чешущимся плечом и не брала густо посоленный ломоть хлеба, как прежде.

— Да на-а, съешь! — уговаривал ее Семка. — Score маманька утром спекла, пирог ску-усный!.. Мотри...

Он отламывал кусок пирога и, положив в рот, начинал жевать, громко чавкая, щелкая языком, и облизывался, всячески соблазняя унылую Лесть. Потом совал ломоть ей в губы. Лесть отворачивалась.

— Ну, чего тебе? — спрашивал Семка. — Чего смотришь? Болит? — Надувая щеки, дул на вспухшее жаркое плечо. Плечо вздрагивало. Лесть переставляла ноги и снова пыталась прижаться к Семке ноющим плечом.

— Вот погоди, весной в ночное поедем с тобой, — начинал рассказывать Семка. — И-их, и хоро-шо-о там! Костер разожгем большу-ущий, аж на селе видать будет, сливуху на тагане варить будем. У Васьки Снегиря щикатулка с музыкой есть, и-их, и щикату-улка!..

Войдя однажды в катух, Семка с изумлением увидел Лесть не на обычном ее месте, коротко привязанную к кольцу у кормушки, а посередине катуха, головой к двери. От уздечки мотался оборванный повод. Семка хотел было привязать ее, но, взглянув на больное плечо, вместо торчавшей из раны бечевы увидел сгустки крови и гноя. Бечевы не было. И Семка сразу испугался и стремглав побежал к отцу.

— Скорей иди! Отвязалась! И ничего нету! А кровь так и льет!

Бечеву Никита нашел в кормушке. Лесть не вытерпела и, оборвав повод, вытащила из раны завязанную в кольцо бечеву.

И опять пришел Александр Егорович. Осмотрел плечо, покачал головой и укоризненно сказал Никите:

— Как же ты, братец мой, не доглядел, а?

И вытащил из кармана иглу.

— Придется опять поставить... Привязывай покрепче, а ты беги к матери за бечевой, ну, живо! — приказал он Семке. Семка насупился и не двинулся с места.

— Ступай, ступай, сынок! — сказал Никита. — Принеси, а сам уходи, не смотри...

Когда Александр Егорович быстрым и решительным движением захватил и сильно оттянул кожу на больном месте, Лесть по-человечьи крякнула и замотала головой. Никита отвернулся и страшно скрипнул зубами...

— Готово! — отрывисто бросил Александр Егорович и вытер о хвост кобылы руки.

Из обоих отверстий раны опять торчала бечева, завязанная концами в кольцо.

Заволоку снял Александр Егорович после Николы зимнего. За этот месяц Пеньков два раза присылал к Никите с косоруким Григорием приказание подать кобылу к совету. Второй раз Никита пришел к председателю с удостоверением от ветеринара:

> «Серая кобыла, принадлежащая Лыкову Никите, ни для езды, ни для какой другой работы не пригодна по причине атрофии мускулатуры правого плеча, требующей длительного лечения, которое мною и производится согласно желанию владельца.
>
> Участковый ветврач *А. Терновский*».

Пеньков прочитал удостоверение и вскинул на Никиту водянистые глаза.

— Хотите умней Пенькова быть? А знаешь, что за саботаж я с вами сделаю?! Ступай пока! Удостоверение я у себя оставлю...

— Без удостоверения мне никак не возможно, — заговорил было Никита, но глухой, низкий голос Пенькова взмыл исступленным фальцетом:

— Расстрелять за такие дела!.. Сабота-аж!.. Контрреволюцию разводить?! Пенькова обмануть хотите? Поддельный документ состряпали?!

Никита нахлобучил шапку и торопливо вышел из кабинета председателя. В голове все перепуталось. Из совета прошел прямо к Александру Егоровичу. Александр Егорович выслушал Никиту, оделся и пошел сам к Пенькову, не дожидаясь его вызова. Пеньков встретил ветеринара грубым:

— Ты зачем? Тебя звал кто?

— Я встретил сейчас Никиту Лыкова, у которого лечу лошадь, — сухо начал Александр Егорович, но Пеньков не дал ему продолжать:

— Лечишь, ну и лечи! Мне с такими делами валандаться некогда! Не звал тебя никто, ну и сиди дома, когда дойдет твой черед — позову!

— Я заявляю, что вашими разговорами с гражданином Лыковым вы дискредитируете меня как служебное лицо и советского гражданина в глазах населения и вла-

сти, — твердо проговорил Александр Егорович и добавил: — и вынуждаете меня сообщить об этом в уисполком.

Пеньков булькнул гнусавым, недобрым смешком:

— Сообчи, сообчи!.. Там вашего брата давно на мушке держат!

Седые усы Александра Егоровича дернулись. Он хотел еще что-то сказать, но, посмотрев на ухмыляющуюся физиономию Пенькова, махнул рукой и вышел.

Пеньков не беспокоил больше Никиту, не присылал ни косорукого Григория с повестками, ни соглядатая Василия. Не трогал и как будто забыл и про Александра Егоровича. Но и Никита и Александр Егорович твердо знали, что Пеньков не из тех, кто забывает, и, каждый по-своему, с тревогой чего-то ждали...

Как-то вечером, после ужина, видя, что Никита собирается уходить к ветеринару, Настасья с сердцем сказала:

— Дома посидел бы, доходишься... Сердце мое чует: не ко двору нам кобыла. Вон у Микишки мерин, сменял бы от греха!

Никита посмотрел на жену и ничего не ответил. Ободренная его молчанием и тем, что он присел на лавку, вместо того чтобы выйти, Настасья уверенно заговорила о разных случаях, когда скотина приходится не ко двору и приносит несчастье. Припомнила пегую телку, вымененную у странного человека на ярмарке пять лет назад и принесшую пожар, уничтоживший омет, и смерть Ксюньки, и неурожай...

— У Микишки мерин знамый, а кто ее знает, кобылу-то, чья она? Какие они такие, солдаты? Может, и не солдаты совсем?

Семка, забравшийся на полати, свесил оттуда голову и проговорил:

— Один ух и стра-ашный был: глазишша во-о, волоса кудрявые и че-ерные, ни у кого таких не бывает...

Семка помолчал, громко глотнул слюну и изменившимся голосом спросил мать:

— Маманька, а оборотень лошадью прикидывается?

Ему вспомнилось, как серая кобыла вытащила из раны заволоку и как она совсем по-человечьи застонала, когда ветеринар ухватил ее за больное плечо. Он слез с полатей и сел тесно рядом с матерью. Вскидывал глаза на колыхавшиеся по бревенчатым стенам сломанные, уродливые тени, к чему-то прислушивался и жался, словно от холода.

— Дурного человека, откуда его сразу узнаешь? —

продолжала Настасья.—А над скотиной сплошь да рядом наговор делают...

— Лопочешь ты, баба, а чего лопочешь, и сама не разумеешь!—оборвал ее Никита.—Кобыла даже очень знатная! Александр Егорович сразу признал ее, только мальчонку смущаешь, лица вон на нем нет, а за зря. А что, ежели Пеньков притесняет от зависти: Крепышова тетка она, и обогнал я его, а тут еще и Васька, мошенник, подталдыкивает ему. Ну только я тебе скажу, старуха, не сдамся добром я; не допущу до кобылы, а чтоб с Микишкой сменяться — ты это из головы выкинь...

Семка не полез на полати спать, прикорнул на лавке и по-настоящему уснул, лишь когда вернулся от ветеринара отец. А на другой день, войдя в катух, долго, по-новому смотрел на серую исхудавшую и обросшую длинной шерстью кобылу...

7

После крещенских морозов неожиданно пала оттепель; закапало с крыш, потемнела навозом дорога, и суетливые армии воробьев наполнили теплый воздух несмолчным чириканьем, будто тысячи невидимых рук высекали из кремней звучные острые искры.

На станции стоял длинный состав товарных вагонов с солдатами и лошадьми — воинский эшелон, направляющийся на Красновский фронт. День был праздничный, и шатневские девки и бабы, прослышав об эшелоне, толпами повалили от села к станции. К полудню станция напоминала ярмарку. У каждого вагона образовались веселые живописные группы из солдат и нарядных девок. Девки лущили семечки, отвечали бойкими шутками на заигрывания солдат и пронзительно визжали, когда какой-нибудь шутник, ворвавшись в их пеструю гущу, делал попытку облапить и поцеловать.

В середине состава был вагон, отличавшийся от других вагонов специально устроенной дверью, и еще тем, что к двери была приставлена лесенка. На двери густела черная надпись:

«ШТАБ»

Огромного роста человек, в мохнатой папахе и со смуглым рябоватым лицом, спустился из вагона до половины лесенки, посмотрел направо-налево и вдруг с криком:

«Держи их!» прыгнул в цветную гущу девок, галдевших у соседнего вагона. Девки брызнули в стороны с визгом, криками и смехом и сбились в кучу по другую сторону запасного пути. Огромный человек поднял свалившуюся с бритой головы папаху и загоготал, откидывая назад плечи и выпячивая живот, туго перехваченный широким кожаным поясом.

— Товарищ Клымчук, а товарищ Клымчук! — громко, так, чтобы слышали девки, крикнул он, перестав хохотать. — А что, если мы отберем дюжину из них с собой до фронту? Ты как полагаешь? Кашу маслом не испортишь? Гей вы, бисово племя, айда с нами до фронту, генералам царским пятки мазать салом! Ну?

— Не пужай, не боимся! — звонко отозвалась курносая девка, стоявшая впереди всех, и, захватив двумя пальцами огненную юбку сарафана с нашитыми вокруг яркозелеными лентами, манерно оттянула ее в сторону и, притоптывая новыми глубокими калошами, прошлась кругом, визгливо выкрикивая слова частушки:

Меня батюшка пужал,
а я не боялася,
в сенцах миленький прижал,
а я засмеялася!..

Девичьи звонкие голоса дружно подхватили плясовой припев. Человек в папахе упер руки в боки и лихо подлетел к хороводу.

— Выходи любая, ну? — задорно повел он глазами по девичьим лицам. — Покажу я вам, как матрос пляшет.

— Матрос у нас свой есть, да почище! — задорно сказала курносая девка в огненном сарафане.

— Ты с ним попляши! — выкрикнули разом несколько голосов.

— Николая Второго сверзили, а у нас третий объявился! — еще задорнее продолжала курносая и досадливо отмахнулась от подруг, дергавших ее назад за рукава суконного полукафтана.

— Это что же за Николай третий у вас? — спросил весело человек в папахе, посматривая то на одну, то на другую девку.

Проходивший по запасным путям свояк Никиты, Никифор Петрович, остановился и прислушался. Потом подошел ближе, постоял минуту и, словно для себя только, проговорил:

— Он и не матрос совсем, а беглый каторжник! Матросское звание порочит.

И вышло так, что всем были слышны тихие слова, сказанные Никифором Петровичем для себя... И когда он хотел пройти дальше, огромный человек в папахе остановил его и поманил к себе:

— А ты что за человек?

— Обыкновенный человек и стрелошник.

— Наш, шатневский, дядя Никифор... — загалдели девки.

Человек в папахе опять посмотрел на девок, на одну, на другую, взглянул еще раз на Никифора Петровича и спросил курносую Глашку:

— А почему ж он Николай третий?

— Николаем звать!

— Меня тоже Николой мать назвала!

— Про тебе ничего нам не известно, а наш на виду у всего села сундуки выгребает! — все больше набираясь смелости, ляпнула Глашка.

— Глашка, да ты рехнулась. Замолчи! Ай не знаешь? — дернули ее за кафтан сразу несколько рук, но она, как купальщик, который уже окунулся в холодную воду, разошлась вовсю, ободряемая сочувственным вниманием человека в папахе.

— Его шлюха и посейчас в Груньких полусапожках форсит! Весь рундук метлой вымел, а у дяди Андрея и холстами не побрезговал... И не замолчу и не боюсь нисколечко!.. Пущай мужики боятся, а мне что?!

Человек в папахе внимательно смотрел на Глашку и, словно подбадривая, кивал головой.

— Представляется матросом, а на деле — уголовник! — мрачно и твердо еще раз проговорил Никифор Петрович, на этот раз уже не для себя, а обращаясь к человеку в папахе. И, смотря ему прямо в глаза, добавил: — Матросское звание порочит... Правильно все баба сказывает...

Пенькову, как председателю волисполкома, не раз приходилось иметь дело с проходящими через станцию эшелонами.

Получив с верховым служебную записку от командира эшелона т. Гобечия с предложением явиться на станцию по срочному делу, он застегнул на все пуговицы свой

коричневый френч, опоясался ремнями, прицепил наган и позвал Григория:

— Сходи к Лыкову, чтоб лошадь подал сейчас. Живо!

Григорий закряхтел, почесал под рубахой и хотел объяснить Пенькову, что у кобылы недавно сняли заволоку и езда теперь на ней плохая, но Пеньков, словно угадывая его мысли, ввинтился в него таким выразительным взглядом, что Григорий сразу заторопился и вышел.

— Лучше и не противься, — посоветовал он Никите, — ешалон, вишь, на станцию прибыл, нарочный верхом за ним приезжал. В такой момент все могёт над тобой сделать. Как-нибудь шажком довезешь...

Ничего не ответил Никита, но лицо у него было недоброе. Григорий посматривал на него и сокрушенно вздыхал, а перед тем, как уйти со двора, проговорил:

— Не миновать тебе, Никита Лукич, сбывать с рук кобылу, не даст он тебе спокою...

И опять ничего не ответил Никита.

Тем временем, поджидая лошадь, Пеньков раз и два перечитал полученную записку и высказал свое секретарю предположение:

— Насчет овса, не иначе, разговор будет, потому — кавалерия...

— А где его взять, овес-то? — воскликнул секретарь.

— Найде-ем! С шерсткою возьмем! — ухмыльнулся Пеньков, взял со стола полученную записку, перечитал ее и протянул секретарю.

— Чего? — спросил секретарь, прочитав.

— Командир-то, должно быть... тово! — подмигнул Пеньков. — Подпись, гляди, словно на колокольню лезет!

Подпись действительно была чудная. Кривые буквы, жирные и красные, неудержимо стремились вверх, залезая в строчки, написанные на машинке, а росчерк, вместо того чтобы идти вниз под подпись, как это бывает обычно, взмахивал лисьим хвостом кверху, через всю записку, утолщаясь к концу и протыкая бумагу...

— А у нас в роте писарь был, мог по почерку определить, что за человек пишет, — проговорил секретарь, — все, бывало, расскажет!

— Тут и рассказывать нечего! — дернул у него из рук бумажку Пеньков. — Насчет овса, ясное дело!

— Я не про это, Николай Егорович; касательно характера определить можно по почерку, если кто понимает,

злобный, например, аль снисходительный, или, например, семейное положение...

Пеньков посмотрел на росчерк, проткнувший бумагу, хотел что-то сказать, но не сказал и вдруг задумался. Отошел к окну и долго смотрел на улицу. А секретарь продолжал:

— Один раз, помню, старший писарь дает ему письмо и говорит: «Расскажи, какой характер и положение у особы, от которой письмо это». Вот он взял письмо, смотрел, смотрел и говорит: «Очень легкомысленного положения ваша особа, Евлампий Федорович, а как вы мое начальство, больше ничего сказать не смею, только предупредить должен: больна она венерической болезнью, и вам надоть в околоток к фельдшеру на осмотр идти...»

— Поставлю я обязательно телефон между станцией и исполкомом, — прервал неожиданно Пеньков секретаря, — буду разговоры разговаривать телефоном. Доклад надо писать, а тут изволь ехать на станцию!..

— С телефоном оно, конечно, хлопот меньше, — отозвался секретарь, — и смелость для выражения появляется, когда личности не видишь!

— Нешто не ехать? — раздумчиво проговорил Пеньков, повертываясь к секретарю.

Секретарь в ответ пробормотал неразборчивое и уткнулся в лежавшие перед ним бумаги.

Пеньков перечитал еще раз записку:

«ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ШАТНЕВСКОГО ВОЛИСПОЛКОМА

с получением сего предлагаю вам немедленно прибыть на станцию в штаб отряда по срочному служебному делу.

Командир N отряда *Гобечия*».

— У нас тоже срочные дела есть, — хмуро проговорил Пеньков и сунул записку в боковой карман френча, увидя в окно подъезжавшего к совету Никиту.

Через несколько минут, будоража собак и кур, он уже ехал к станции. Когда выехали из последнего узкого проулка с покосившимися темными избами на лысый бугор, с которого была видна, как на блюде, вся станция, Никита придержал лошадь и, вытянув кнут, воскликнул:

— Чисто ярмонка!

Пеньков и без восклицания Никиты все увидел сразу: и длинный состав красных товарных вагонов, и множество народу там, и отдельные фигуры, спешащие по зай-

мищу от села к станции и обратно... Как раз в этот момент откуда-то сзади выскакал всадник в малиновой фуражке и красных штанах на горбоносой злой лошадке, поравнялся, заглянул в лицо Пенькову и стремительным гнедым комочком покатился под гору, к станции...

Пеньков узнал в нем привезшего служебную записку. Отстегнув светлую перламутровую пуговицу, величиной в пятак, вынул из кармана записку и начал рассматривать штамп и печать... А потом сказал Никите:

— Кисет позабыл с табаком.

Никита осадил Лесть и недовольно спросил:

— Возворачиваться?

Пеньков ответил не сразу. Смотрел вперед, вниз, через займище, на длинную ленту вагонов и молчал. Записку держал в руке.

И глухо приказал:

— Трогай!

Куда трогать — не объяснил. Никита поехал под гору, к станции, но, когда спустились на займище, Пеньков ткнул его в спину.

— Куда ты?! Говорю, кисет позабыл, говорю, назад поворачивай!.. Русским языком говорю, кисет позабыл...

Никита круто повернул обратно. И не доехали до горы, как Пеньков передумал:

— Валяй к станции!.. Все равно!.. Небось угостят папироской?

С запиской в руке сидел выпрямленно Пеньков и смотрел на быстро приближавшуюся станцию. Так с запиской и с незастегнутым карманом он прошел через грязный пустой вокзал на платформу, пересек рельсы, растолкал толпившихся на путях баб и очутился перед вагоном с некрашеной дверью и приставленной к ней лесенкой.

Человек в папахе стоял на лесенке и смотрел на него. Широкая фигура загораживала дверь и надпись на ней. Были видны только из-за спины его две последние густые черные буквы:

«АБ»

— Который тут товарищ Гобечия? — спросил у него Пеньков, взглянув на записку.

— Здесь, — ответил человек в папахе и скрылся в вагон.

В хвосте состава, в одной из групп девок и красноармейцев, пиликала гармоника плясовую, были слышны веселые вскрики танцоров и присвист. Пеньков посмотрел туда, оглянулся назад, поправил у пояса наган и спросил стоявших у штабного вагона красноармейцев:

— На Краснова дуете, братишки?

Никто ничего ему не ответил.

— Куревом не богаты? — спросил он, помолчав.

Один из красноармейцев достал пачку папирос и протянул ему. Закурить Пеньков не успел. Дверь вагона открылась. Вышел человек в папахе. За ним — смуглый красавец в шинели внакидку. Человек в папахе спустился вниз и стал сбоку Пенькова. Из-под шинели красавца пылали ярко-малиновые рейтузы. У него были черные молодые усики над капризным ртом и резкий гортанный голос.

— Председатель волисполкома Пеньков? — отрывисто спросил он, быстрыми глазами осматривая Пенькова, и сел на верхней ступени лестницы.

— Он самый! — ответил Пеньков, роясь в карманах. Не найдя спичек, посмотрел кругом в надежде, что кто-нибудь даст ему спичку. Папиросу держал в левой руке, с ней и записку.

Смуглый красавец сунул в карман руку. Пеньков взял папироску в рот и ближе подошел к лесенке. Вместо спичек красавец вынул какую-то бумажку, заглянул в нее, потом на Пенькова и резко спросил:

— Зачем взятки берешь?

Словно ударили его сверху по голове — Пеньков втянул голову в плечи и метнул вокруг водянистыми глазами. Вынул изо рта папироску и усмехнулся. И деланно-грубовато проговорил:

— Спрашивай еще чего? Разом отвечать буду! Не впервой! Я, товарищи, к эдаким оборотам привычный.

Сзади Пенькова зашушукались. Он оглянулся. Заметил в толпе баб несколько пожилых знакомых крестьян и, подойдя в упор к лесенке, вполголоса проговорил:

— Об этом, товарищ, разговор по-секретному надо вести! Тут дело не простое, а государственное, разреши в вагон подняться...

— Зачем взятки берешь? — снова выкрикнул красавец и, заглядывая в записку, продолжал:

— В сентябре, на Воздвиженье, у Андрея Воронина забрал два куска холста, середку ветчины, у Аграфены

Уваровой из сундука полусапожки новые со шнурками, отрез сатинету да вельвет синий...

— Где здесь Уварова Аграфена? — отрываясь от записки, громко спросил он.

Подталкиваемая десятком рук к вагону, из толпы вышла робко молодая баба, одетая не по-праздничному. Пеньков свирепой выразительностью глаз отодвинул ее назад.

— Ты Аграфена Уварова? — протянул к ней руку красавец.

— Я самая, — чуть слышно ответила баба, снова выдвигаясь вперед. И потупилась и замолчала, чувствуя на себе взгляд Пенькова.

— Ну, рассказывай, Аграфена, — громко сказал Пеньков, — должна отвечать, когда спрашивают. Рассказывай, кто научил революционную законность хаять, ну?..

Аграфена вскинула на него исподлобья быстрый взгляд.

— Башмаки брал у тебя? — пристально смотря ей в лицо, спросил начальник эшелона.

Аграфена молчала, оглядываясь назад на шушукающихся девок, и старалась не глядеть на грозного начальника в красных штанах.

— Гавари, ну зачем малчишь?

Словно от толчка, Аграфена подвинулась на шаг вперед, раскрыла рот, но не могла выдавить из себя ни одного слова.

— Брал?

Аграфена молчала. Испуг и растерянность на ее лице постепенно сменялись тупым и безнадежным равнодушием. Пеньков кашлянул и вызывающе посмотрел на толпу. Лицо Аграфены сказало ему, что теперь она уже не заговорит. Но тут из толпы выдвинулся Никита, мрачный и решительный. Он близко подошел к лесенке, на которой сидел начальник эшелона, и, повертываясь к Аграфене, проговорил:

— Не бойсь, Аграфена, сказывай всю правду начисто. Все село знает про это, подтвердить кажный может такое дело.

В толпе позади Аграфены загудело и зашевелилось.

— Сказывай, Аграфена.

— Не бойсь, сказывай.

— Говори начисто.

— Житья от него нету...

— У хлыста кадку меду отобрал.

— Сладость любит.

— Холсты у Самохина...

— А френч на ем чей?

— Не бойсь, Аграфена, постоим за правду.

Жадно собирая все эти возгласы, Аграфена метнулась по лицам и вдруг, сразу очутившись у самой лесенки, заголосила:

— Заступись хоть ты, кормилец, житья нету!.. Все вычистил, самая я и есть Аграфена, на одной улице с им, окаянным, живу! Прикажи ты ему хоть полусапожки вернуть, разутая хожу, да вельвет чтоб отдал!.. Сатинет, шут с ним, пущай пропадает!.. Заступись, родимый, прикажи вернуть...

— Зачем женщину грабишь? — вскрикнул красавец.— Ты не знаешь, как называется из сундука брать? Не знаешь?! Я тебе скажу, как называется... «У Степана Коновалова, — начал читать он по записке, — отобрал суконный френч коричневого цвету, пуговицы к нему нашил светлые, а френч этот остался от сына Петра, убитого на красном фронту...»

Десятки глаз устремились к френчу на Пенькове. Пеньков застегнул карман перламутровой пуговицей и что-то хотел говорить, но огромный человек в папахе, подпиравший могучим плечом вагон, откачнулся, словно дернули состав, и мрачно, в упор подошел к Пенькову:

— Какого флота?

— Балтийского.

— Корабля?

— «Авроры».

— Служил кем?

— Матросом.

Человек в папахе ухмыльнулся и быстро взглянул на командира эшелона.

— А кто командиром в семнадцатом был?

Пеньков потупился.

— Ну, сказывай! — насмешливо проговорил человек в папахе. — Обещал разом на все отвечать... Ну?

И тут вышел из толпы, грудившейся позади Пенькова, молчаливый Никифор Петрович и твердо проговорил:

— И не матрос он, а острожник уголовный! Советской власти от него первый вред и пагуба.

После его слов вдруг стало тихо, и было слышно, как по другую сторону вагона чирикают воробьи и как капает

с крыши... Никифор Петрович обвел всех упорными черными глазами и уже потянул в себя воздух, собираясь сказать что-то самое важное, но в этот момент Пеньков упал вдруг на колени перед лесенкой и вытянул вперед, вверх, к красавцу в малиновых рейтузах, руку с незакуренной папироской... Папироска дрожала в пальцах и была словно живая.

— Това-арищ!.. Виноват!.. Товарищи-и-и!..

Без сопротивления он дал сорвать с себя наган человеку в папахе. Приполз на коленях к нижней ступени лестницы и закричал истошным голосом:

— Милые мои товарищи-и-и!.. Подождите вы, ради бо-га-а-а!

— Расстрелять! — резко звякнул гортанный голос над ним.

И опять стало смертельно тихо, и было слышно чириканье воробьев. Пять человек с винтовками оторвали Пенькова от лесенки и повели с насыпи вниз. Следом густо повалили девки, бабы и мужики... Смуглый красавец выпрямился во весь высокий рост, открывая малиновые рейтузы и щегольские сапоги, постоял так минуту и вошел в вагон, плотно прикрывая за собой дверь.

У вагона, у лесенки остались двое: огромный человек в папахе и Никифор Петрович.

Человек в папахе, облокотившись на лестницу, стоял как в столбняке и смотрел под ноги себе, в землю. Никифор Петрович — по другую сторону, и тоже смотрел вниз, на притоптанный снег, усыпанный окурками и шелухой семечек.

Нестройный залп за насыпью оборвал звонкую щебетню воробьев, и они затихшей стайкой неслышно прошли над головами двух человек у штабного вагона с некрашеной дверью и приставленной к ней лесенкой.

Капало с крыши.

И еще один, последний, прозвучал выстрел.

8

«Хороший он человек, Александр Егорыч, и справедливый, не худо желает мне, ну, а разумения нашего положения в нем нету, потому — всю жизнь с господами прожил!» — так раздумывал Никита, выходя вечером от ветеринара.

Александр Егорович, со всем красноречием проснув-

шейся в нем страсти к рысистому спорту, целый час увещевал Никиту выбрать в отцы будущему жеребенку рысистого жеребца. Много было чудесного и заманчивого в его словах. Никита слушал, соглашался, благодарил, но в душе все больше и больше укреплялся в своем намерении вести Лесть не к рысистому, а к простому, тяжелому, крестьянскому жеребцу. В речах Александра Егоровича не было чего-то самого главного; его разговоры выводили Никиту за пределы привычного трудового уклада, выделяли его из общества, а нутром Никита крепко чувствовал, что теперь время не такое, чтобы жизнь в одиночку жить. По словам ветеринара выходило, что изо всей Шатневки, да и не из Шатневки только, а из всей волости один он, Никита, по-настоящему жить будет...

И было в этом для Никиты что-то неладное.

«Чего и говорить, — рассуждал про себя он, слушая ветеринара, — жеребенок должен быть исправный, потому Крепышовых кровей кобыла, заводская... Резвый жеребенок должен быть! И опять же, сена у нас хорошие, самые едовые, кострец — ешь вволю, овсецом баловать буду, все как следует быть, ну, а только рысистый ни к чему в нашем положении!..»

И в один из дней, управившись с весенними полевыми работами, Никита решительно собрался идти в выселки, где был у него на примете у кума Митрия лохмоногий крестьянский жеребец. Настасья просияла, узнав о его намерении.

— Слава богу, остепенился, выбросил дурь-то из головы!..

Из выселков Никита вернулся довольный и веселый.

— Ну, баба, и не расскажешь! Не жеребец, а пе-чь! Спина — постель стели; ноги — смотреть страшно, кажное копыто — в лоханку не уместишь, а в грудях, ну, скажи, прямо в ворота не пролезет!.. Сто пудов упрет, не крякнет!

Встретясь вскоре после этого на базаре с ветеринаром, Никита ничего не сказал ему о своем выборе, но о Москве и о бегах поговорил... О Москве и о таинственном беговом круге, куда приводят со всех концов России лошадей за «прызом», Никита думать не переставал. Хозяйственные соображения с непреложностью подсказывали ему, что рысак не ко двору, но стоило ему запрячь Лесть и выехать на ней в поле, как все его хозяйственные мысли уступали место смутным, волнующим желаниям, вызываемым в нем машистым, легким ходом кобылы,

охотливо отвечающей на малейшее движение вожжей и словно всегда просящей:

— Пусти же меня, и я покажу тебе, как я могу бежать...

И иногда Никита пускал ее. Забирался в телегу с ногами, заматывал на руки вожжи и с холодевшим сердцем мчался большаком, отмечая уносящиеся назад черные квадраты паров, зеленеющие озими, межи и овражки, чуял бездонную резвость кобылы, и мерещилась ему далекая Москва, рысаки, много рысаков, сотни и сотни, и среди них — резвейший из всех, приведенный из Шатневки сын серой Лести...

— Тппрру-у!.. — останавливал он кобылу.

Кобыла, послушная, переходила на шаг. Останавливались озими, пары, вплотную обступали поля, стихал ветер... Никита ронял вожжи и задумывался.

Когда во двор к Никите вошло трое людей: Александр Егорович, молодой агроном, недавно присланный из губернии в Шатневку, и незнакомый, в желтой кожаной куртке, человек, — Никита струхнул. Снял картуз и вопросительно посмотрел на старого ветеринара. Лицо у Александра Егоровича было веселое. Человек в кожаной тужурке внимательно осмотрелся и поздоровался с Никитой за руку, а Александр Егорович сказал:

— Мы пришли смотреть твою кобылу, Никита Лукич!

Никита с новым беспокойством взглянул на ветеринара и замялся, не зная, что отвечать. Человек в кожаной тужурке, тонкий и длинный, как колокольня, подглядел испуг на лице Никиты и улыбнулся:

— Да ты не бойся, товарищ Лыков!.. Я инструктор по коневодству, кроме пользы, ничего тебе не сделаю. Услыхал вот от врача, что кобыла у тебя хорошая, орловская... Покажи-ка нам!

— Кобыла обыкновенная! — все еще недоверчивый, пробормотал Никита, не двигаясь с места.

— Выводи, выводи, Никита Лукич, не бойся! — весело проговорил ветеринар и сам подошел к катуху.

С неохотой обратал Никита Лесть и вывел во двор. Инструктор, лишь только увидел ее, восхищенно воскликнул:

— Вот это материал! Сразу орловца видно!

Заходил вокруг кобылы, начал щупать ноги, ребро, почку и не переставал повторять:

— Вот это да-а, вот это лошадь!.. Великолепный экземпляр! Вот что нам надо для улучшения крестьянской лошади... Прекрасная кобыла! И работница и в езде не подгадит! Верно я говорю, товарищ Лыков?

— Вам видней! — уклончиво отвечал Никита и добавил: — Плечо у нее больная...

— Дело не в плече, а в породе! — живо возразил ему длинный инструктор, — порода дорога!

Вынув из бокового кармана записную толстую книжку, он начал что-то писать в ней, бросая ветеринару отрывистые вопросы:

— Лесть?.. От Горыныча и Перцовки?.. Была в заводе Бурмина?.. Та-ак! Сколько лет? Десять?

Враждебно следил Никита за карандашом, бегающим по записной книжке, и хмуро посматривал на старого ветеринара, приведшего к нему во двор длинного человека в кожаной куртке.

«И зачем сказывал? — тоскливо думал он. — Не иначе для отбора запись делает. Эх, Александр Егорыч, как я просил тебя: молчи, не сказывай!..»

— Порода великолепная! — кончил писать инструктор. — От соллогубовского Добродея, линия Полканов...

И он еще раз восхищенно поглядел на Лесть. И, обращаясь к агроному, проговорил:

— Вот вам и материал для улучшения крестьянской лошади! А вы, товарищ, даже не знали о существовании ее!

Агроном вспыхнул и что-то хотел ответить, но инструктор не слушал и, обращаясь к Никите, сказал:

— Ты зайди сегодня вечерком ко мне, я остановился вот у вашего агронома, нам с тобой надо побеседовать!

Много передумал Никита, пока настал вечер... Не выходил из ума у него карандаш инструктора, записывающий его кобылу в толстую записную книжку, и Никита горько упрекал старого ветеринара за то, что тот доказал инструктору про серую Лесть... К агроному пошел он с беспокойным сердцем. Инструктор в одной рубахе сидел верхом на стуле; на столике рядом — портфель, туго набитый бумагами. В комнате было накурено.

— И в сельском хозяйстве и для армии требуется огромное количество лошадей, и лошадей высокого качества, — говорил инструктор, продолжая, очевидно, давно начатый разговор. — При нашем бездорожье, при огром-

ности территории республики, при отсутствии автотранспорта хорошая лошадь для нас первостепеннейшее дело. Это очевидно! Трактор трактором, а лошадь лошадью. За эти годы войны империалистической и гражданской количество лошадей уменьшилось почти в два раза, если не больше. Вот почему я и обращаю ваше внимание на лошадь. Ухудшилась лошадь и качественно, понимаете? Страшно ухудшилась! Беречь всемерно имеющийся, уцелевший материал — ваша прямая обязанность... А вы уперлись в трактор и этого не понимаете! Вот вам живой пример! — инструктор кивнул головой на Никиту. — Честь и хвала ему, что он выходил и сберег кобылу. За это его надо всячески благодарить и поощрять. А вы даже не знали, что у вас в Шатневке есть такой материал! Но выходить лошадь мало, надо ее использовать в смысле улучшения других, ваших же шатневских лошадей. А что сделано в этом отношении? Посоветовали ли вы Лыкову, какого производителя ему выбрать? Нет. Разъяснили ли вы ему значение племенного материала для государства? Нет. Увязали ли вы этот случайный факт обладания племенной кобылой с задачами общественного порядка? Нет. Ветврач, говорите вы... А что ваш ветврач? Ему нет никакого дела до общественности, он на других дрожжах заквашен!.. Садись, товарищ Лыков! — повернулся инструктор к Никите, стоявшему у двери и внимательно слушавшему каждое его слово.

— Мы постоим, товарищ!

— Садись, садись, разговор у нас с тобой долгий будет! Мне ваш ветеринар говорил, что ты хочешь покрыть кобылу рысистым жеребцом. Дело это, братец, не шуточное...

Инструктор придвинулся вместе со стулом к столу, взяв круглую жестяную, из-под ваксы, коробочку с махоркой, и начал крутить толстую цибулю. Схоронил бритое лицо в дыму от первой затяжки и захлестнувшимся голосом спросил:

— Ожеребится, ну, а дальше что? Что дальше?

И вышло у него так, будто перед этим целый час он уже разговаривал с Никитой. И еще раз, сердито, он повторил:

— Ожеребится, а дальше что?

Никита молчал. Молчал некоторое время и инструктор. Кутался в дым, откусывал конец цигарки и молчал. И, наконец, сам ответил:

— А дальше ни-че-го! Понял? Ни-че-го!

Агроном посмотрел на молчавшего Никиту, кашлянул и нерешительно сказал:

— Ты завтра зайдешь ко мне, Лыков. Я дам тебе свидетельство охранное на твою кобылу.

Порывисто инструктор сорвался со стула и замахал по комнате саженными шагами. Потом, словно циркуль, размашисто сделал оборот к Никите и положил ему на плечо руку.

— Слушай, Лыков!..

Никита не проронил ни одного слова из долгой и взволнованной речи инструктора. Все понял в ней. Понял в ней то, чего не было в речах старого ветеринара и отчего сразу стало легко на сердце: государственная советская власть не только не собирается отбирать у него серую Лесть, а благодарит его за то, что он выходил и сберег ее для общей пользы... И обещает помочь ему и советом и деньгами, если будет нужда...

Понял Никита еще и то, что воспитать ему рысистого жеребца одному будет не под силу — нет у него ни подходящих экипажей, ни опыта, не может быть и правильного ухода, какой нужен для рысака...

И Никита сказал:

— Я и надумал свести кобылу к крестьянскому жеребцу... У кума Митрия в выселках...

— Подожди, — остановил его инструктор, — этому делу помочь легко. Знаешь старую поговорку: один прутик сломать легко, а веник нипочем не сломаешь. Ну, вот! Надо такие дела делать артельно. Понял? Надо у вас в Шатневке организовать коневодческое товарищество, у вас в округе кой у кого есть неплохие лошади... Производителей настоящих мы вам дадим бесплатно, поможем в случае чего и деньжатами. И тогда дело пойдет! И вам польза, и республике польза. Пока что крой кобылу рысаком, не прогадаешь! Я дам тебе записку в губземотдел, да я и сам там буду, а потом уеду в Москву. Спросишь товарища Губарева. Запомнишь? Губарев моя фамилия, Николай Петрович Губарев. Подожди, я запишу тебе...

Инструктор выдрал из записной книжки чистый лист и крупным почерком написал:

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НАРКОМЗЕМА
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ГУБАРЕВ.

9

В отцы будущему жеребенку Никита выбрал из показанных ему в земельном отделе производителей темно-гнедого Любимца, сына знаменитого рекордиста Тальони. В конце марта 1921 года Лесть принесла ему сына. Старый ветеринар осмотрел жеребенка и зашел к Никите в избу выпить за здоровье новорожденного бутылочку пахучего самогону.

— Теперь ты у нас коннозаводчик, Никита Лукич, — весело заговорил Александр Егорович после первой бутылки, — жеребенок по статьям должен быть прочный, в орловскую родню свою... Почем знать, может, второй Крепыш будет?

Семка, сидевший на лавке рядом с матерью, легонько толкнул ее локтем:

— Слышь, мамань?

Настасья вздохнула. Смерть Пенькова еще больше укрепила ее в мыслях, что кобыла не ко двору.

— Как назовешь его? — чокаясь с Никитой, спрашивал ветеринар. — Придумывай, надо в свидетельстве обозначить, чтоб все честь-честью было.

— Да я уже и не знаю, Александр Егорыч!

— Атаман! — выпалил Семка и сорвался с лавки. — Атаманом назови, папанька!

Он живо представил себе, как мчится верхом на Атамане в ночное, и еще раз повторил, дергая отца за рукав:

— Атаманом, папань...

Никите хотелось назвать жеребенка — Догоняй, и он проговорил к Семке:

— Разбойник он, что ль? Лошадь ведь, ну? Подходяще, ежели Догоняй...

— Так и не зовут вовсе, — обиженно возразил Семка и передразнил: — До-го-ня-яй, придумал то-о-же!..

— Ну, а Атаман что? Заладил, как сорока: Атаман, Атаман!..

— Догоняй — кобелячье прозвище! — не сдавался Семка.

— Это как же так кобелячье? — обиделся Никита.

— Комиссарова кобеля кличут Догоняй, ште-е!

— Отойди от стола, паршивец! — замахнулся на него Никита. — Тут про дело говорят, а он... Отойди сейчас!

Александр Егорович улыбнулся доброй улыбкой и прекратил спор отца с сыном.

— Назовем мы его, Никита Лукич, Внуком. Дед у него больно хорош! Так все и будут знать: Внук Тальони — и никаких гвоздей!..

Слово «Тальони» нравилось Никите своей непонятностью: других таких слов в Шатневке не сыщешь. Но оно же и смущало его необычностью.

Почесавшись, он робко посмотрел на Настасью, потом на сына.

— Чего и говори-ить. Дед его, как ты сказываешь, ре-едкостный!..

— Решай, Никита Лукич, ну? — подтолкнул его Александр Егорович и налил полные чашки.

Никита поднял руки и словно что бросил о пол.

— Эх, куды ни шло!.. Быть по-твоему, называю Тальоном Внуком...

Перед тем как уходить, Александр Егорович еще раз заглянул с Никитой в катух. Внук знаменитого деда, взъерошенный и жалкий, с присохшей шерстью, пугливо жался к матери и с трудом стоял на дрожащих, неумелых ногах. Выпуклые синеватые глаза с светлыми длинными ресницами бросались от одного предмета к другому, путаясь в огромном разнообразии окружающего. Все было незнакомо и ново в этом мире. Каждое движение не только людей, но и соломинки от ветра пугало его. Ноги, казавшиеся непропорционально развитыми, высокими и толстыми, по сравнению с коротким, худеньким туловищем, беспомощно ерзали по сторновке, устилавшей пол катуха, разъезжались в стороны, и он падал на колени, пугаясь еще больше.

Лесть, повернув к вошедшим голову, выразительно смотрела на них единственным глазом и как бы просила:

— Уйдите...

В это лето стояла великая сушь...

Напрасно ходили по полям с иконами и хоругвями шатневские крестьяне, молебствуя о дожде. Напрасно девки, по совету старых людей, обливали друг друга и случайных прохожих колодезной водой, чтобы перебить засуху... Обманчивые облачка появлялись на безмятежно-синем небе и уходили. И каждый день выплывало раскаленное солнце и лило смертоносный зной на иссохшую землю. К середине лета поля были выжжены.

Вместо трав и колосьев щетинилась жесткая рыжая

шерсть по лугам и полям. Лист на деревьях свернулся в коричневый жгут и стал падать, гремящий и рассыпающийся в пыль. Затверделая земля ощерилась широкими трещинами и напоминала окаменевшее чудище. У скотины не было пастбищ. Над селом подымался голодный рев коров и жалобное блеянье овец и баранов. Освобожденные от полевых работ жители бродили по селу, собирались у завалинок в мрачно молчавшие группы и вздыхали...

С каждым уходившим днем лета все ближе и неотвратимее надвигался самый жестокий из завоевателей — голод. С юга и запада, с востока и севера, из соседних губерний ползли черные вести о засухе и море. Страшное кольцо сжималось все уже и уже. И по хлевам в Шатневке заработал нож, обрывая голодные жалобы коров и овец. Соли не было. Парное дымящееся мясо опускали в темную прохладу колодцев, пытаясь сберечь подольше, прятали в кадки с сырой водой, зарывали в землю, обложив сожженной крапивой, присыпали порохом вместо соли и, когда убеждались, что ничто не помогает и копошатся уже в нем черви, жадно начинали всей семьей уничтожать его и утром, и в обед, и за ужином и, отуманенные обильным и непривычным лакомством, погружались в тяжелый, беспокойный виденьями, сон... И незнакомыми стали знакомые и близкие лица от появлявшегося на них порой нового, плотоядного выражения.

В конце октября первый снег накрыл унылые поля и затаившуюся Шатневку, похожую на обглоданный костяк своими дворами с раскрытыми крышами, стравленными на корм. Наступила страшная зима 1921 года.

Первой брешью, пробитой засушливым летом в хозяйстве Никиты, была продажа годовалой телки. Настасья плакала, провожая со двора к мельнику палевую красавицу, а Никита мрачно прикидывал в уме, на сколько хватит семье муки, а кобыле сметок, которые он привезет от мельника, и думал о том, что надо поторопиться и с продажей коровы... К зиме на дворе и гумне не осталось ни коровы, ни овец, ни свиньи, ни кур. Двор казался выметенным, каждая соломинка и каждое зернышко подобраны. Раскрытая рига на гумне громоздила в молочное небо черные кривые ребра и в сумерках казалась скелетом чудовища. На потолке катуха, над кобылой и жеребенком, Никита тайно от Настасьи прятал отруби и сметки, а в муку для своего потребления подмешивал толченый желудь и просяную шелуху.

Перед Рождеством в избу неожиданно вошел Никифор Петрович. Бывал он у Никиты редко — в год раз: зайдет с базара, повернется и уйдет. А тут вошел, молча поздоровался с Никитой и сестрой и сел на лавку. Посидел и стал смотреть вдруг на Семку... Потом достал из кармана спичечный коробок, завернутый в белую бумажку, развернул его и открыл. В коробке были белые мелкие зернышки, похожие на какое-то лекарство.

— Немецкий сахар, — пояснил он сестре и Никите, — а по-нашему, сахарин. — И, рассказав, как надо с ним пить кипяток, подарил Семке и опять надолго замолчал.

— Ума не приложу, как быть, чего делать? — горестно заговорил Никита. — Нипочем не дотянуть до весны, Никифор Петрович, никак...

Никифор Петрович сверху вниз качнул голову, соглашаясь.

— В прежние времена у кажного до нови припасено было, а ноне... Смотреть тошно! Сват Прохор мерина свово порешил, в похлебку погнал.

Никита безнадежно махнул рукой и задумался.

— А кобыла как? — спросил Никифор Петрович.

— Плохо. И не угадаешь, какая стала! Завтра намеревался за дровишками в лес доехать и сумлеваюсь — не дойдет.

— Дойдет, — сказал вдруг уверенно Никифор Петрович. Никита изумленно посмотрел на свояка.

— Дойдет, — повторил он и уставил в стену упорные черные глаза свои.

На дворе, куда вышел проводить его Никита, Никифор Петрович выразил желанье взглянуть на кобылу. Взглянул и сказал упрямо:

— Дойдет.

— Чудное ты говоришь! — покачал головой Никита, соболезнующе смотря на исхудавшую Лесть и думая о том, что прокормить до весны ее и жеребенка он никак не сможет.

— Овес и мука есть. Ночью приезжай, — зашептал вдруг Никифор Петрович у него над ухом. Черные глаза его, когда Никита обернулся, всегда неподвижные, как стоячая вода, теперь бегали по сторонам, беспокойные и торопливые.

— Целый состав пришел с мукой, сахаром и овсом, завтра дальше тронется, — продолжал Никифор Петрович шепотом, — в три часа, как в церкви вдарит, буду

к переезду ждать. Кобыла дойдет. Овес есть. Только приезжай. Я все обсудил. Не зря говорить буду. Не такой я. Кобыла дойдет. Овса запасешь.

Отшатнувшись, с испугом смотрел Никита на свояка. Левая рука его то поднималась, то опускалась, будто хотел он и не мог защититься от торопливо-шепотных слов Никифора.

— Сестру жалко. Мальчишку жалко, — продолжал Никифор Петрович, — будут пироги есть. А не приедешь, — Семка помрет. И Настя помрет. И кобыла сдохнет. И жеребенок сдохнет. А без них и ты помрешь. От тоски помрешь. Что меня не послушал, помрешь. Все помрут...

— И не смущай ты меня, Никифор, ради царя небесного, — выговорил, наконец, Никита. — Не говори ты мне про такие дела, отроду не займался по такой надобности... И не смотри ты на мою кобылу, не пойдет она на эдакое дело...

— Сват Прохор своего прирезал, а твоя сдохнет, — сказал громко, по-дневному, Никифор Петрович и вышел из катуха...

Никита подъехал к переезду, когда на горе в церкви ударило три. Никифор Петрович завалился в сани, придавив ему ногу, и приказал шепотом:

— С займища подъедем.

Как в лихорадке тряслись руки Никиты, державшие вожжи. На стыдное, страшное дело пошел он с кобылой. И словно стопудовый камень на ноге — свояк. Слева уходила вверх насыпь, а что на ней — не видно снизу. Может, живой человек там таится, смотрит на них сверху и караулит! Ждет, когда коснется рука Никиты темного, грешного дела. Тихо подвигалась обессиленная Лесть вдоль грозной насыпи; чуть слышно шуршали по мягкому снегу полозья. У темного пролета для полой воды остановились. Каменный груз освободил затекшую ногу. Вверху темной громадой стоял вагон.

— Здесь, — тихо сказал Никифор Петрович, — жди.

Прежде чем уйти, он наклонился к Никите и — не видно куда — показал рукой в темень:

— Здесь и Пенькова ухандакали. Тут и закопали!

И исчез в пролет под насыпь...

Так страшно Никите никогда не было. Глухая ночь была живой. Живым был и темный огромный вагон

наверху. Таких огромных вагонов Никита не видел нигде. Иногда ему начинало казаться — вагон медленно движется, и он, затаив дыханье, прислушивался. И вдруг ясно различил в тишине, как хрустнуло перекушенное сталью железо...

С насыпи, к самым саням, скатился мешок, потом торопливый шепот:

— Сейчас еще, клади...

Никита взвалил тяжелый тугой мешок на сани и так же торопливо прошептал вверх:

— Овсеца-а!..

Скатился еще мешок поменьше и полегче. И опять просяще прошептал вверх Никита:

— Овсе-ца-а!..

Но вместо овса с насыпи скатился кувырком Никифор Петрович.

Никита, не помня ничего, оседланный страхом, ударил по лошади. С грузом в двадцать пудов Лесть ринулась обратно вдоль насыпи.

— Гони!

Громыхнул сзади выстрел. Еще и еще. У переезда Никифор Петрович кувырнулся с саней в темень; Никита вымахнул на займище, и еще бешенее понеслась верная Лесть... На горе она захрипела, но справилась и через несколько минут остановилась у знакомых ворот. И зашаталась...

Один мешок был с картофельной мукой, другой — с сахарным песком.

— Забирай все с глаз долой! — решительно заявил Никита пришедшему на третий день свояку. — Никакого знакомства с тобой иметь не желаю.

И вышел из избы, с сердцем хлопнув дверью.

В катухе третий день не вставала Лесть. За счет жеребенка Никита увеличил ей дачу отрубей. Лесть ела неохотно, а иногда и совсем не ела. Встала на ноги на пятый день, но была понура и не повертывала к Никите головы, когда он входил в катух.

Вскоре после этого происшествия, оставшегося для Никиты навсегда памятным, у Семки начали пухнуть ноги. Сперва Настасья лечила его домашними средствами: хлестала распаренным веником, обкладывала горячей золой, а когда увидела, что опухоль пошла на руки и на лицо, уговорила Никиту свезти его в железнодорожную больницу...

— Никаких лекарств у меня нету против этой болезни, питанье надо переменить, другую пищу надо, — сказал Никите больничный фельдшер и больше не стал разговаривать.

Никита потащился обратно. Шагая рядом с санями, припоминал каждое слово фельдшера и горестно посматривал на бледное, одутловатое лицо сидевшего в санях Семки. Изнуренная Лесть с трудом переставляла бессильные ноги, часто останавливалась, и Никита покорно ждал, пока она передохнет, и не понукал. На горе кобыла странно пошатнулась и упала, завалившись на левый бок. Семка с трудом вылез из саней и пытался помочь отцу поднять кобылу. Лесть не вставала. Лежала с выпрямленными, как жерди, ногами, вытянув по снегу шею. Никита освободил ее от упряжки и потянул за повод, ласково приговаривая:

— Вставай, ну, немного, ну?..

Последним усилием ответила кобыла на ласковый уговор хозяина. Оторвала от дороги вытянутую шею, судорожно забилась всеми четырьмя ногами в попытке найти точку опоры в изменявшей ей зыбкой земле, приподняла перед на согнутых дрожащих ногах, и на один миг оставалась так, напряженная, как цирковой борец на арене перед затаившейся толпой... И тяжело снова опрокинулась на бок. Семка заплакал. Никита долго смотрел на кобылу. Она дышала короткими, отрывистыми вздохами. От взмокнувшего бока шел пар. С горы заржал серый Внук, убежавший далеко вперед. Он был самый бодрый из всех. Каждый день в катух приходил хозяин, забирался куда-то наверх, долго возился там, гремя ведерком, а потом спускался и подзывал его. Из ведерка всегда вкусно пахло хлебом и теплом, а в густой болтушке попадались приятные, хрупавшие на зубах зерна...

Лесть, услышав его ржанье, с усилием подняла голову и опять уронила ее на дорогу.

— Отмаялась! — глухо проговорил Никита и посмотрел на сына.

Отвернув полу полушубка, он достал из штанов большой складной ножик и раскрыл его. Серый Внук подбежал к матери в тот момент, когда Никита, стоя на одном колене, накрыл кобыле шапкой единственный глаз и, сунув в горло ей нож, быстро рванул его в сторону.

Мясо Лести было жестко и пахло потом.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Близ старой Конной площади, в одной из незаметных улиц Замоскворечья, доживала свои последние дни чайная Ивана Петровича Ракитина. Незаметная по внешнему своему виду, с скромной синей вывеской, с деревянным крыльцом в три ступени и крохотной входной дверью, обитой клеенкой, чайная эта раньше была сердцем и мозгом всей конноторговой жизни Москвы. По четвергам и воскресеньям — дни конных базаров — три комнаты с низкими потолками ломились от народу. Барышники, извозчики, подмосковные крестьяне, приехавшие на базар купить или продать лошадь, содержатели конных дворов, наездники и конюхи — все шли к Ракитину. И каждый вечер в задней комнате, за своим любимым столиком в углу, заседал сам Михал Михалыч Груздев — известный всей Москве конный торговец, владелец конного двора с восемьюдесятью денниками, помещавшегося на этой же улице по соседству с чайной. Михал Михалыча знал каждый барышник не только в Москве, но и во всей России; все они имели с ним дела — либо покупали для него лошадей, либо продавали, подыскивая покупателей и получая за это комиссионные, и так или иначе зависели от него. Поэтому Михал Михалыч пользовался всеобщим почетом и подобострастным уважением, и никто никогда не осмеливался без него занять столик в углу задней комнаты чайной Ивана Петровича Ракитина. Позади столика в стену был вбит большой костыль специально для Михал Михалыча: зимой он вешал на него свою синюю поддевку на лисьем меху и каракулевую шапку (шелковый шарф Михал Михалыч никогда не снимал с шеи и чай пил в нем), а летом — черный альпаговый картуз. Первую пару чая подавал за его столик сам Иван Петрович. Постоянными компаньонами Михал Михалыча по чаю были старый коновал Семен Андреич Курочкин и барышник Гришка Корцов, слывший великим мошенником в своем деле. В четырнадцатом году за этим столиком была куплена Михал Михалычем у коннозаводчика Борщевского знаменитая ставка жеребят, давшая ему шестьдесят тысяч чистого барыша, а годом позже, здесь же, при помощи Гришки Корцова, Михал Михалыч уговорил рысистого охотника Завьялова продать ему захромавшую кобылу

Ласточку, показавшую вскоре после этого, в этом же году, исключительную резвость на московском ипподроме и проданную прямо с бега известному коннозаводчику за баснословную для нее цену в пятьдесят тысяч рублей. Завьялов в тот же вечер прибежал в чайную Ракитина и взвыл за столиком Груздева:

— Что вы со мной сделали? Разорили!!! Как вам не стыдно? Верните мне хотя половину.

Михал Михалыч погладил бородку, кашлянул и сказал:

— Такое коммерческое дело. Не продавали бы! По здравому рассуждению, вы признательность и благодарность должны ко мне питать, потому, входя в ваше тогдашнее бедственное и даже очень низкое положение, я исключительно по доброте и мягкости своей согласился взять у вас хромую кобылу...

Завьялов, выслушав спокойные и ласковые слова Михал Михалыча Груздева, сорвался с места, страшными глазами посмотрел на него и заскрипел зубами:

— Вы еще издеваетесь надо мной?!

А Михал Михалыч, поглаживая бородку и покашливая, добавил:

— По той же сердечной мягкости могу предложить вам двадцать пять рублей, зная нужду...

Не дослушав, Завьялов выбежал из чайной, забыв серую мягкую шляпу. Серая шляпа эта до сих пор цела у Ивана Петровича Ракитина, потому что Завьялов на другой день застрелился из охотничьего ружья.

О многом множестве других дел, покупок и продаж, удачных и неудачных, мог бы рассказать этот столик, покрытый клетчатой клеенкой, в углу задней комнаты чайной, близ старой Конной...

В двадцать пятом году все это было невозвратным прошлым. Конная торговля перешла в руки государственных и кооперативных организаций. Барышники, оставшиеся без доходов и без дела, никогда ничем не занимавшиеся, кроме покупки и продажи лошадей, из Замоскворечья передвинулись на Тверскую, поближе к ипподрому, где можно было иногда подыграть верненькую лошадку или случайно подработать на комиссии, подыскав для какой-нибудь организации подходящую лошадь. Ракитинская чайная опустела и казалась не погребенным по какой-то случайности мертвецом. Почти все ее посетители проводили теперь незанятое время в чайной «Свой труд»

на Тверской, открытой там бывшим хозяином трактира на Башиловке, Митричем, и к Ракитину заглядывали редко.

Лишь двое из всех остались верны старой чайной: Михал Михалыч Груздев и старый коновал Семен Андреич. Революция отобрала у Груздева все: и конный двор с восемьюдесятью денниками, и лошадей, и экипажи, и деньги в банке, но столик в задней комнате ракитинской чайной остался по-прежнему за ним. Только два раза за последний год случалось так, что Михал Михалыч, придя по обыкновению в седьмом часу в чайную, находил свой столик занятым неизвестными ему людьми. Михал Михалыч посмотрел на них и прошел к стойке, где, согнувшись, Иван Петрович вчитывался в новый декрет о подоходном налоге. Кашлянув, Михал Михалыч постучал кизиловым бадиком в пол и выговорил:

— Непорядочек у вас, Иван Петрович...

Иван Петрович торопливо прошел в заднюю комнату и через минуту вернулся:

— Пожалте, Михал Михалыч!.. Сами изволите понимать — время-то какое, все перепуталось.

Эту перепутанность особенно остро чувствовал старый коновал Семен Андреич Курочкин. Он приходил в чайную каждый день и всегда раньше Михал Михалыча. Садился за соседний с груздевским столик и ждал. Михал Михалыч, войдя, молча протягивал ему руку, снимал и вешал картуз, тогда Семен Андреич перебирался за его столик. Часто они просиживали весь вечер в молчанье, обмениваясь вздохами или односложными междометиями. Вздохнет Михал Михалыч, вздохнет с старческим присвистом и Семен Андреич.

— Да-а-а! — протянет Михал Михалыч.

— О-хо-хо-хо! — отзовется Семен Андреич.

В сентябрьский вечер двадцать пятого года Семен Андреич пришел в чайную с опозданием — Михал Михалыч уже восседал за парой чаю. Кряхтя и сморкаясь, Семен Андреич уселся на свое место и, свесив на грудь голову, задумчиво уставился выцветшими глазами в чашку с жиденьким чаем. В семьдесят лет Семен Андреич сохранил румянец щек и моложавость. Широкая, не длинная седая борода полукругом и лысая голова, обрамленная сзади, как бахромой, кудрявившимися белыми волосами, придавали ему сходство с Николаем угодником. В левой руке он неизменно зажимал берестяную табакерку и кубо-

вый платок, поражавший своим огромным размером, когда Семен Андреич прибегал к нему.

Нюхнув, Семен Андреич вытер платком блестящую в испарине лысину и со вздохом сказал:

— Помирать, должно, скоро!

— Что так?

Семен Андреич долго молчал и смотрел в чашку. Потом поднял голову и остановил на лице Михал Михалыча слезившиеся глаза.

— Сны нехорошие снятся...

— Ну?

Старый коновал скорбно мотнул головой.

— Жеребцы снятся...

— По специальности, Семен Андреич, — рассудительно проговорил Михал Михалыч, — кому что! Сколько ты их на своем веку-то вылегчил — ты-ы-щи?!

— Великие тыщи, это справедливо!.. Ну, а раньше этого не было, чтоб снились.

Семен Андреич уронил голову, отчего борода его растопырилась по груди веером.

— Каждую ночь стали сниться... Вот и нонче под утро... Вижу, будто я на энтом свете. Чего ведь не привидится! И вот иду вроде коридором, и коридору этому конца-краю нет... И соображаю — попал я в самый центр, к Вельзевулу. А потом коридор кончился, и будто вроде как наша Конная... Да-а... Вышел, иду, и, откуда ни возьмись, — жеребцы, великое множество, со всех направлений и сторон, и прямо на меня. Ощерились, зубами ляскают, какие на дыбошки, глазища, как у тигров, горят, а мне вроде как человечьи слова представляются: «Вот он! Пришел!.. Теперь мы с ним расправу учиним за все». И кинулись все на меня... И узнаю в каждом я, какого выложил. Все — меренья! И великий страх напал тут на меня, от него и проснулся, мокрый весь и холодный...

— По специальности, Семен Андреич, — повторил Михал Михалыч, — и еще от мыслей. Для сна нет лучше как капустный отвар пить.

— Пи-ил, а снятся!..

В чайную вошел Гришка Корцов, высокий, наглый, с красным обветренным лицом. Как и большинство барышников, он был без дела и без денег, но, в отличие от других, не жаловался на свою судьбу и на вопрос: «Как дела?» — отвечал резким, неприятным и как бы задирающим голосом:

— С делами дурак прожить сумеет! А мы и без делóв не умираем.

Почти следом за Корцовым появился еще один посетитель, бритый, в светлой шляпе и клетчатых брюках. Он развязно подошел к столику, за которым сидели Груздев, Семен Андреич и Гришка Корцов, поздоровался со всеми и придвинул для себя стул.

— Чашечку чайку, Василий Александрович, — предложил Михал Михалыч, — где-то вы запропали. Кого ни спросишь: «Василия Александровича Сосунова не видали?» — никто не знает.

Сосунов громко рассмеялся. Смех у него был утробный, густой и коленчатый, как тракторное колесо.

— Зайчишек стрелял, Михал Михалыч... На охоту ездил.

Семен Андреич недоуменно повернулся к Сосунову. Посмотрел на галстук бантиком, на светлую фетровую шляпу, на клетчатые брюки и вздохнул. Было ему странно и непонятно, что теперь, когда вся жизнь перевернулась и стала ни на что не похожей, люди вдруг ездят на охоту... И он выговорил:

— Какие же теперь зайцы?!

А Корцов одобрительно потрепал Сосунова по клетчатому колену.

— Прррравильно, Вася-я!.. Нехай их в Китае ри-ва-люцию делают, а мы и без нее сами с усами.

— Ясное дело, Гриша, нас это не касается! — зарокотал басисто Сосунов. — Вот если бы насчет бодя-я-ги, да к ней яи-ичницу с лучком, знаешь зеленым лучко-ом припорошить, да ветчинку...

Он отвернул набок голову, прищурился и сладострастно потер ладонь о ладонь.

— Э-эх, хх-ха-рра-шо-о!

— А любишь ты, Вася, жра-ать!

— Единственную цель в жизни имею, Гриша, не таюсь. Я, братец, тридцать пять лет вот жалею, что родился и живу не в крепостное право... Знаешь, какая натуральная жизнь была!.. Все двадцать четыре удовольствия тут вот, рядом, около, только па-альчиком, пальчиком шевельни — и пожалуйте! Читал, как благоденствовал Петр Петрович Петух? А это-то... — Сосунов презрительно кивнул на чай, — он мне дома надоел, радости в нем мало, брюхо полоскать!..

— Какой же это Петр Петрович? — осторожно осведомился Семен Андреич.

— Редкая личность, замечательнейший человек был! — вдохновенно заговорил Сосунов. — У Николая Васильевича Гоголя описан с доскональностью-с... Помещик, Семен Андреич, русский помещик был, никогда не скучал, Семен Андреич; помню, призовет повара с вечера да и занимается с ним. Кулебяку, например, на четыре угла... В один — осетровые щеки с вязигой, в другой — гречневую ка-ашку, потом — грибо-очки с лучком, да моло-оки, да мозги... А сычу-уг!..

Сосунов зажмурился, причмокнул, замотал головой, замычал, вздохнул и, выпрямившись, с вдохновенным лицом, голосом вибрирующим и проникновенным, будто совершал торжественное богослужение, начал:

— Да сделай ты мне свиной сычуг, да положи в середку кусочек льду, чтобы он взбухнул хорошенько!.. Да чтобы к осетру обкладка, гарнир-то, гарнир-ир чтоб был побогаче!.. Обложи его раками, да поджаренной маленькой рыбкой, да проложи фарше-цо-ом из снеточков, да подбавь мелкой сечки, хренку да груздочков, да петрушки-ии, да морковки, да бобков, да нет ли еще там какого коренья?!

Сосунов откинулся назад, обвел всех затуманенными глазами, ставшими вдруг маленькими-маленькими, и из него полез густо медлительный утробный смех...

— Во-от, Семен Андреич, жи-изнь-то какая была!.. Э-эх! Не хочешь, да вздохнешь.

— Была, да быльем поросла! — вздохнул и Михал Михалыч.

— Лет бы эдак сто тому назад родиться, — продолжал Сосунов, — да чтоб при этом тыщонку-другую десятин с крепостными... Под усадьбой — речка с налимами, за речкой — лесок с зайчишками, подзакусить утречком да с борзыми в поле, а потом завтракать... Горячие расстегайчики, паштет из бекасов, наливочка собственного производства...

— Убеждение у вас сознательное! — со вздохом вставил Семен Андреич и зарядил в малиновый нос две понюшки из берестяной табакерки. А Гришка Корцов с внезапной злобой, словно вышиб кто дно у сосуда, обрушился руганью на советскую власть.

— Теперь, брат, у нас режь-публика!.. Равными всех хочут сделать, осчастливить хочут...

И, словно кто ему возражал, с возрастающей злобой начал доказывать:

— Разве не дураки, а? Как же это возможно сравнять всех? Скажем, вот Михал Михалыч специалист своему делу — восемьдесят денников конюшня была, и я, скажем? Как же нас равнять? Или вот ты!.. Служил ты кассиром в мануфактурном магазине, а я по конному делу, опять мы неровня с тобой!..

— Это ты, Гриша, из другой оперы, — перебил его Сосунов, — они другое уравнение делают, насчет вот этого, — хлопнул он себя по карману.

— И опять же не уравняют! — запальчиво выкрикнул Корцов с злобно горящими глазами. — Никогда не уравняют. В своем деле опять же я понимаю всех их больше. Опять же я их обведу, как хочу! Намедни приходит один лошадь смотреть, председатель треста, ши-шка, с портфелем; кобыла у меня на комиссии была. Лошади красная цена полтыщи: с курбочками кобыла, и спины нет, а он дурак-дураком: почему, говорит, хвостом крутит? Со смеху сдох я; за полторы тыщи загнал ему...

— Это какая же, Григорий Николаевич? — осведомился деловито Михал Михалыч.

— Да серая, с курбами кобыла!..

Семен Андреич вытер кубовым платком лысину и закряхтел.

— Все перепуталось! А скотина, она тоже разумеет и человека от человека отличает. Рассказывал, помню, один почтенный человек мне. К графу Орлову приехал в завод, осмотр делать лошадям его, его императорское величество государь император Александр Павлович Благословенный. Граф Орлов, конечно, сам был его сиятельство и первейший в империи граф. Ну, а тут его императорское величество, самодержец всероссийский... Как полагается, приготовился граф к достойной встрече, да-а. Приезжает. И перво-наперво желает осмотр произвесть графской конюшне, сошел с экипажа и говорит: «Веди меня на конюшню, желаем всех твоих знаменитых рысаков посмотреть, в каком порядке живут они у тебя?» Повел граф. И только государь император переступил порог и взошел в конюшню, все тыщи лошадей заржали, как одна, государя почуяли и бессловесные приветствовали его, вроде как бы скоплением народу кричали громогласное «ура»...

Семен Андреич поднял голову и обвел всех выцветшими, слезливыми глазками. На бритом лице Сосунова заметил ехидную улыбочку и строго сказал:

— Охмыляться тут нечего, почтенный! Скотина — она раньше умнее которого человека была. Да-с!

— Я, Семен Андреич, рассказ этот по-другому знаю, — весело заговорил Сосунов, — тут дело не в скотине, а в орловском управляющем; был у него такой Василий Иванович Шишкин, плут первостатейный и жулик. Он все и подстроил. Факт такой действительно был, — продолжал Сосунов, обращаясь уже не к Семену Андреичу, а к Груздеву и Корцову.—Шишкин, когда узнал, что государь должен приехать на завод, приделал ко всем денникам наружные ставни и каждый день в определенный час и минуту открывал сразу все их, и в этот же момент в ясли каждой лошади засыпался овес. Конечно, лошади и привыкли к тому: открылась ставня, — значит, сейчас овес будет, а лошадь, всем известно, когда чует овес, всегда начинает ржать. До приезда государя целый месяц эту штуку проделывал Шишкин. Когда государь-то вошел в конюшню, он мигнул, кому надо, — ставни настежь, вот они и заржали, а царю понравилось: он Шишкину бриллиантовый перстень...

Корцов, с жадностью слушавший рассказ Сосунова, замотал от восторга головой.

— Вот пес! Ну и пе-ес! Ну и ловкач! Ну и молодец!.. Как его — Василий Иванович Шишкин!.. Вот пес!

Семен Андреич враждебно посмотрел на Сосунова, засопел, понюхал и проговорил:

— Образованный вы очень стали... Все знаете! Ни царя, ни бога, клетчатые брюки нарядил... Тебя к столу лицом пригласили, а ты чертом себя оказываешь!

Сосунов, ничуть не обижаясь, загоготал. Потом вдруг смолк, что-то вспомнил и другим тоном сказал Корцову:

— Дельце одно обделать можно.

Корцов сразу насторожился. Грубое, обветренное лицо его стало подозрительным и чуть враждебным.

— Товар есть, — понизив голос, заговорил Сосунов, — мас один из Рязанской ловака[1] привел. Акурат при мне на Павелецком выгружал. Четырехлеток, что надо — жеребенок!

— Продает? — спросил Корцов.

— Черт его знает, не поймешь, мас-то больно чудной. Поставил к Культяпому. Дойти посмотреть, чо-вый[2] ловак.

---

[1] Мас — человек; ловак — лошадь.
[2] Човый — хороший (жаргон барышников). *(Прим. авт.)*

— Вот сволота, — выругался Корцов по адресу Культяпого, — ничего мне не сказал.

— Он скоро должен прийти сюда, — посмотрел на часы Сосунов, — я говорил с ним...

Михал Михалыч внимательно прислушался к разговору, и лицо у него было озабоченное.

Когда Культяпый появился в чайной, Корцов встретил его матерной бранью:

— Ты что ж, богатым стал? На самостоятельность вдарился?

— Я ничего, Григорий Николаич, что вы? — забегал по лицам плутоватыми глазами Культяпый.—Если вы насчет жеребенка, — вы это напрасно. Потому мас не продает его, на бега привел.

— Продает аль нет — мы увидим! — многозначительно проговорил Корцов. — Нам не впервой. Мало мы их обломали здесь! На бе-га-а, подумаешь? В прошлом годе из Пензы так же вот один на бега привел, а она захрома-ала! — понизил голос Корцов, подмигивая Культяпому.

— Мы понимаем, Григорий Николаич!

— Ну во-от! Откуда мас-то? Что за человек?

Культяпый презрительно махнул рукой.

— Дерев-ня... С письмом к Лутошкину приехал, в первый раз в Москве. А ловак чо-о-вый, по четвертому году... Да вот вы чево, Григорий Николаич, завтра пораньше утречком приходите, мас уйдет на Башиловку, вы и посмотрите.

— Аттестат есть?

— Не показывает, остерегается.

— Ла-а-дно, завтра посмотрим! — проговорил Корцов и выразительно еще раз подмигнул Культяпому.

Сосунов жадно потер ладонь о ладонь, как бы предвкушая поживу.

— Под яичницу-то потом... э-эх, х-хорро-шо, Гриша!

2

Упоминание в письме ветеринара о серой Лести вызвало в мыслях Лутошкина образы забытой, давно оставшейся позади жизни в имении Бурмина. И самым ярким образом был образ самого Аристарха Бурмина. Он вспоминался, как кошмар, как чудище, нелепое и страшное в своей равнодушной и невозмутимой жестокости к жи-

вому человеческому сердцу. Его нелепый кабинет, в котором живой человек не согласился бы прожить одного дня; его надменно-скрипучий голос, читающий нравоучения; его негнущаяся, геометрическая фигура и ассирийская борода; даже его вожделения, строго регламентированные часами и днями, — все это ожило в памяти Лутошкина с пугающей яркостью, и близко придвинулась и вся усадебная жизнь, обезличенная и оскопленная волей одного человека...

— Революция — это гибель дворянства. Революция — это гибель традиций. Революция — это гибель орловского рысака, созданного просвещенной волей незабвенного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского. Революция — это хаос, столь противный божественной воле. И бог не попустит! — так в припадке надменного гнева говорил Аристарх Бурмин незадолго перед тем, как его вытряхнули из насиженного родового гнезда.

Лутошкин оторвался от письма и быстро взглянул на Никиту.

Никита стоял в смиренной позе и ждал. Бессонная и беспокойная ночь помяла его лицо, и лицо было тусклое, серое; волосы торчали во все стороны грязными, свалявшимися вихрами, и от серого пиджака из солдатского сукна шел крепкий запах лошадиного пота.

— Кобыла жива? — спросил Лутошкин.

— Кончилась, — горестно ответил Никита, — в голодный год кончилась.

— Сколько жеребенку? Трехлеток?

— Весной три сравнялось.

— Где он стоит сейчас?

Никита без запинки выговорил подробный, твердо заученный адрес и в подтверждение вытащил бумажку с нацарапанными каракулями.

— Знаю, знаю, — сказал Лутошкин, не взглянув на бумажку, — у Культяпого... Кто же тебя направил к нему?

Никита обстоятельно рассказал, как он прибыл в Москву, на Павелецкий вокзал, как начал выгружать жеребенка и как подошел к нему человек, не так чтобы пожилой, но и не молодой, по себе человек обыкновенный и на московского вроде и не похож, а потом подошел другой господин при шляпе и на выпуске брюки, а брюки клетчатые, как из бабьего платка шитые...

Лутошкин крутнул головой и усмехнулся.

— Вчера вечером, в пять часов, значит, прибыли-то

мы, — продолжал Никита. — Александр Егорыч так и наказал, как приедешь, прямо к вам иттить... Кобыла-то вам знатная была? Эх, и лошадь, — вздохнул Никита, — что по себе, что в работе, — а у-умница редкостная! Ну, только скажу вам — жеребенок весь в нее, с ухваткой, и характер ее, и резвый — страсть! Александр Егорыч человек с понятием, прыз, говорит, жеребенку непременно поднесут. Так и сказал!

— Призы на земле не валяются! — строго сказал Лутошкин. — Посмотреть сперва надо жеребенка, попробовать, а потом о призах разговаривать... Ты пока иди-ка к нему, я после обеда приеду туда, там и поговорим.

Никита нахлобучил картуз и заторопился — добраться от Башиловки до Мытной было для него делом более трудным, чем проделать путь от Шатневки до Москвы...

Лутошкин проводил его взглядом до ворот, перечитал письмо старого ветеринара и сел на бревна у забора. Ссутулившаяся спина и низко опущенная голова сделали его похожим на старика.

«...жеребенок, по моим наблюдениям, исключительных способностей. Можно с уверенностью сказать, что в ваших руках он пойдет далеко...» — писал старый ветеринар о сыне Лести.

А Лутошкину было почти безразлично. Болела поясница. Месяц тому назад ему стукнуло сорок лет. После серого сына Лести приведут другого какого-нибудь исключительных способностей жеребенка... И еще, и еще... В тысячу первый раз взмахнет красным флажком стартер, упадет сверху из судейской удар знакомого колокола, побежит назад под американку желтая дорожка, оторвется позади груз тысячеглазых трибун, и два поворота овала замкнут круг и приведут опять к красному флагу старта, к судейскому колоколу, к трибунам... Серая лошадь сменится гнедой, гнедая вороной, вороная серой. Бурмина сменил Никита, Никиту сменит кто-нибудь еще, а он, Лутошкин, будет все ехать, ехать, ехать, бессменно, безостановочно, как путешественник, взявший билет на всю жизнь, привычный к отказу от привязанностей, к беспрестанной череде, текучести и временности, кажущимся иногда единственным смыслом жизни...

Конюшня, в которой служил он заведующим, располагала первоклассным материалом и получила не один именной приз за своих рысаков, приведенных им, Олим-

пом Лутошкиным, первыми к столбу. То, о чем он когда-то исступленно мечтал, стало действительностью. Девять лет тому назад именной приз был для него несбыточной фантазией; теперь за три года он имел их три... Московский ипподром считал его лучшим наездником и тренером... Но что-то изменилось за эти девять лет. Лутошкин стал равнодушен к успехам и к неудачам и иногда вдруг остро ощущал ненужность и бессмысленность всего того, что делал, такую же бессмысленность и нелепость, как поедание обеда осужденным накануне казни... Особенно ярко и сильно испытал он это полтора года назад, в первомайский праздник. В тот день он ехал на большой приз на лучшей лошади конюшни на темно-гнедом Анчаре, своенравном красавце. Соперниками Анчара были шесть резвейших рысаков республики. Когда перед призом он выехал на беговой круг, к нему потекли тысячи глаз из переполненных трибун. Лутошкин не смотрел на публику, не различил ни одного лица, не отметил ни одной пары глаз, но всем существом своим остро ощутил эту огромную, волнующую и сладостную тяжесть всеобщего вниманья и забеспокоился. Уверенность в победе сменилась сомненьями, а услужливая память подсовывала эпизоды борьбы из прошлого, когда какая-нибудь случайность была причиной поражения. Правда, теперь он не так-то уж легко терялся от случайностей; работа в конном заводе Бурмина многому научила его, он воспитал в себе выдержку и волю и мог в разгар борьбы спокойно учесть по секундомеру складывающуюся обстановку бега, силы соперников, резвость приема, особенности в характере не только лошади, но и наездника, и использовать малейший промах противника. Но знал он теперь твердо и еще одно: помимо уменья, для победы необходимо «сердце», то самое сердце, которого он требовал от лошади, которое отличало тупую лошадь от настоящего «бойца» ипподрома, сердце, какое было у покойного Егора Гришина, подсказывающее в решающий момент борьбы какое-то, никогда не определимое потом, движенье вожжей, крик, стон, порыв вперед корпусом, какой-то взлет и раскрытие всего существа наездника, как раз именно то, что выбрасывает рысака на полголовы вперед противника и приносит победу...

И вот этого-то сердца Лутошкин не услышал в себе в яркий солнечно-тихий праздник Первого мая. И обеспокоился. Словно отказывалось сердце участвовать в борьбе. Было безразлично: победа или поражение. Было холод-

но, и хотелось, как Филиппу, засунуть руки глубоко в рукава и съежиться.

Победа осталась за ним в этот день. Мастерство не изменило ему, и, сложив езду с холодным расчетом, он привел Анчара к столбу первым.

Но в тот момент, когда он финишировал, у самого столба его накрыл вдруг могучий рокот мотора; огромная тень обогнала рысака, уплывая вперед по дорожке, залитой солнцем, свернула влево, и еще раз рокот стального сердца заглушил восторженные крики тысяч, приветствовавших победителя...

Лутошкин слез с американки и долго смотрел вслед уносившемуся аэроплану, потом взглянул на взмыленного, тяжело дышавшего Анчара и вдруг понял и тоску свою, и свое утраченное сердце. Он понял, что лошадь и наездник — в прошлом. Настоящее и будущее — это машина, мотор. Его искусство скоро никому не будет нужно, так же как не нужен лук и стрелы вооруженному винтовкой.

Шла новая жизнь.

И, не слыша рукоплесканий, не слушая поздравлений судей, спустившихся из членской на беговую дорожку, он, как Филипп, засунул глубоко в рукава руки и съежился...

На обратном пути от Башиловки до Мытной Никита раздумывал над последними словами сурового наездника и огорченно вздыхал. Привел он серого Внука в Москву с непоколебимой уверенностью, что сейчас же, по приезде, жеребенка пустят на «п р ы з», а оказалось все по-другому!..

«Чего его пробовать? — рассуждал Никита. — Каб не резвый — не повел бы эдакую даль, на такое дело! Срамотиться только! А пробовать его нечего, не Микишкин мерин, не за зря Тальоном Внуком записали и аттестат выдали... На мое рассуждение, ежели ты наездник, — запрягай и с господом, а тут...»

Тем временем на дворе Культяпого Корцов, Михал Михалыч и Сосунов осматривали серого Внука. Подошел и Семен Андреич.

Внук был не в порядке: не чищенный, со свалявшейся шерстью, со спутанной гривой и хвостом, но Михал Михалыч, лишь только увидел его, начал покашливать и стукнул кизиловым бадиком оземь.

Опытный глаз его сразу прощупал породность жере-

бенка под свалянной грязной шерстью; отметил сухость головы, нетронутые, цельные ноги, крутое ребро, и, обращаясь к Корцову, он тенорком выговорил:

— Приятный товар!

Сосунов, стараясь придать бритому актерскому лицу своему деловитость и неоспоримое знание всего того, что касается лошади, крутился около жеребенка, заходил то с одной, то с другой стороны, приседал на корточки, рассматривая копыта, осторожно пытался пощупать ребра и спину и трусливо отскакивал, когда Внук вздрагивал от прикосновения.

— Ну, ты смотри-и у меня! — замахивался он на жеребенка, пряча испуг свой в грозном окрике.

— Нервный человек теперь стал и деликатный! — ядовито заметил Семен Андреич, сидя на большом камне и постукивая по берестяной табакерке. — А лошадь — она понимает и завсегда норовит вдарить по такой наружности.

Никита вошел во двор как раз в тот момент, когда Корцов, захватив одной рукой Внука за храп, другой вытянул ему язык и рассматривал зубы, определяя возраст.

— Вы чего тут делаете?! — бросился Никита к лошади.

Вырвал у Культяпого повод и потащил Внука к себе. Испуганные глаза его заметались от одного лица к другому, от людей к лошади; руки сжимали повод с такой силой, что легче было отрубить их, чем вырвать узкий ремешок, соединяющий Никиту с драгоценным сокровищем, взращенным им в далекой и тихой Шатневке...

— Зачем коня вывел? — прерывающимся от дикого страха голосом заговорил Никита. — Какое твое дело? Я ему законный хозяин! Чего в зубы лез без моего дозволения?

Корцов вытер сперва руку о солому, потом начисто о полу пиджака и, не слушая Никиту и не смотря на него, проговорил к Михал Михалычу:

— Жеребенок не плохой, если бы не курбочки...

— Все дело портят! — отчетливо подхватил Сосунов. — Рассыплется по первой езде. В прошлом году весной, также вот купили, хоро-о-шая по себе кобыла была...

Никита тоскливо насторожился. Кинул быстрый взгляд на ноги Внука.

— Откуда привел-то? — грубо спросил его Корцов.

— Рязанские мы, — неохотно ответил Никита, с враждебностью посматривая на него.

— Продаешь?

— Жеребенок не продажный, — отрезал Никита.

Корцов оскорбительно засмеялся, повернулся к Никите спиной и, незаметно для него, шепнул выразительно Сосунову:

— Подначивай!

— По себе замечательная кобыла, — как бы продолжая начатое, громко к Михал Михалычу заговорил Сосунов, — и с аттестатом соловоеского завода, посмотреть любо! И вот такая же история, точь-в-точь, как у этого жеребенка. А купили специально для бегов. Сперва думал — обойдется как-нибудь, ан нет. Полверсты ничего едет, а потом — будь здоров, — ни в какую!.. Так за полцены и отдали извозчику.

— Какие же тут бега, если курбочки, — проговорил Михал Михалыч, поглаживая смирную свою бородку.

Семен Андреич сидел в сторонке на камне, смотрел на Никиту слезящимися глазками, о чем-то горестно размышлял. Из сцепленных рук до земли свисал конец кубового платка.

— Вы, Михал Михалыч, знали Ивана Павловича? Ну, вот с ним тоже случай был... — снова заговорил Сосунов.

Корцов перебил его:

— Таких случаев я тебе тыщи расскажу! Сколько их прошло через мои руки? — мотнул он головой на жеребенка. — Огромадных денег стоили мне эти самые курбы, глупой тогда был, не разбирался... Без специальности ее разве заметишь?!

— На бега, что ль, привел? — снова повернулся он к Никите.

— На прыз поедет! — упавшим голосом сказал Никита.

— Поедет-то он, может быть, и поедет, — ухмыльнулся Корцов, — ну, а приедет-то навряд! С этакой курбой за призом ему ехать да ехать...

— У жеребенка-то курба! — подошел к Никите и Сосунов. — Какие тут бега! На первой езде обезножит!

— В Москве дураков ищут, в деревне-то, должно, их не осталось! — с деланной злобой в сторону проговорил Корцов. — В чайную, что ль, пойдем, Михал Михалыч? А ты не пойдешь? Пойдем! — позвал он Культяпого.

Семен Андреич остался сидеть на камне. За все время он ни одним словом не вмешался в разговор. Нюхал, сморкался и вытирал слезившиеся глаза. Никита привязал жеребенка и подошел к нему.

— Что за люди были, дедушка?

Семен Андреич подобрал кубовый платок и потупился. Сидел он без картуза, лысый, белый, старый и вздыхал. И камень, на котором он сидел, был древний, изъеденный дождями и ветрами.

Всю долгую жизнь свою прожил Семен Андреич с людьми конного дела. Не одна тысяча кобыл и жеребцов была куплена и продана на его глазах и при его участии. И при всякой продаже и купле приходилось кривить душой и обманывать. Таким уж делом была исстари конская торговля. Без подвоха да лукавства не делалась она. На обмане работали все — и мелкие маклаки, у которых ломаного гроша никогда за душой не было, и барышники, и уважаемые всей Москвой-матушкой почтенные конные торговцы, ворочавшие тысячными капиталами. И обман был разный: у мелкого маклака — грубый, цыганский, он не останавливался перед тем, чтобы замазать треснувшее копыто, стачивал зубы, уменьшал лета лошади, опаивал коня разными снадобьями и т. п.; у почтенных и капитальных торговцев обман был совсем другой, все больше словесный и тонкий, как у адвоката настоящего. Сам торговец почти и не участвовал в нем. За него работали другие, которые помельче и не самостоятельные, мошкара работала, и, когда покупка или продажа совершалась, выходило так, что не обманули человека, а вроде как благодеяние ему оказал какой-нибудь, к примеру скажем, Михал Михалыч Груздев... Усвоил и знал до тонкостей Семен Андреич все обманные приемы, и цыганские и капитальные, сам прибегал к ним, другим помогал, и никогда ему и в голову не приходило, что нехорошо это и грешно. Задумался он над этим в самое последнее время, с той поры, как начали сниться ему жеребцы... В сундуке и перине, на которой он спал, были запрятаны деньги — николаевские и золото, скопленные им за долгую работу. Когда-то Семен Андреич думал в конце дней своих пожертвовать вклад в Донской монастырь. Теперь он поколебался в своем благочестивом намерении. Новая власть отобрала церковные ценности. Сама неделимая и единая до сих пор церковь православная раскололась, все перепуталось, и душа, мечтавшая о последнем прибежище и

молитвах праведных отцов за грехи ее, вдруг стала бездомной, брошенной на произвол судьбы, и грехи тяжкими веригами повисли на Семене Андреиче...

Вот почему в первый раз в жизни, сидя на древнем, изъеденном временем камне, во дворе известного всей Мытной плута Сашки Культяпого, он не единым словом не вмешался в обманный разговор людей, с которыми не один десяток лет в согласии делал привычное дело конской торговли...

Глядя вниз, в землю, на поблекшие резиновые калоши свои, которые носил он вместо сапог для спокойствия ноющих ломотой ног, Семен Андреич со вздохом ответил Никите:

— Все мы люди и человеки, голубь...

Выговорил и долго потом молчал...

— С разговору видать, по конскому делу? — спросил Никита.

— Первейший конный торговец по всей Москве был, который с бородкой,—поднимая голову, заговорил Семен Андреич, — Груздев Михал Михалыч, и уважаемый человек самый был, его превосходительству генерал-губернатору дышловую пару серых, в яблоках, продал; а с ним, который высокий, — Корцов Григорий — тоже по своей специальности. А третий — Васька Сосунов, та-ак, шилишперишко: кроме брючишек клетчатых да шляпенки, никакой личности нету!

— А чего они приходили-то, дедушка? Спужался насмерть я, думал — отбирать пришли!

— Приходили они, голубь, за своим делом... А дело ихнее — где купить, где продать, где менка сделать. За этим самым и приходили и еще придут: жеребенок твой приглянулся им! За этим и пришли. По вкусу пришелся, жеребенок у тебя хоро-оший, цельный жеребенок, денег стоит... За этим и пришли!

Семен Андреич закряхтел, завозился на камне, понюхал из берестяной табакерки и смолк.

— А ты, дедушка, из каких будешь?—спросил Никита.

— Я-то?.. По конному делу, голубь, по конному. Мы тут все одного поля ягодка.

— Торгуешь?

— Торговля теперь прикончена, отторговались!.. Порядки теперь новые пошли... Жеребцов легчил я, пятьдесят лет по специальности работал, голубь!..

— Коновал, стало быть?

Семен Андреич помолчал, переложил из одной руки в другую табакерку и протяжно вздохнул.

— А теперь отработался... Помирать скоро! Жеребцы сниться зачали!

И рассказал Никите свои страшные сны. Никита внимательно выслушал и проговорил убежденно:

— Мерин в хозяйстве поспокойнее и тело держит лучше, а насчет обидного положения, конечно, справедливо говоришь! Но только я тебе скажу, дедушка, от хозяина все; иной жеребец позавидует мерину...

Никита подумал, усмехнулся и, кругнув головой, продолжал:

— Ежели бы человека взять на такое положение, то тут действительно срамотно очень!.. В Тамбовском уезде в двадцатом году банда орудовала шибко. Прихватила раз пятерых агентов по яичному делу, городских, да и учинила с ними, как все одно ты с жеребцами... Тут, конечно, одна вредность, а ты к пользе все делал, и опять же — лошадь нельзя равнять к человеку...

— Ан вот и снятся, — сокрушенно проговорил Семен Андреич, — кому польза, а им, выходит, вред. Так-то, голубь!

Он поднял к Никите слезящиеся глаза цвета сыворотки и, с видимым усилием превозмогая живучую полувековую привычку к правилам торгового конского дела, торопливо заговорил о Корцове, Михал Михалыче и Культяпом...

— Ты ихним словам не внимай. Никакой курбы у жеребенка твоего нету! Опутать хотят задарма... Человек, который не специальный, поверить их словам может, а ты не внимай! Легковерный человек в таком деле самый последний человек. А еще вот чего скажу тебе под великим секретом: жеребенка свово ты отсюдова уводи, соблазн в нем большой, и до греха близко — охрометь он может ту-ут...

Последние слова Семен Андреич произнес шепотом; собрал в кулак кубовый платок свой и встал.

— Прощай, голубь!.. А что сказывал — на ус замотай да проглоти!

Сгибаясь в пояснице и шмыгая соскакивающими глубокими калошами на красных шерстяных чулках, старый коновал поплелся к воротам.

Лутошкин приехал на Мытную после обеда, как обещал. Молча и деловито осмотрел Внука, не замечая на-

пряженного внимания Никиты, следившего с тревогой за каждым его движением и за выражением лица. Кончив осмотр, сказал равнодушно:

— По себе жеребенок не плохой.

И опять Никита огорчился. Лутошкин говорил о его Внуке так, как будто Внук был самой обыкновенной лошадью. И ему захотелось рассказать Лутошкину все, чего тот не знал о жеребенке, о его страшной резвости, когда жутко бывает сидеть на телеге, о необыкновенной его выносливости и о многом еще...

— Надо посмотреть его в езде, — как бы отвечая на мысли Никиты, проговорил Лутошкин, — я пришлю сегодня конюха сюда, ты отведешь вместе с ним жеребенка ко мне на Башиловку. Завтра прикину, посмотрю, тогда и разговаривать будем.

Лутошкин взглянул на часы браслеткой и пошел со двора разбитой наезднической походкой. Обиженно смотрел ему в спину Никита...

В воротах Лутошкин столкнулся с запыхавшимся Культяпым. Оглянувшись на Никиту, стоявшего посреди двора, Культяпый тихо сказал Лутошкину:

— Вас Григорий Николаич в чайную просит зайти.

— Он с кем там? — спросил Лутошкин.

— Михал Михалыч там, Вася Сосунов...

Корцов, лишь только сутуловатая фигура Лутошкина появилась в дверях чайной, застучал ложечкой по блюдцу, подзывая служащего.

— Стаканчик дернешь? — здороваясь с Лутошкиным, спросил он вместо приветствия.

— Давай!

— Тащи! — мигнул человеку Корцов. — Да яишницу с колбасой, поживей!

Сосунов прищурился и задвигал ладонь о ладонь.

— Э-э, люблю такие дела!.. Колбаску-то, смотри, не очень подсушивай! — крикнул он вслед человеку и, не вытерпев, сорвался с места. — Подожди, я сам сейчас... И исчез в кухне.

— Ну что, видал? — спросил Корцов Лутошкина. — Ловак човый!

— Хороший жеребенок, — серьезно сказал Лутошкин.

— Мы утром смотрели нынче... Покупателя на жеребенка можно в два счета найти, заработать можно хорошо. Ты как?

— Что? — в глаза Корцову посмотрел Лутошкин.

Корцов засмеялся. Смех у него был невеселый и царапал, как проржавленное железо.

— Не знаешь что?.. Брось, Алим! Маса можно обкрутить, как хошь! Твое дело маленькое, только подначь, а отначка от тебя не уйдет, — заговорил Корцов, понижая голос, — что он понимает? Лохов[1] — их учить надо, а то повадились, — чуть что — в Москву!.. Прызы хотят получать! Ты скажи только: ни в какую не едет, он и затыркается с ним, а уж мы его не выпустим!..

Культяпый, сидевший за соседним столиком, подсел с подленькой мокрой улыбкой и вмешался в разговор:

— На мое мнение, его наперво охромить надо, раза два веревкой под щеткой передернуть — и готов! А куда он с ним, с хромым, денется?.. В прошлом годе привел один мас из Пензенской ардена, то-ова-ар — что надо! А мы возьми да и подошли Пашку Шишкова. Знаете, он какой — с портфелем, в галифах и наган сбоку, настоящий вечека! Жеребец у меня стоял. Так и так, говорит, лошадь самая подходящая в артиллерию, по казенной расценке... А сам записывает: кто хозяин, откуда и все прочее. Мас и заметался, туда-сюда, то к одному, то к другому, то в чайную, а народ, знаешь, свой везде, ну и, конечно, со всех сторон и подначивают. Так за полцены и бросил, а сам — ходу.

К столику подошел с шипящей сковородкой служащий, а за ним, подпрыгивая, Сосунов, улыбистый, подмигивающий и сладострастный. Крякнув, он поставил на стол темную бутылку с изюмным самогоном и начал распоряжаться:

— Разговоры потом будете разговаривать! Опоражнивай в два счета! Не ровен час — зайдет какая-нибудь сволочь, подведем Ивана Петрова... Э-эх, товар хорош! — прищурился он на стакан с самогоном, поднимая его к свету. — Вне конкуренции, никакой белоголовки не захочешь! Будьте здоровы!..

Лутошкин знал всех этих людей не первый год. Раньше делал с ними дела: покупал у них, продавал им не раз лошадей... Раньше каждый из них был неуемным дельцом, работающим двадцать часов в сутки, рыскающим неутомимо из одного конца в другой по всей России в поисках за товаром...

Чем они жили теперь?! Никто из них не служил и

---

[1] Лох — мужик, деревенщина. (*Прим. авт.*).

служить не хотел. Ни у кого не было определенного дела. На что они надеялись?!

— Чего же скажешь, Алим?.. Покупателя на жеребенка, говорю, однова плюнуть — найдем! — заговорил Корцов, возвращаясь к начатому разговору.

— Ничего из этого не выйдет, Григорий Николаевич! — твердо ответил Лутошкин.

Жесткие подстриженные усы Корцова дернулись. Заносчиво он спросил:

— Это почему же?

— Не выйдет, Гриша.

— Что ж, аль в честные записался? — с глазами, заострившимися злобой, спросил Корцов.

— Жеребенка я буду работать.

— За именными поедешь? — ухмыльнулся Корцов.

— А какая вам, Алим Иваныч, от этого польза есть? — слюнявя, вмешался Культяпый. — Тут дело чистое, деньги на бочку...

Лутошкин встал.

— Больше ничего не скажешь? — спросил Корцов, играя злыми глазами.

— Прощай, — протянул ему руку Лутошкин и, не слушая покончившего с яичницей Сосунова, пошел, сутулясь, к дверям.

3

Филипп всегда пил и всю жизнь питал неодолимое влечение к жидкостям со спиртным запахом. События революционных лет и коренные изменения в окружающей жизни прошли в его мутном сознании, как облака, не оставив никакого следа. Если заходил разговор о первых днях революции или о каком-нибудь событии восемнадцатого—девятнадцатого года, Филипп определял это время по-своему: «Когда пили лак и политуру». Иных признаков его память не сохраняла.

Получая, как конюх, от администрации ипподрома ценные вещи в поощрение за выигранные Лутошкиным большие или именные призы (Филипп служил в одной конюшне с Лутошкиным), Филипп в тот же день приносил полученную вещь в чайную, к Митричу, и, передавая ее, никогда не торговался в цене, усаживался тут же за столиком и пил день, два, три, до тех пор, пока Митрич, подсчитав сумму, на которую было выпито, не заявлял ему коротко:

— **Финиш.**

— Резво уж очень приехал-то! — пытался поторговаться Филипп, но Митрич был неумолим.

— Вот это кла-асс! — вздыхал сокрушенно Филипп и, подсаживаясь к чужому столику, переходил на «тротт», как называл он чаепитие...

Получив от Лутошкина распоряжение ехать на Мытную за жеребенком, Филипп первым делом вспомнил о ракитинской чайной, где он не бывал уже целую вечность и где раньше всегда водился великолепный изюмный самогон. Сидевшие в чайной Корцов и Культяпый встретили Филиппа с затаенной враждебностью. Они сразу догадались о цели его появления на Мытной.

— Должно быть, хорошо вам живется с хозяином при советской власти! — с ухмылкой сказал Корцов, посматривая на опухшее небритое лицо Филиппа. — Ишь, как разнесло фотографию! Сдобные пироги, должно, кушаете?

— Советская власть до нас не касается, — ответил Филипп с полным убеждением, что это действительно так. В его представлении мало что изменилось с революцией. Конюшни остались. Наездники остались. Лошади бегают. Тотализатор работает, только ставки переменились — доступнее стали: раньше — десятка, а теперь — трояком можно играть. Конюхи — как были конюхи, так ими и остались. Владельцы, правда, те поразорились, сошли вроде как на нет...

И Филипп добавил:

— Мы не владельцы, что нам власть!..

— Вы теперь сами власть, рес-пу-бли-ка, — язвительно протянул Корцов, — пролетарии всех стран... Э-эх, и доберутся же когда-нибудь до вашего брата, — с неутоленной ненавистью вздохнул он, — таку-ую революцию вам пропишут — дым пойдет!.. Не будь я Корцов, если сам вот этими руками давить вас дюжинами не буду!

Филипп равнодушно посмотрел на его пальцы, свирепо сжавшиеся в кулаки, и сказал:

— За жеребенком я приехал. Самогончиком не угостите, Григорий Николаич?

— С какой радости? От хороших делов? Ты за жеребенком приехал, а я тебя угощать буду! Мой, что ль, жеребенок-то? — грубо проговорил Корцов.

Филипп повел глазами по пустым столикам вокруг и вздохнул.

— А бывало, за кажным столом народ!.. — проговорил он, ни к кому не обращаясь, и съежился, словно ему было холодно, и засунул руки глубоко в обтрепанные рукава коричневого грязного пиджака. Обрюзгшее, воспаленное лицо его было покрыто бурой щетиной, из-под картуза топырились космы сальных, давно не мытых волос, а мутные глаза, остылые и ко всему безразличные, казались невидящими.

Культяпый, наваливаясь на стол грудью, тронул его за рукав.

— Хочешь одно дело обстряпать? И угощенье и лава[1] будет!

Филипп равнодушно посмотрел на него и ничего не ответил.

У Культяпого были тонкие светлые усы и в ухмылке всегда мокрый рот. Он быстро взглянул на Корцова и продолжал:

— Твое дело будет маленькое, раз-два — и готово!.. Жеребенка-то видал?

— Брось, Николай! — резко оборвал его Корцов. — Аль не видишь, он со своим барином в честные записался? Именные стали выигрывать...

Безразличные глаза Филиппа передвинулись с лица Культяпого на обветренное, жесткое лицо Корцова. И, словно только теперь дошла до его сознания фраза, сказанная Корцовым в начале разговора, он спросил:

— За что же вы, Григорий Николаич, удавить меня хотите? Вредного от меня вы ничего не видали... Сейчас в трамвае еду, трамвай трясет; нарочно наступить на ногу я не позволю, ну, а тут наступил одному. Он давай меня всяческими словами крыть. Я говорю: «Виноват, трамвай трясет!», а он не принимает во внимание, я в замешательстве другому наступил на ногу. И этот начал... Так и слез до остановки! Жизнь стала злая, Григорий Николаич...

— Алим говорил тебе чего о жеребенке? — перебил его Корцов.

— Отвесть его на Башиловку, а больше ничего.

— У Митрича завтра будешь? Шукни, как едет, я вечерком приду, там и бодяги дернем.

Лицо Филиппа стало вдруг скучным.

— И пить-то неохота, — раздумчиво проговорил он, — Алим Иваныч кажный день строчит: «Брось, Филипп,

---

[1] Лава — деньги. *(Прим. авт.)*

вылетишь ты со службы, прогонят...» Нипочем не верит, что пью я безо всякого удовольствия и охоты. Бросить мне ничего не стоит!.. Иной раз купишь бутылку и закуску хорошую, придешь домой, расставишь все на столе честь-честью, сестра капустки принесет... И вот сидишь и смотришь, а в роте сухо и никакого вкуса... Сидишь и смотришь. Так иной раз и не притронешься, а если и пересилишь себя — сразу опрокинешь в кружку и без закуски — хлоп!.. И иттить никуда не охота, и лошади скушные стали... Прощайте, Григорий Николаич, пойду я... Народу-то никого у вас тут нету, — встал он, — у Митрича полюдней, а тоже вроде никого... Прощайте, Григорий Николаич.

Культяпый вышел вместе с Филиппом.

— Слушай, Филипп, — заговорил он торопливо, лишь только они вышли на улицу, — Михал Михалыч за жеребенка этого сейчас две тысячи выложит, на твою долю отначка хорошая будет, ни одна душа не догадается... Вспрыснул — и готово!.. Куды он с хромым денется, не миновать продать? Жеребенок чо-овый, Михал Михалыч зря не станет языком трепать.

Филипп слушал и не возражал. Съежившись, глубоко засунув кисти рук в рукава, шел рядом с Культяпым и смотрел себе под ноги.

Никита, когда увидел его, сразу решил:

— Пропащей души человек!..

И то, что Филипп пришел во двор вместе с Культяпым, породило в нем смутную тревогу за судьбу своего серого Внука.

4

С огромным изумлением смотрел Никита на жизнь призовой конюшни, открывшей перед ним свои двери. Все здесь было чудесно. И длинный светлый коридор с решетчатыми дверями по обеим сторонам, и просторные чистые денники, и никогда не виданные принадлежности упряжи: ногавки, резиновые башмаки для копыт, пушистые подхвостники, белые фланелевые бинты и берцовые кольца. А маленькие двухколесные американки казались игрушками по сравнению с деревенскими средствами передвижения.

У себя в Шатневке, ухаживая за Внуком, Никита знал, что никто еще во всем селе так не ухаживал за лошадью, никто не чистил два раза в неделю катух, как он, а если и чистил в месяц раз кто-нибудь, то не для пользы лошади

а для того, чтобы собрать драгоценный навоз и вывезти в поле. В Шатневке Внук был равноправным членом семьи и работал, как работали все. Здесь — каждая лошадь была на барском положении: пожрет, попьет, прогуляется в легонькой игрушечной двухколеске — и опять на покой.

«Во-о куды мы с тобой попали! — мысленно обращался он к Внуку. — Как же опосля таких делов в соху тебя запрягать? Ведь это что такое?»

— Чистил ты его, должно, в год раз! — сердито бросил Филипп Никите, работая скребницей и щеткой. Скребница была, как мукой, обсыпана перхотью.

— Ты уж сделай милость, не серчай, — виновато проговорил Никита, — ежели что подмогнуть, я с расположением во всякий момент.

У серого Внука, так же, как и у его матери, была привычка ласково прихватывать губами подходящих к нему людей за плечо, за рукав, за головные уборы. Прихватит, подержит и отпустит. Улучив момент, когда голова Филиппа оказалась близко, Внук захватил картуз и стащил его.

— Балуй?! — свирепо вскрикнул Филипп, слегка испуганный, и замахнулся скребницей.

— Не пужайся, не пужайся! — быстро вмешался Никита. — Замашка у него эдакая, жеребенок — смирней не сыщешь! И у кобылы в точности так было.

— А я почем знаю, какая у него замашка! — огрызнулся Филипп. — Мало их, людоедов, перебывало в моих руках, не знаю, как голова на плечах осталась!..

Никита знал, что Лутошкин сделал пробную проездку на Внуке, но Лутошкина после езды не видел и мучился нетерпением узнать что-нибудь о своем питомце. И робко заговорил:

— Вот чего я хотел спросить тебя, мил человек... Прыз, скажем... — Он на минуту замялся. — Прыз этот самый, скажем, кажная лошадь, скажем, получить его могёт?.. По положению, значит, ежели форменно перегонит одна другую. К примеру, мой жеребенок, скажем...

Филипп презрительно усмехнулся и продолжал работать скребницей и щеткой. Никита помолчал и продолжал заискивающе:

— Народ мы, сам знаешь, темный... Какие у нас, в Шатневке, лошади!.. А вам все известно, все положения... Скажем, мой жеребенок, например... Он, конечно, деревенский и правилов не знает, какие есть тут, в Москве.

Ежели на прыз его пустить и вот, скажем, обгонит он какую московскую по всем то есть правилам, тогда обязательно прыз ему приподнесть могут?

— Прыз! — передразнил Филипп и насмешливо добавил: — За призами вас много приезжают, а сколько с призами уезжают?

Никита вздохнул и задумался.

В конюшню вошел Лутошкин. У него было веселое лицо.

Таким его Никита ни разу не видел, и это его ободрило.

— Узнал жеребенка-то? — улыбаясь, спросил Лутошкин Филиппа, входя в денник.

Филипп выбил скребницу и поднял на Лутошкина равнодушные, потухшие глаза.

— Какого жеребенка?

— Лесть помнишь?

Некоторое время Филипп продолжал смотреть на Лутошкина тем же стылым, безразличным ко всему взглядом, потом передвинул глаза на Никиту. На небритом, обрюзгшем лице отобразилось недоумение. Пробормотав что-то неразборчивое, он повернулся к Внуку.

— От нее ведь жеребенок-то! — воскликнул Лутошкин. — Разуй глаза, присмотрись хорошенько!

— Чего зря говорить? — заворчал Филипп, но глаза его, по мере того как он всматривался в серого жеребенка, оживали, на лбу появились складки, словно от припоминания давно забытой боли. И, обернувшись, он еще раз посмотрел на Лутошкина. Лутошкин улыбался, и улыбка у него была хорошая, не обманная.

— И не сумлевайся нисколечко, — вмешался вдруг Никита, — от нее самой. Правильно сказываю! И на лбу у его, в точности как у кобылы, отметина...

Под челкой у Внука был белый маленький полумесяц.

Филипп сделал движение рукой, будто собирал с лица невидимую, мешающую глазам паутину, и, все еще недоверчивый, спросил:

— Неужто от нее, Алим Иваныч, от Лести?

— Сказываю — не сумлевайся! — заговорил опять Никита. — А деда Тальоном звать, жеребец знаменитый, на прызу бегал...

— Тальони он знает! — прервал его с улыбкой Лутошкин. — Пойдем-ка, Никита Лукич, побалакаем о деле. Жеребенка я проезжал сегодня...

Во дворе Лутошкин уселся на бревна, сваленные у забора, и заговорил не сразу. Никита неотрывно смотрел на его лицо и жадно ждал. Лутошкин был в этот момент для него всемогущим человеком, от которого зависела судьба серого Внука, и, когда подняв голову, сказал он: «Приз на жеребенке я возьму!» — Никита расплескал обуявшую его радость в торопливых, несвязных словах о достоинствах серого питомца своего... Опустился на землю против Лутошкина; по-мужицки, пятками в зад, подвернул под себя ноги, и, доселе чужой и суровый, наездник на Башиловке стал вдруг ему близким, и понятным, и добрым.

— А что ты с ним будешь делать после бегов? — спросил Лутошкин.

— Это то есть как? — не понял Никита.

— Я спрашиваю: куда денешь его после бегов?.. Опять к себе в деревню?

— А как же? — удивился Никита странному вопросу. — Всенепременно в Шатневку! Это уж так!

Лутошкин вздохнул и помолчал.

— А продать его не хочешь?

— Непродажный он, Алим Иваныч! — серьезно ответил Никита, и его лицо стало строгим.

— Почему? Тебе за него хорошие деньги могут дать. Тысячи две с половиной сейчас дадут.

Сумма, названная Лутошкиным, была огромна... как огромна Москва по сравнению с Шатневкой. В мозгу Никиты мгновенно возник четкий ряд хозяйственных соображений. Плужок, черепица на крышу, теплый стеганый пиджак и штаны Семке, хомут у шорника Арсентия... Потом же обязательно перекрыть под глину ригу...

— Деньги огромаднейшие! — раздумчиво проговорил он.

— Ты сам рассуди, — продолжал Лутошкин, — поведешь в свою Шатневку его, будешь пахать на нем, возы возить, ни правильного ухода, ни корма, как полагается, резкой с отрубями будешь пичкать... Пропадет жеребенок, а жеребенок способный, при работе из него большой толк выйдет. Держать в Москве специально для бегового дела ты его не можешь. На это надо деньги, а у вашего брата их нет.

— Какие у нас деньги!..

— Ну, во-от!.. Тебе в хозяйстве хорошая рабочая ло-

лошадь, матка, полукровка какая-нибудь нужна, а рысак ни к чему!

— Кобыла в крестьянстве первое дело, — согласился Никита.

— За эти деньги, знаешь, какую кобылу можно отхватить, любо-дорого смотреть будет!

Никита заскреб в затылке.

— Эх, у нас в выселках трехлетка продается, восемь сот спрашивают... Ну, скажи, не лошадь — печь! Что в спине, что в грудях! — проговорил он с завистливым восхищением.

— Две с половиной за жеребенка сейчас дадут, а может и все три сумеем натянуть, — продолжал Лутошкин.

Никита вздохнул и задумался.

Лутошкин внимательно посмотрел на него, звучно перекусил соломинку и встал. Губы мазнула усмешка.

— Подумай, Никита Лукич, ты — хозяин... — усталым и равнодушным голосом проговорил он, — подумай и решай! Покупателя я найду, для бегового дела жеребенок интересный, а тебе ни к чему!..

Никита тоже встал. По-ямски, низко на глаза надвинул картуз с просаленным козырьком и, словно выворотил лопатой тяжкую земляную глыбу, выговорил:

— Непродажный он.

Лутошкин дернулся. Перекинул к лицу под засаленным козырьком стремительный пролет глаз и затаился. Никита сел на бревно. Так же, как Лутошкин в начале разговора, уставился в землю и долго молчал, а Лутошкин стоял перед ним и жадно ждал.

— Не для продажи великую заботу на него положил, Алим Иваныч!.. Не говори ты мне про это ничего, Христа ради. Не продам!

Слово за слово, неторопливо пересказал Никита Лутошкину все дела и дни свои с того самого памятного времени, когда избитый Семка привел во двор паршивую клячу, кривую на один глаз и чесоточную, едва стоявшую на ногах... Рассказал о свирепом Пенькове и всех его притеснениях, о голодном годе, об опухших ногах Семки, о ржаных сметках и отрубях, которые утаивал он на потолке катуха от Настасьи и сына... И, кончив рассказ, задумался над той страшной ночью, когда пытался кражей добыть корм для кобылы и жеребенка...

— Из-за него чуть человека в себе не потерял!.. — сурово заключил он.

Внимательно слушал Лутошкин. Сутуля по-наезднически широкую спину, ходил вдоль бревен, останавливался перед Никитой, смотрел на его старенький картуз, пиджак из солдатского сукна и видел сквозь слова его живую жизнь, столь непохожую и столь отличную от жизни его предшественника, бывшего хозяина Лести, Аристарха Бурмина. И не только Бурмина... Отодвинутая вместе с Бурминым в прошлое, жизнь оживала по-новому. От слов Никиты протягивалась трепетная нить к лошади, и среди других лошадей конюшни серый Внук как бы очеловечивался, переставал быть только лошадью и начинал жить жизнью, слиянной с жизнью и Никиты и самого Лутошкина. И отказ Никиты продать жеребенка отзывался в душе нежданным звоном радостности, и у Лутошкина было такое ощущение, будто он нашел что-то потерянное...

Подошел Филипп, присел на бревно рядом с Никитой и заговорил о жеребенке. Лутошкин не удивился, улавливая в его голосе взволнованные нотки. Он и сам был взволнован; по-хорошему взволнован, по-настоящему...

— Концы с концами-то где сходятся! — говорил Филипп. — Жизнь более всех нас чудная... Девять лет прошло, а все одно как и не прошло. Присмотрелся — вылитая мать... Эх-х, и тревоги из-за нее было, ночей не спал, с ребятами до драки доходило. Вы вот, Алим Иваныч, попрекаете завсегда, а на мой взгляд, без тревоги ежели человек, — ну, должен обязательно пить и зачнет, ей-богу, зачнет...

— Кобыла-то, значит, к тебе попала? — помолчав, заговорил он к Никите. — Чудная жизнь... Прежний ее хозяин в Москве, здесь... И все чего-то пишет; как ни придешь в чайную, а он сидит и пишет, сидит и пишет, как все равно наваждение какое, — иной раз аж не по себе станет, впору перекреститься... Борода че-ерная, глаза светятся, сидит и пишет, а что пишет, кому пишет — ничего не известно...

Филипп съежился и засунул руки в рукава пиджака.

Лутошкин подсел к Никите и тронул его за руку.

— Слушай, Никита Лукич, — заговорил он тихо, — приз на жеребенке я возьму... Но только вот что: если ты не хочешь, чтоб жеребенок после первой езды рассыпался — дай мне его подготовить к призу. Недельки через три я приведу его в должный порядок, сейчас он не в формах, сыроват... Поезжай к себе в Шатневку и жди от меня письма. Без тебя записывать на приз не буду. А если

не согласен на это — забирай его сейчас от меня, веди к другому наезднику. Другой наездник не хуже меня проедет на нем, а я калечить жеребенка не хочу, на таком, какой он сейчас, — не поеду... Жеребенок дельный.

Никита радостно задумался.

На другой день вечером, перед уходом на вокзал, Никита зашел к Внуку в денник. Узнав хозяина, Внук радостно забормотал губами и, заметив полезшую в карман руку, потянулся к ней. Получив огрызок сахару, припрятанный Никитой от чая, сладострастно хрупнул им и привалился к Никите плечом.

— Ну, Внучек, — вздохнул Никита, — стой тут!.. Поеду я... Стой, стой!.. Возвернусь к тебе через двадцать дён. В Шатневку, к нам, поеду... Человек он не плохой, видать; справедливый человек и без обману. В Москве тут народу всякого водится, есть который хороший, а есть который и плохой совсем и враг... Стой, милый, стой в спокойствии... Прощай, Внучек!..

Никита перекрестил жеребенка и торопливо вышел, вытирая глаза.

5

В чайной с синей вывеской «Свой труд», недалеко от Тверской заставы, сидел Аристарх Бурмин и что-то вписывал бисерным почерком в истрепанную записную книжку. На нем была старенькая, заплатанная поддевка когда-то синего цвета, теперь выгоревшая и словно облысевшая. По-прежнему выпрямленный, сухой, он в неприкосновенности пронес через всю революцию великолепный черный квадрат своей бороды. Надломив в талии туловище, огрызком карандаша писал, зачеркивал, и у него шевелились усы. За соседним столиком компания бывших лошадников пила из-под полы водку. Придушенный, хрипучий голос одного из них тужился убедить своих собеседников в выгоде какой-то сделки, божился и клялся, призывая в свидетели умершего Ивана Кузьмича, и, передохнув, начинал снова:

— Понимаешь, не упусти-ил, нипочем не упустил бы, понимаешь, са-ам, сам бы обстряпал... Верное дело, дармовое! Ну, силов нету... До ручки дошел. Весь кончился! Был Хохряков — и нет больше! На вот, смотри...

Говоривший достал из внутреннего кармана драпового

с бархатным воротником дипломата бережно свернутую беговую программу дореволюционного времени, развернул ее и ткнул пальцем в один из заездов.

— Видишь? Читай!

И сам прочитал:

— «Кумушка, караковая кобыла Степана Федоровича Хохрякова...» Видишь, какой я есть старый охотник! А компания какая ехала с кобылой, посмотри! Телегинские две, Вяземского, лихтенбергский жеребец, читай... Митрич, поди-ка сюда! — обернулся он к стойке. — Ты ведь помнишь мою кобылу караковую, от Соловья и Кумы?..

Бывший владелец трактира на Башиловке, по-прежнему круглоликий и приятный, не выходя из-за стойки, подтвердил...

— В две тридцать была весной...

Аристарх Бурмин взглянул на владельца караковой кобылы и презрительно усмехнулся... У него на заводе было двести четырнадцать голов...

Кашлянув, продолжал писать:

«...путем тщательного наблюдения и изучения конского материала, подвизающегося на современном ристалище, мы с полным убеждением говорим: вся сия резвость, прославляемая невежественной властью как результат новых порядков, есть плоды прекрасного сада, возделанного нашей рукой и теперь обрываемые дерзким татем... Таблица, предлагаемая нами вниманию всех тех, кто еще не утратил чести и сознания, подтверждает точными цифрами наше суждение...»

— Все пишете, Аристарх Сергеич? — не без насмешки проговорил Лутошкин, только что вошедший в чайную. — Давай лучше чайку выпьем! Митрич, пару чаю да закусить что-нибудь!

Давно как-то, в этой же чайной, Лутошкин случайно оказался свидетелем сцены, вызвавшей в нем презрительную жалость к Бурмину. Было это накануне воскресного бегового дня, вечером, когда маленькая тесная чайная до отказа набилась барышниками, наездниками и другим людом, питающим страсть к ипподрому. Одна из компаний, наглотавшаяся водки, поскандалила и от словесных убеждений перешла к физическим. Половина посетителей приняла самое живое участие в заключительной части диспута. Загремели опрокинутые столики, зазвенели тарелки и стаканы, солянки и яичницы распластались жирными бликами по полу, в разные углы покатились толстые кру-

жочки колбасы, и вот тут-то, в сумятице рук и ног, совсем близко от своего столика, Лутошкин увидел вдруг две торопливых руки, бегающих по заплеванному полу в погоне за колесиками колбасы и за кусками булки. На указательном пальце одной из рук был знакомый широкий золотой перстень Аристарха Бурмина...

С той поры Лутошкин часто подсаживался к столику, за которым сидел Бурмин, и, не спрашивая его, заказывал Митричу солянку, яичницу или еще какое положительного свойства блюдо. А однажды предложил ему денег. Аристарх Бурмин поблагодарил и отказался. Причем сказал:

— В эпоху узаконенных хищений и государственного мотовства гражданская доблесть отмечена неподкупностью и бедностью Диогена.

Но яичницы и солянки Бурмин ел с аппетитом и всегда пользовался предлагаемыми ему Лутошкиным контрамарками на право бесплатного посещения ипподрома в беговые дни.

— Жеребенка мне интересного привели, Аристарх Сергеевич! — заговорил Лутошкин, выждав, когда Бурмин покончит с едой. — Чертовски способный...

В рогатку из большого и указательного пальцев Бурмин пропустил бороду, захватывая ее снизу, от горла, потом пригладил сверху вниз, скосил глаз на один ус, оттягивая его, на другой, и проговорил:

— Способного молодняка должно быть с каждым годом меньше.

Лутошкин улыбнулся.

— Так ли, Аристарх Сергеевич? А посмотрите, как бежит молодняк! Такой резвости вам и не снилось в прежнее время.

— Рысистое коннозаводство вымирает так же, как вымирает лучшая часть человечества, — упрямо проговорил Бурмин и с ненавистью покосился на номер журнала по коневодству, который вытащил из кармана Лутошкин.

— Вот смотрите, — Лутошкин раскрыл перед Бурминым таблицу на одной из страниц журнала, — разве раньше было столько молодняка с резвостью в две двенадцать? А теперь это обычное явление!

— Чушь! — оборвал его Бурмин, отталкивая журнал.

— Нет, Аристарх Сергеевич, не чушь! — серьезно проговорил Лутошкин. — Национализация частных конзаводов принесла прекрасные плоды! Я совершенно убежден, что у нас скоро появятся рысаки с такими рекордами,

о которых вы, частные коннозаводчики, и мечтать-то не смели!

— Рысистое коннозаводство вымирает, как вымирает дворянство! — упрямо повторил Бурмин. — До семнадцатого года преступно метизировали орловского рысака, сейчас метизируют всю Россию. Россия обречена. И ваш жеребенок — отпрыск прошлого, отпрыск трудов дворянства и погибшей России.

— А вы угадали! — засмеялся Лутошкин.

Бурмин смолк, подумал и сказал:

— Угадывают гадалки и шарлатаны.

— Нет, правда, угадали, Аристарх Сергеевич! Жеребенок-то от вашей кобылы. Пом-ни-те Ле-есть?..

Бурмин дрогнул.

— Черт знает, какой способный жеребенок, — с улыбкой снова заговорил Лутошкин, — не работанный, едет полуторную без десяти! Весь в мать. Широкий, ловкий и с большим сердцем... А выходил его и воспитал простой рязанский мужик...

— Я его создал! Я его хозяин! — воскликнул Бурмин в лицо Лутошкину и стремительно выпрямился во весь рост, вставая из-за столика. Мгновенье он смотрел сверкающими горячими глазами на Лутошкина. Потом топнул ногой и, гордо неся запрокинутую вверх голову, вышел из чайной...

На Ленинградском шоссе Бурмин сел на скамью, против ворот аллеи, ведущей к ипподрому. Вздыбленные кони, украшающие с обеих сторон въезд в аллею, были его любимым зрелищем. Неуемно рвущиеся из мускулистых рук человека с телом гладиатора, они пережили революцию. Они были те же, что и восемь лет назад. Такие же кони были над воротами конюшни в заводе Аристарха Бурмина...

6

К часу дня длинная аллея, идущая от Ленинградского шоссе к ипподрому, стала похожей на оживленную улицу где-нибудь в центре города, улицу без магазинов и домов... Слева — серый забор, асфальтовая панель, обсаженная деревьями, и вместо мостовой усыпанная толстым слоем песка дорога, стремительно уносящаяся к маячившему вдали своей фигурчатой крышей светлому зданию беговых трибун. В одном направлении по аллее шли и

ехали люди непрерывным потоком, словно невидимый насос накачивал из огромного резервуара с Ленинградского шоссе человечью гущу. Одни шли торопливо, на ходу просматривая беговые программы; другие — привычным, размеренным шагом завсегдатаев; третьи — беззаботной походкой праздничных гуляк, которым все равно куда ни идти. У входа в аллею надоедали продавцы программ и извозчики, зазывающие седоков по четвертаку с человека; трамваи выбрасывали все новых и новых людей, мужчин и женщин, молодых и старых, богатых и бедных, а с Башиловки, пересекая шоссе и трамвайные рельсы, конюхи проводили накрытых цветными попонами рысаков к беговым конюшням ипподрома. И это шествие гордых серых, гнедых, вороных и рыжих коней, в капорах и наглазниках, с забинтованными ногами, с горячими глазами и блестящими телами, с выпукло играющими мускулами предплечий и лоснящихся грудей, напоминало торжественное шествие гладиаторов на арену невидимого, но близкого, грандиозного цирка...

Когда Никита, по приезде в Москву, пришел на Башиловку к Лутошкину, тот встретил его так, как никто никогда не встречал: позвал в дом, в столовую, усадил за накрытый стол вместе с Семкой и начал угощать вином, и пирогами, и разными закусками на отдельных тарелках с серебряными вилками и ножами, а потом позвал из другой комнаты черноглазую, с рябинками на лице маленькую женщину и, указывая на Никиту, весело сказал:

— Вот, Сафир, хозяин Внука, — Никита Лукич.

— Здравствуйте, Никита Лукич, с приездом! — приветливо, за руку, поздоровалась с ним маленькая и шустрая женщина и начала в свою очередь угощать чаем и вареньем. Угощая, она ласково улыбалась ему и Семке, а когда заговорила о Внуке, Никита с удивлением узнавал в словах, произносимых ею, те мудреные и непонятные слова, которые он слышал иногда от Александра Егоровича в его рассказах о бегах и рысаках. И совсем не побабьи рассуждала она о статьях и особенностях его серого Внука...

— Баба-то у тебя, все одно, как наш ветинар, Александр Егорыч! — высказал он свое изумление Лутошкину после чая.

Лутошкин засмеялся и ничего не ответил.

В конюшне Никита, лишь только вошел, бросился к деннику, в котором три недели тому назад оставил своего

питомца. Вместо серого Внука в деннике стоял рыжий злобный жеребец... Никита испуганно повернулся к Лутошкину.

— Что-о, не угадал? — засмеялся Лутошкин. — Иди сюда, я перевел его... Во-он, второй слева!..

Никита метнулся к указанному деннику и, переступив порог, остановился пораженный. Потом снял картуз. Перед ним был не лохматый, с мутной и свалянной шерстью Внук, а блестящий в яблоках красавец с пушистым нежным хвостом, подстриженной челкой и шелковистой гривой. Семка зашептал торопливо:

— Не наш, ей-богу, не наш, папанька, подменку сделали!..

— Внучек, ты?! — дрогнувшим голосом спросил Никита и шагнул вперед.

Внук повернул к нему голову. Блестящий, внимательный глаз с синим отливом остановился, шевельнулись ноздри, и серый красавец, узнав хозяина, забормотал губами и потянулся к карману Никиты. Никита торопливо достал кусок сахара и прерывающимся голосом заговорил, обращаясь одновременно и к лошади, и к Семке, и к Лутошкину:

— Признал!.. Признал, вишь, лопочет. Он и есть — Внучек наш! Это я, я, Внучек, Никита... Из Шатневки прибыл, по железной дороге, с почтовым... С дому прибыл... И Семка тут, мотри, — вот он, рядом!.. Настасья одна там осталась...

Серый Внук смотрел на Семку, на Никиту, Лутошкина, заглядывал через их головы в открытую дверь, в коридор и смешно переставлял уши, будто для каждого произносимого людьми слова требовалось придавать им разное положение. Потом потянулся к Семке и окончательно рассеял его сомнения: стянул с него картузишко, подержал и бросил. Семка засветился улыбкой и радостно посмотрел на отца.

— Ну, как? — спросил Лутошкин сзади.

Никита вместо ответа закрутил головой.

— Сегодня поедем, Никита Лукич, — заговорил Лутошкин, доставая из кармана беговую программу, — в пятом заезде... Ты грамотный? Нет? А сын? Ну, Семен, читай, вот тут!..

Конфузясь, Семка сперва шепотом, по складам, прочитал первые слова, указанные Лутошкиным. Никита жадно смотрел на сына.

— Вн-у-к Та-льо-ни... се-рый же-ре-бец...

— Правильно, серый жеребец, так, в точности! — подхватил Никита и снова уставился на сына, боясь дышать.

— ...ро-ж-ден тыща двадцать один гыы...

— Именно так, в двадцать первом, самая голодовка была! — опять вставил Никита.

— ...Ны... Лы... Лыкова...

— Никиты Лукича Лыкова! — поправил Лутошкин.

Никита ткнулся к программе. Ему хотелось самому, своими глазами увидеть себя там, но Семка нетерпеливо отстранил его и смелей продолжал:

— От Любимца и Лести. Наездник О. И. Лутошкин, камзол синий, картуз белый...

Семка кончил, а Никита вытер вспотевший лоб.

— Возьми программу себе на память, — заговорил Лутошкин, — в ней написано и о других лошадях, какие пойдут сегодня с твоим Внуком. Ехать придется резво, Никита Лукич, компания для Внука серьезная. Сейчас пойдем на бега — сам увидишь!

Филипп из дверей денника сказал:

— Опять подсылал Митьку Синицын-то, все выпытывал, как едет жеребенок...

— А ты что? — живо повернулся к нему Лутошкин.

— Что?!. Говорю — едет чертом! Потому, если хулить жеребенка, сразу сметит, что темним, а теперь пущай думает, как хочет!

Никита не вполне понимал, о чем говорят наездник и конюх, но речь шла о его жеребенке, и он настороженно ловил каждое слово, посматривая то на Лутошкина, то на Филиппа.

Лутошкин весело хлопнул его по плечу.

— Я, Никита Лукич, нарочно подгадал так, чтобы ехать в резвой компании. Вместе с Внуком пойдет одна кобыленка, Каверза, ре-е-звая, сволочь, а поедет на ней мой старый друг... есть у нас такой — Васька Синицын!.. Вот я и хочу предложить ему езду!

— На большой приз поедем, Никита Лукич! — помолчав, добавил он и задумался.

Никита посмотрел на него и вдруг с жаром заговорил:

— Вы ничего на нем не бойтесь, Алим Иваныч, запускай сразу во весь дух — и больше никаких! А ежели кнутиком тронешь, ну, тогда только держись!.. Я с бабой ноне на масленой неделе поехал на нем к свату, в выселки; выехали в поле, а я возьми да хворостинкой — жик!

И вдарил-то слегка, не до болятки... Веришь, думал и костей не соберем с бабой!.. Как только и живы остались? Ну, скажи — во-оздух, а не лошадь!

— Езда будет трудная! — проговорил Филипп мрачно, как бы отвечая на раздумье Лутошкина...

В два часа дня Филипп, Никита и Семка вышли с Внуком на Башиловку и медленно повели его на бег. На Ленинградском шоссе праздничные толпы расступились, давая дорогу, и Никита слышал восхищенные возгласы, обращенные к его лошади. И каждый раз, расслышав такое восклицание, ему хотелось остановиться и поговорить, объяснить всем этим нарядным и незнакомым московским людям, что лошадь эта — его, Никиты Лыкова из Шатневки, и что ведет ее он, хозяин, на бег за призом, но Филипп был суров и покрикивал:

— Ты по сторонам не глазей — под трамвай попадешь!

И Никита торопливо подбирал поводья и пугливо озирался на проходившие трамваи. Войдя на беговой круг, Никита и Семка остановились, изумленные невиданным зрелищем ипподрома. Трехъярусное здание трибун, как огромный улей, у которого отняли одну из стенок, копошилось тысячами людей и глухо гудело... Где-то звонил колокол. Играла невидимая музыка. По круговой ровной дорожке проносились нарядные лошади в легоньких колясках. Колеса сверкали металлическими спицами.

Все это напоминало Семке цирк на ярмарке, не было только каруселей. Прóводя Внука по черной дорожке мимо трибун, Никита растерянно озирался по сторонам, и, когда взглядывал на тысячные толпы справа, у него захватывало дух — Внук, Семка и он, Никита, были у всех на самом виду... Бесчисленное множество народу смотрело на них.

И от этого мысли Никиты стягивались в крепкий, тугой узелок точного и краткого противопоставления Москвы и Шатневки. Он, Никита Лыков, серый Внук, Семка — это Шатневка; а справа весь этот улей — Москва.

Шатневка шла, а Москва смотрела.

И Никита, оглядываясь на выступавшего за ним жеребенка, шепотом ободрял его:

— Ништо, ништо, Внучек, а ты иди-и, иди, ништо!

Филипп тронул Никиту за руку и указал на быстро

мчавшуюся маленькую гнедую лошадку, управляемую наездником в малиновом камзоле:

— Каверза... С ней твоему жеребенку бежать... Видишь?..

Никита враждебным взглядом проводил уносившуюся по желтой дорожке соперницу серого Внука, а Семка, прикинув в уме Каверзу запряженной в воз со снопами, презрительно сказал:

— Рази это лошадь?!. — Потом шепотом спросил отца: — Папань, а почему на кучере визитка красная? Из флажка сшил?

В отличие от случайной публики второго яруса, где помещались ложи, зрители, заполнявшие дешевые места, были в огромном большинстве завсегдатаями ипподрома; почти все они знали друг друга, знали всех наездников и лошадей, помнили за десятки лет беговые программы и разговаривали между собой на том специфическом языке лошадников, который для человека, попавшего на бега впервые, был почти не понятен и казался языком заговорщиков. У каждого из них, помимо знания лошади и наездника, были еще свои, особые, секретные приметы, помогающие им угадывать: выиграет или нет данная лошадь.

— Ты, главное, смотри за его ногой! — называя имя наездника, таинственно шептали они не посвященным в тайны ипподрома новичкам. — Если на повороте спустит левую ногу — значит, подает знак, кому надо, в публике, чтоб заряжали на него, потому самим им строжайше воспрещено играть в тотализатор... А вон Яшка — у того вся механика в хлысте! Ты только примечай: как хлыст назад — значит, не приедет, а ежели торчком — ставь, все одно как в банк!..

И ставили сами и яростно ругали и освистывали наездников, проиграв. А проигравшись, спускались во второй ярус и, выудив привычным глазком из толпы какого-нибудь новичка с деньгами, не знающего ни лошадей, ни наездников, с назойливостью прилипали к нему. Отводили в сторону и с таинственным лицом, скороговоркой шепотом говорили:

— Есть верная лошадь... Дармовой заезд!.. Как в банке, получите!

И если жертва высказывала недоверие или сомнение, отходили с неподдельным огорчением на лице, как бы говоря всем своим видом:

«Ах! Деньги сами в карман лезут, а он?!»

И подходили снова и в самое ухо бросали:

— Дар-ром, понимаете, даром. Шагом приедет!

Если лошадь выигрывала — получали определенный процент, а если проигрывала — бесследно исчезали...

На нижней скамье третьего яруса, у самой стены сидел Аристарх Бурмин. Не пропуская ни одного бегового дня, он приходил всегда заблаговременно и занимал всегда одно и то же место. Его постоянным соседом был бритый толстяк с полевым биноклем на шее. Он так же, как и Бурмин, никогда не опаздывал к началу бегов и уходил последним. Не раз он пытался заговорить с Бурминым о лошадях, наездниках, о погоде, но Аристарх Сергеевич Бурмин не удостаивал ответом соседа неизвестного происхождения. Сидел. выпрямленно, как деревянное божество, опираясь на трость, и, казалось, ничего не замечал и не видел, кроме бегового круга внизу и проносившихся взад и вперед лошадей. Не отвечал и на поклоны Сосунова, расхаживавшего внизу перед решеткой в элегантной светлой шляпе и брюках в клеточку. (Сосунов знал в лицо всех бывших коннозаводчиков и владельцев и, хотя и не был ни с кем из них знаком, считал своим долгом раскланиваться с ними, называя их по имени и отчеству.) Когда перед пятым заездом на круг выехал на гнедой Каверзе Синицын, толстяк с биноклем заелозил по скамье и, не выдержав, сделал попытку заговорить с Бурминым:

— Обратите внимание на темп хода! Какая согласованность движений! Изумительная кобыла! Ее мать, телегинская Тина, не знала проигрыша. По грязи была свободно без сорок.

— В две восемнадцать, а не без сорок! — поправил голос сверху.

Толстяк с необычайной живостью повернулся к говорившему:

— В две восемнадцать! Ну, вот видите! В две восемнадцать по грязи!.. Вы знаете, когда Николай Васильевич Телегин умер, ее мать, Тину, вели за гробом.

— Поганой метлой таких лошадей гнать с ипподрома! — скрипнул вдруг Бурмин, ни к кому не обращаясь и продолжая смотреть вниз.

— Это Каверзу-то? — стремительно повернулся к нему толстяк. — Вы о Каверзе говорите? Ее гнать с ипподрома?

Бурмин не удостоил его ответом. Наверху засмеялись. А кто-то сказал:

— Поганая-то она поганая, а игра вся на нее! Сейчас своими глазами видел — свояченица Синицына зарядила в десятирублевых пять билетов...

Толстяк с биноклем посмотрел на говорившего и стремительно сорвался с места. Протискавшись к трехрублевой кассе, он сунул скомканную, задолго приготовленную трешницу в окошко:

— Первый номер, пожалуйста!

Каверза шла под первым номером.

Получив билет, он вернулся на место и добродушно, успокоенно заговорил снова с Бурминым о достоинствах маленькой гнедой кобылы. Бурмин молчал. Смотрел вниз на усыпанную желтым песком беговую дорожку, и у него вздрагивала черная великолепная борода.

Стоя спиной к решетке, Сосунов в поклоне Бурмину еще раз приподнял свою элегантную светлую шляпу...

Никита и Семка стояли внизу, в членской.

Солнечный тихий день привлек в это воскресенье на ипподром тысячи народу. В безоблачной синеве над беговым кругом мощно рокотали моторы аэропланов; на хорах трибун весело звенела музыка; гудела толпа; на внутреннем кругу, в клумбах и газонах, били фонтаны, а цветные пятна шелковых камзолов наездников и удары судейского колокола, возвещавшие начало заездов, сообщали особую красочность и волнение яркому, нарядному солнечному дню. И Никита и Семка с жадностью замечали каждую мелочь этого невиданного зрелища, и были оба похожи на детей перед витриной игрушечного магазина. Но с того момента, когда на кругу появился малиновый камзол Синицына, все внимание Никиты устремилось к нему. Он хорошо разглядел его круглое, краснощекое лицо и запомнил на всю жизнь. Запомнил и лошадь. Маленькая, гнедая, с прицепленным к седелке первым номером, заложив уши, она проносилась мимо пулей и напоминала заводную машину быстрым и четким перебором ног. Никогда не видавший беговых лошадей, Никита инстинктивно угадывал в ней серьезную соперницу своему серому Внуку. И каждый раз, когда малиновый камзол появлялся перед ним и Семкой, в его сердце скатывалась крупная капля тревоги за Внука...

Лутошкин выехал на Внуке после всех. Проезжая близ-

ко к решетке, он весело посмотрел на Никиту и кивнул ему головой. На Лутошкине был синий шелковый камзол и белый картуз. Серый Внук с белыми бинтами на ногах и гордо вскинутой головой показался Никите необыкновенным и чудесным. К седелке у него была привешена дощечка с цифрой шесть.

Рядом с Никитой стоял человек в больших очках и, смотря на проезжающих мимо лошадей, что-то отмечал в программе. Никита тронул его за рукав и, указывая на Внука, проговорил:

— Наш жеребенок-то!.. Мой! Внучек!

Человек в очках посмотрел на Никиту, потом на Семку и ничего не ответил.

— На прыз побежит ноне... Шатневские мы! — добавил Никита.

Перед тем как из судейской беседки прозвучал колокол, призывающий соперников, Лутошкин уехал на другую сторону круга, выпустил Внука оттуда в резвую, разогревая его. Толпа в трибунах глухо загудела. Никита расслышал в этом гуле одобрение своему питомцу, и затопившая его гордость выплеснулась в новой попытке заговорить с человеком в очках:

— Жеребенок-то наш, мой!.. Никита Лыков-то я самый и есть, из Шатневки!..

В это время сверху упали резкие удары колокола. Человек с красным флагом, стоявший по другую сторону беговой дорожки на деревянной трибуне, как для ораторов, вскинул флаг на плечо и зычно крикнул:

— На мес-та-а-а!..

Шесть лошадей, словно дрессированные, разбившись на две группы, по три в каждой, крупной рысью прошли мимо Никиты влево, каждая группа по противоположной стороне дорожки. Серый Внук шел первым в дальней от Никиты группе. У Лутошкина было сосредоточенное и, как показалось Никите, злое лицо. Проехав до того места, где на дороге стоял человек с бумажкой в руках, все шесть лошадей повернули и стремительно ринулись вперед, причем Лутошкин очутился крайним к решетке, за которой густо грудился народ.

Поравнявшись с трибуной, на которой стоял человек с красным флагом, серый Внук заскакал. Сверху тотчас зазвонил колокол, и опять все шесть лошадей, в том же порядке, как и в первый раз, прошли перед Никитой.

— Вор-р-ро-очь!..— закричал человек с флагом.

И опять Внук, один из всех шести, заскакал. Зазвонили опять сверху. Загудела недовольно публика. Никита видел, как Лутошкин, проезжая мимо человека с флажком, что-то сказал ему, а тот сейчас же крикнул вверх, туда, где звонил колокол:

— Шесто-оой сза-ди! Сзади шесто-ой!..

После Внука начали скакать другие лошади, не доходя до старта. Публика волновалась. Кто-то пронзительно свистнул. Кричали сверху. В пятый раз принимался звонить колокол...

Никита приметил, что гнедая кобыленка ни разу не запрыгала и всякий раз, когда поворачивали, стрелой вырывалась вперед из всей компании. Семка дернул отца за полу.

— Папань, а чего они крутят? Шестой раз кругаля дают.

— Нишкни! По положению делают. Молчи! — шепотом ответил Никита, сам ничего не понимая.

— Запустили бы сразу вовсю...— пробормотал недовольно Семка, — а то как в кадрель играют.

— Вор-р-о-очь!.. Полевы-е тише-е!.. Лутошкин тише, назад! — раскатывался зычно человек с флагом на плече, но в один какой-то момент ткнул флажком вниз и коротко вскрикнул: —Пшел!

В тот же миг, сверху, один раз, отрывисто звякнул колокол. Малиновый камзол Синицына резко выбросился вперед. Серый Внук, опережая остальных, с поля метнулся за ним и сразу съел расстояние, отделявшее его от гнедой Каверзы, но, к ужасу Никиты, вдруг прыгнул и заскакал. Никита видел лицо Лутошкина с перекошенным ртом, его глаза, броспвшиеся за малиновым камзолом, уходившим по бровке вперед, заметил судорожное движение рук, передергивавших вожжи, напружинившуюся спину...

С задранной головой Внук прыгал на месте.

В публике раздались одобрительные возгласы по адресу Синицына:

— Пое-ха-ал!

— Вот это приемчик предложил!

— Теперь до свидания!

— Да кто же может с этой кобылой ехать?! Кобыла в две пятнадцать.

Толстяк с биноклем, наблюдавший с необычайным волнением за стартом, повернулся торжествующе к Бурмину:

— Ну, что вы скажете теперь? Поганым помелом?.. Вы знаете, в какую резвость приняла кобыла? Хе-хе! Недаром ее мать, Тину, за гробом Николая Васильевича вели...— Он достал из кармана билет с номером первым и повертел его в руках, потом добавил: — Верное дело, как в банке получим!

Сбой Внука после старта был полной неожиданностью для Лутошкина. Когда Внук сорвал, мысль, что он проигрывает, парализовала волю. Где-то мелькнуло лицо Никиты, Семки... Вспомнилась Сафир в публике... Гул толпы накрыл тяжелой шапкой...

— Кончено!.. Не догнать.

Но это мутное, расслабленное состояние, захлебнувшее, как волна в море, перекатилось, и в следующий момент Лутошкин привычным усилием собрал в жесткий комок всю свою волю и упрямо бросил ее по вожжам в стальные удила, к губам Внука. Внук замотал головой, словно хотел освободиться от удил, ставших вдруг необычно жесткими, но они властно и неумолимо подсказывали ему ту ногу, которую надо выбросить вперед. На миг он замялся, как-то странно переменил ногу и, поймав утерянный темп, вытянулся в бешеном порыве вперед за ушедшими далеко другими лошадьми. Секундомер в левой руке отметил потерянные секунды. Лутошкин учел резвость приема, силы соперников и расстояние, отделявшее его от них. Серый Внук в посыле быстро съел этот просвет, прошел поворот бровкой, и, выходя на прямую, Лутошкин уверенно вывел жеребца в поле. Езда складывалась трудная. Сбой Внука после старта нарушил все расчеты Лутошкина. Приходилось посылать жеребенка с большей осторожностью; но Внук так свободно отвечал на посыл и так легко прибавлял резвость, что Лутошкин вдруг ощутил полную уверенность в победе и чрезвычайный восторг. Тот восторг, который превращает расчетливое мастерство в творчество, когда наездник и лошадь взаимно проникают друг друга, когда невозможное становится возможным и не замечается ничто вокруг. И этот восторг и страстная слиянность с лошадью окрасили происходящую борьбу в праздничную, незабвенную краску.

В толпе, напряженно следившей за бегом, раздались голоса:

— Смотрите, смотрите, Лутошкин поехал! Смотрите, как чешет полем!

Но в ответ им сейчас же отозвались враждебно десятки других:

— За Каверзой ему не ехать!

— На сбою потерял три с лишним секунды! Теперь их ворачивать трудно!

— Вымотается от такого броска!

— Никак невозможно ему выиграть у этой кобылы! — с уверенностью говорили знатоки.— Синицын едет свободно, складывает езду, как хочет...

Никита, когда увидел, как справившийся Внук догоняет ушедших вперед лошадей, дернул за рубаху Семку с решетки и торопливо проговорил:

— Читай «Живые помощи»!.. Чтоб прыз Внучку дали! Читай!..

— Да я не знаю...

— Читай, стервец, говорят тебе, ну!

Никита и сам не знал, кроме первых двух слов, молитвы, но страстно продолжал шептать их, не спуская глаз с лошадей, выворачивавших на прямую.

Теперь все шесть лошадей шли по прямой. Впереди, с просветом от остальных — маленькая гнедая кобылка. Но вдруг словно что случилось с ними со всеми. Со стороны было такое впечатление, будто все они вдруг остановились, а едет только серый жеребец полем. Малиновый камзол поплыл назад, на него надвинулся синий камзол Лутошкина, поравнялся, скрылся за ним и медленно выдвинулся вперед, дальше, быстрее, и гнедая Каверза поменялась местами с серым Внуком, уступая в борьбе ему бровку и первенство. Было видно, как Синицын работает хлыстом.

Никита и Семка перелезли через решетку, отделявшую их от бегового круга, и, приседая и шлепая себя по бокам и бедрам, кричали друг другу и публике:

— Мотри... Мотрите!.. Наш передом! Ей-богу, наш, Внучек!.. Мотри, как запустил!..

Все громче и громче гудели трибуны. Публика лезла на скамьи, на барьеры лож, на перила крыльца. Синий камзол Лутошкина неумолимо уходил вперед. Расстояние между Внуком и Каверзой быстро увеличивалось. Внук ушел уже на целый столб, а Лутошкин посылал его еще и еще...

— Куда он едет? Все равно выиграл! — слышались возгласы.

— Что он спятил, что ль?

Никита оглянулся на гудевшую в трибунах Москву и, подхваченный вдруг неуемным шатневским азартом, сорвал с головы картуз, крутанул им в воздухе и шлепнул его о колено.

— Сыпь, Внучек!.. Э-эх, ты-ы!.. Во-о как у нас! Сыпь!

— Да он их за флагом хочет бросить? — кричали в публике.

— И оставит, факт!

Аристарх Бурмин повернул к толстяку с биноклем и скрипнул:

— Где ваша Каверза?

— А что вы хотите?! — вскипел толстяк.— Ясное дело! Лутошкин всегда был жуликом, подготовил темненькую лошадку и сам сыграл на нее...

— Не темненькая, милостивый государь, а орловская!—надменно проскрипел Аристарх Бурмин.

— Внук Тальони-то орловский? — язвительно воскликнул толстяк.— Как это у вас получилось? Дед на три четверти американец, Гей-Бинген, бабка метиска от Барона-Роджерса, а внук — орловский?!

Толстяк оборвал речь на полуслове и, свесившись вниз, через барьер, яростно завизжал навстречу еще не подъехавшему Лутошкину:

— Жу-у-лик! Во-ор! Моше-ен-ни-ик!!!

И снова злобно повернулся к Бурмину, наблюдавшему с побледневшим лицом за серым жеребенком, подъезжавшим к трибунам.

— Если вам угодно знать, и бежит-то в этой лошади кровь Тальони!

— Орловская кровь бежит... Тальони ваш дрянь! — выкрикнул вдруг Бурмин в лицо толстяку и встал, величественно выпрямляясь.— Его мать, серая Лесть, в моем заводе была, моя кобыла.

— Была да сплыла, Аристарх Сергеевич! — называя его в первый раз по имени, со вздохом, проговорил толстяк неизвестного происхождения, комкая билет с цифрой один.— У меня, если вам угодно, тоже собственный завод был и тоже... уплыл-с!..

Бурмин не слушал. Прямой, высокий, прошел к выходу, запрокинув голову с черной квадратной бородой.

Лутошкин, вывернув на последнюю прямую, поднял хлыст. И Внук, словно это была не лошадь, а бездонная неисчерпаемая сила, ответил на последний посыл страшным броском, финишируя в рекордную резвость. Трибу-

ны заревели от восторга. Публике было видно, как навстречу остановленному рысаку бросились две странные фигуры...

Лутошкин, после весов, слез с американки и подошел к Никите.

Никогда не видел он такой радости и счастья на человеческом лице... И сознанье, что он, наездник Лутошкин, является виновником этой радости и этого счастья незаметного шатневского крестьянина, взволновало его необычайной радостью; и замкнутый, вечный круг ипподрома разорвался, и побежала от него прямая светлая дорожка вдаль, к простым сердцам, к простому человеческому счастью...

— Спасибо тебе, Никита Лукич, за Внука, за... за все спасибо! — расцеловался он с Никитой.

— Да я что?! Я ништо, Алим Иваныч!.. Я с моим расположением!.. Я... тебе великую благодарность сказываю, а мы что?!

Никита переводил взмокшие глаза на Внука и не мог выговорить того, что было внутри, а Семка прижимался к мокрому, лоснящемуся плечу лошади и ревниво не хотел отходить от нее.

Из-за решетки, отделявшей членские трибуны от круга, выскочила длинная фигура и стремительно приблизилась к Никите.

— Здорово, Лыков! Поздравляю!

Изумленный Никита радостно воззрился на подошедшего и, узнавая в нем Николая Петровича Губарева, приезжавшего когда-то к ним в Шатневку, крепко схватил протянутую им руку в порыве огромной невысказанной благодарности.

— Поздравляю и вас, товарищ Лутошкин, поздравляю! — возбужденно говорил Николай Петрович. — Прекрасная езда! Молодец, Лыков, браво! Идем теперь со мной, товарищ Лыков, в членскую, поговорим...

7

Прошло девять лет с тех пор, как владелец серой Лести, Аристарх Сергеевич Бурмин, отдал внезапное распоряжение об отправке к нему в завод уже записанной на бега кобылы, но Филипп помнил этот день так, как будто произошло это вчера...

Была пятница... Уезжая в гостиницу к Бурмину, Лутошкин обещал вернуться к вечерней уборке. Но Филипп напрасно прождал его. Вечернюю уборку начали и закончили без него. Блещущая порядком Лесть была весела и спокойна. Как всегда во время дачки корма, она не толкалась и не мешала Филиппу, как делали это другие лошади, а покорно ждала у стенки денника, не спуская с него внимательных к каждому его движению блестящих глаз, и смешно перекладывала уши. Задав корм, Филипп долго стоял у решетчатой двери денника и слушал, как весело хрупает кобыла овес, приправленный сырыми яйцами. Потом Филипп сидел на скамеечке у конюшни с Васькой и Павлом. Разговаривали о предстоящем выступлении кобылы. Филипп уже знал компанию, в которой ей придется бежать... «Кобыла разбросает их на первой четверти!»—думал он о соперниках Лести и был убежден в этом так же, как в том, что его зовут Филипп Акимыч...

Стемнело. Зажглись по Башиловке фонари, а Лутошкин все не приходил. Филипп заглянул в чайную к Митричу. И там Лутошкина не оказалось. Тогда Филипп решил заночевать в конюшне, в полной уверенности, что к утренней уборке Лутошкин придет обязательно. Лутошкин не пришел. И Филипп забеспокоился. Елизавета Витальевна ничего не знала; от нее Филипп пошел к Митричу, от Митрича в Яр, от Яра в знаменитый трактир «Перепутье». Ответ везде был один: «Не были-с!» Набравшись смелости, Филипп решил позвонить к Сафир. На его звонок долго никто не отвечал, но в телефон ему были слышны чьи-то голоса, гитара и смех. Когда он попросил позвать Алима Иваныча, сказав, что спрашивает его Филипп по важному делу, женский голос пробормотал что-то неразборчивое, а потом к нему присоединился мужской и заявил, что Алима Ивановича нет и не было...

И вторую ночь Филипп провел в конюшне; просыпался каждые полчаса в надежде, вот-вот войдет Лутошкин. (Лутошкин, как бы поздно ни возвращался домой, обязательно заходил в конюшню).

Так прошла вторая ночь. Началась утренняя уборка. Роздали корм. Павел, набиравший воду, первый увидел входившего во двор Лутошкина и обрадованно-громким шепотом засипел Филиппу:

— Иде-ет!

Лутошкин вошел в конюшню пошатываясь. Бледный, с потухшими глазами, сутуля старчески спину и ни на ко-

го не смотря, прошел он в денник Лести. Из кармана топырилась бутылка с коньяком. Войдя в денник, он покачнулся и, уперевшись за переборку, долго смотрел на евшую корм кобылу... Воспаленные яркие губы шевелились. Он походил на сумасшедшего. И, качнувшись еще раз, он оторвался от кобылы и глухо выговорил:

— Соб-биррай в завод... Не ппо-едет кобыла.

И заскрипел страшно зубами. Потом...

При воспоминании о том, что было после, Филипп зябко ежился и глубоко засовывал руки в обмызганные рукава пиджака...

С того дня Филипп затаил в себе лютую ненависть к Аристарху Бурмину и, встречая его у Митрича в чайной, не скрывал злорадства, и если благословлял революцию, то только за то, что она швырнула миллионера-коннозаводчика в такую грязь и ничтожество, в каких не был никогда самый последний конюх.

Но одно смущало Филиппа. В то время как множество других владельцев, так же как и Бурмин, повергнутых в ничтожество революцией, теперь здоровались с ним, конюхом, за ручку и даже иногда заискивали, прося подсказать верненькую лошадку, Бурмин не замечал его, будто Филипп был пустое место... Задерет вверх черную бороду и пройдет мимо — и никогда не посторонится.

Закончив уборку в воскресенье вечером и заглянув в последний раз в денник к Внуку, мирно хрупавшему овес, Филипп вышел в коридор и вскрикнул от изумления...

Прямо на него по тускло освещенному коридору шел прямой, высокий Аристарх Бурмин в синей поддевке с серебряным поясом... Шел, высоко подняв черную бороду, точь-в-точь как девять лет тому назад. Филипп шагнул к нему навстречу, пошарил глазами вокруг и сорвал со стены обрывок тяжелой шины с пропущенным через нее железным прутом. Удара этой шины не выносили самые отбойные лошади...

Бурмин молча приближался. Филипп уже видел его маленькие, горящие, как две искры, глаза, устремленные вперед по коридору, и загородил собой ему путь, широко расставив ноги и слегка откинувшись назад, с шиной в правой руке. В упор подошел к нему Аристарх Бурмин, остановился и, продолжая смотреть поверх его головы вперед, спросил резким, раздражительным голосом:

— Где мой жеребенок?

И Филипп вдруг прыснул оскорбительным смехом...

Ссутулился, захлебнулся веселыми всхлипами до слез и в корчах смеха не мог выговорить ни одного слова в ответ на уморительный вопрос. Шина выпала из рук, как умерщвленная жирная серая змея... А когда поднял голову, увидел над собой ждущий черный квадрат бороды и из-под нее, до пояса, ряд круглых серебряных пуговиц на синей барской поддевке. И засунутую за серебряный пояс руку с широким золотым перстнем на указательном пальце... Ту самую руку в золотом перстне, которая девять лет тому назад брезгливо взяла с его ладони кусок сахару, чтобы дать его серой кобыле...

И нелепая, невероятная мысль откачнула Филиппа в сторону. Мысль о том, что за стенами конюшни, пока он возился с уборкой, на улицах, на ипподроме, в Москве произошло **такое**, о чем часто велись тихие разговоры за столиками в чайной Митрича, о чем постоянно свирепо мечтал Корцов и вздыхал молчаливо вежливый Михал Михалыч Груздев,— **вернулась старая жизнь**...

— Где мой жеребенок? — снова раздражительно скрипнул над ним голос и, не получив ответа, прыгнул с выкриком:

— Пшел вон, бол-ван!..

Уступая дорогу, Филипп прижался к стене. Прямая деревянная спина Аристарха Сергеевича Бурмина двинулась дальше, вперед по коридору, к деннику серого сына Лести...

На дворе у ворот конюшни послышались тихие голоса. Приоткрыв половину ворот, в конюшню заглянула голова в серой шляпе, за ней еще две: жесткая — Корцова и слюнявая, хихикающая — Культяпого...

— Олимпа Ивановича нету? — развязно спросил у Филиппа Сосунов, входя в конюшню.

Филипп посмотрел на него, на Корцова, на Культяпого и, ничего не ответив, бросился вдруг к деннику Внука, перед которым остановилась высокая, в синей поддевке с серебряными пуговицами, фигура Аристарха Сергеевича Бурмина. Прежде чем войти в денник, Филипп сорвал со стены выводную уздечку и сдавленным голосом проговорил:

— Сию минуту!

И торопливо исчез в деннике.

Элегантный Сосунов, подойдя к Бурмину, почтительно приподнял серую шляпу и с достоинством произнес:

— Здравствуйте, Аристарх Сергеевич!

Бурмин кивнул в ответ головой.

Вошедшие вскоре в конюшню Никита с Семкой и Лутошкин долго не могли понять того, что происходит перед их глазами.

Посредине коридора стоял серый Внук в нарядной, выводной уздечке. Рядом с ним, выструнившись, почтительный Филипп, а вокруг: надменный Аристарх Бурмин, развязно-суетливый Сосунов, щупающий ноги жеребенка, Корцов и, с мокренькой ухмылкой под светлыми усами, Культяпый.

Никита, лишь только разглядел знакомые, навсегда запомнившиеся лица Корцова, Культяпого и Сосунова, припомнил сразу и предостерегающие слова старого коновала на Мытной, и на один миг забеспокоился, бросаясь вперед к Внуку... Потом оглянулся на шедшего сзади Николая Петровича и остановился, щупая себя за правый карман пиджака. Там лежала бумага с печатями и подписями — серый Внук был теперь неприкосновенен...

Лутошкин улыбался. Улыбался и Николай Петрович, посматривая на Бурмина.

— Здравствуйте, Аристарх Сергеевич! — проговорил Лутошкин, подходя вместе с Никитой к Бурмину, и, показывая на Никиту, добавил раздельно: — Позвольте познакомить вас... Никита Лукич Лыков, хозяин Внука Тальони, сына Лести...

1927—1928 гг. Москва.



РАССКАЗЫ

ЦИКУТА

1

Прежде чем позвонить, рыжеволосый юноша еще раз перечитал надписи на медной, начищенной ярко пластинке:

Присяжный поверенный
Вениамин Аполлонович
ГУДИМ

Лестница была устлана ковром. Темные двери квартир, с медными дощечками, солидно разместились по просторным площадкам; внизу — купол узорного лифта, похожего на часовню. Юноша приложил ухо к замочной скважине, прислушался и, решительно высморкавшись, нажал пуговку звонка. Все последующее произошло ужасно быстро. Большая столовая с массивной мебелью и тишиной, по которой важно расхаживал маятник больших часов, обняла юношу.

— Как доложить Вениамину Аполлоновичу?

— Скажите я... Я — по делу!.. Я сам скажу, я только что приехал, скажите...

Рыжеволосый посетитель облегченно вздохнул, когда белый фартучек горничной исчез, оставив после себя пряный запах гелиотропа. Хлопнувшая где-то дверь глотнула четкие каблучки, и в тишине столовой выпятился на глаза

пузатый буфет с многочисленными дверцами, колонками и резьбой, похожий на средневековый замок.

Юноша подозрительно осмотрелся; заглянул в одно окно, в другое и что-то пощупал в боковом кармане пиджака.

В кабинете — глухой голос пригласил садиться. Из-за письменного стола навстречу юноше двинулись два медленные свинцовые глаза, казавшиеся очень большими на костлявом лице.

Оглянувшись на дверь, юноша шагнул к письменному столу и быстро проговорил:

— Я от Михаила! У Николая Петровича родился сын...

— Кто крестный? — спросил человек за письменным столом.

— Вячеслав.

Вениамин Аполлонович Гудим встал и протянул юноше руку. В глухом его голосе будто открылась фортка, и стало приветливым суровое лицо.

— Ну, здравствуйте, товарищ! Присаживайтесь! От кого у вас ко мне явка?

Юноша горячо пожал протянутую руку и ужасно заторопился, когда начал рассказывать.

— Вы — товарищ Макс? Я из Нижнего. Я — Николай. Я приехал, я... Вы знаете, что Михаил Семенович арестован. Арестована Фаня, Леонид, Василий Васильевич, вся наша организация провалилась...

Вениамин Аполлонович протянул к нему дрогнувшую руку, будто пытался остановить эту торопливую речь, и так, с протянутой рукой, снова опустился в кресло.

— Да, да!.. И Фаня, и Леонид. Я один из всей организации уцелел. По-олный разгром! — взволнованно продолжал юноша, повторяя сказанное. — Аресты начались в субботу, первого арестовали Михаила Семеновича... От всей организации остался только шрифт, он сейчас у моей сестры. Я да шрифт.

Вениамин Аполлонович молчал, сгорбленный, уйдя глубоко в кресло с высокой спинкой. Ни одним словом не прервал он рассказа Николая. И когда Николай кончил — он, казалось, все еще напряженно слушал отзвучавшие слова.

— А... как же уцелели вы? — спросил он, наконец, нарушая молчание, казавшееся бесконечно долгим.

Медленные глаза его поднялись к Николаю, к изрытому оспинками лицу с большим жабьим ртом.

— Я... случайно не ночевал дома. Сестра предупредила меня о засаде. Если бы не она... У нее как раз и шрифт.

Николай проговорил это смущенно, словно чувствуя себя виноватым в том, что он один из всех уцелел.

У Вениамина Аполлоновича под нижней губой был кустик светлых волос. Он закрутил их в запятую и встал. Ковер заглушал шаги. Николай сидел у стола. Когда Вениамин Аполлонович повертывался к нему спиной, он быстро вскидывал на него глаза и провожал его наблюдающим взглядом через весь кабинет, до поворота, и так же быстро опускал глаза, лишь только Вениамин Аполлонович повертывался лицом к нему.

Опустив голову и вздернув костистые плечи, Вениамин Аполлонович долго и молча шагал по кабинету.

Николай тихо проговорил:

— Я хочу немедленно работать...

Вениамин Аполлонович кашлянул и продолжал ходить; заговорил, не поднимая головы:

— В Нижний вам, конечно, ехать нельзя, схватят. Придется послать за шрифтом кого-нибудь другого. Шрифт нам нужен. Кого-нибудь другого, да, да! Людей у нас мало, очень мало, очень... А вам мы дадим работу, работа есть, много работы!.. Неужели же Михаил арестован?! — круто встал он перед Николаем. — Это же, это... не-ве-ро-ят-но! И Фаня? И Леонид?! Вы давно в организации? С девятьсот пятого?

Вениамин Аполлонович вдруг, быстро, нагнулся к Николаю.

— А ведь не-хо-ро-шо!? — дыша в лицо Николаю, прошептал он. И шепот его был острый, колющий и страстный.

— Что?

— Не-хо-ро-шо! — еще тише, еще острей повторил Вениамин Аполлонович. Костлявое лицо с двумя огромными серыми глазами придвинулось так близко, что Николай съежился, и у него было ощущение — будто серый автомобиль с разбегу повесил над его жизнью два своих фонаря... И, глядя в них снизу, он испуганно прохрипел:

— Что нехорошо?

Вениамин Аполлонович взмахнул рукой, схватывая воздух, распустил пальцы, посмотрел на ладонь и, выпрямившись, заговорил зло:

— Конспирации, вот чего не хватает вам, молодежи! А конспирация—вещь очень простая, чрезвычайно простая! Надо только забыть, что вы — Николай. Надо ежесекундно помнить одно: меня, как такового — нет, не сущест-ву-ет! Николая нет! Есть организация. Поняли? Вы и каждый ваш шаг связаны с сложным и дорогим механизмом, портящимся от одного неверного движения... Вы— частичка целого. Вы — организация. И когда конспирация становится для вас такой же естественной и простой вещью, как, например, еда, когда вы несете ложку в рот, а не в нос или в глаз... Я вдвое старше вас. Я старый работник. Но я не существую, как личность. Меня нет. Есть организация, партия, дело... Мы отвечаем перед народом...

Вениамин Аполлонович подошел к столу и, закурив, жадно затянулся. Потом протянул портсигар Николаю.

— Я не курю.

Когда Николай уходил, снабженный адресом неизвестной ему «товарища Наташи», где он должен получить дальнейшие указания и работу, Вениамин Аполлонович задержал его на дороге.

— Забудьте, что существует Вениамин Аполлонович Гудим, — проговорил он, растягивая выразительные слова. — Такого нет, и вы не знаете такого. Есть — товарищ Макс. Никогда вы у меня на квартире не были. Поняли? Идите! Скажите товарищу Наташе, что сегодня, в семь, я жду ее.

II

Буйный, пестрый букет цветов озарял большую комнату свежестью красок, и от них в комнате казалось рассветней и больше воздуху. Невольно вспоминалось поле, где так много неба. И, может быть, от этого печаль на красивом лице Наташи проступала ярче и запоминалась. Она сидела у окна, сцепив на колене голые, обвеянные загаром руки. Николай только что кончил печальный рассказ о разгроме нижегородской организации. Он в первый раз видел Наташу. Наташа впервые видела его.

— Когда вы приехали? — мягко, будто по бархату прошла словами, спросила Наташа.

— Сегодня утром. Я с вокзала прямо к товарищу Максу.

— Макс, конечно, читал вам поучения, а чаю не пред-

ложил, — с улыбкой встала Наташа. — Он у нас такой... Понравился он вам?

Такая же тихая и мягкая в движениях, как и в словах, она неторопливо накрыла стол, принесла самовар, колбасу, сыр и, усевшись против Николая, строго следила за тем, чтобы он ел и сыр, и колбасу, и ватрушки.

— Ешьте и не возражайте! Люблю, когда едят с аппетитом. Простите, я не дослушала, что вы сказали о Максе?

— У него очень большие глаза. Такие... кажется, одни глаза, а ничего другого нет!

Наташа серьезно сказала:

— У него большое сердце... Вот поработаете у нас — убедитесь. Сколько вам лет?

— Двадцать один... То есть, почти двадцать один, — смутившись, поправился Николай и, помолчав, неожиданно добавил: — В ноябре сравняется двадцать...

— У вас в Нижнем есть родственники?

— Сестра Лиза.

— Это у нее лежит шрифт? Она беспартийная?

Наташа задумалась. Николай исподлобья наблюдал за ней. На одном из пальцев правой руки она носила кольцо. Николай раз и два посмотрел на кольцо и спросил:

— Вы та самая Наташа... Ваш муж осужден по делу киевской организации?

Наташа тихо кивнула головой.

— А вы откуда знаете? Вам говорил Макс?

— Нет, Михаил Семенович рассказывал...

Наташа не спросила, когда и что рассказывал Михаил Семенович Николаю; обвела пальцем узор скатерти и, подавив вздох, выпрямилась.

— Я вас, товарищ, пока направлю в Кусково на дачу. Там поживете для дезинфекции, оглядитесь. Потом и на работу. Паспорт у вас есть?

— Да.

— Надежный?

— Настоящий.

— А деньги?

— Тоже есть.

— Сколько? А ну... показывайте вашу кассу! Рубль десять копеек?! И это все?! — рассмеялась Наташа, заглянув в кошелек. — Да вы комик!

Она достала из стола пятнадцать рублей и всунула их в кошелек Николая.

— Теперь вы нелегальный, не рассуждайте!.. Кстати,

возьмите цветочков, подарите их от меня Оле. Хозяйку дачи зовут Ольга Александровна, запомните. Там очень хорошо, отдохнете и успокоитесь, а работы у нас хватит...

Проводив Николая, Наташа подошла к раскрытому окну и, выждав, когда он выйдет из подъезда, долго наблюдала за ним. Выйдя из подъезда, Николай посмотрел на номер дома, где жила Наташа, и, словно запоминая что, осмотрелся по сторонам. Потом торопливо зашагал по улице и, раза два оглянувшись, скрылся за углом. Извозчик, стоявший на другой стороне улицы, трусцой поехал по тому же направлению.

III

Наташа, а с нею и весь комитет, были уверены в благополучном исходе поездки за шрифтом. Было решено послать Сергея, а Сергей был старым, опытным волком в таких делах. По внешности Сергей напоминал скорее молодца из Охотного ряда, чем революционера-подпольщика. Длинный пиджак и сапоги бутылкой дополняли сходство. Самому Сергею поездка казалась пустяком, и в ответ на наставления Вениамина Аполлоновича о конспирации он так уморительно поклонился стриженой в скобку головой и так по-охотнорядски почтительно снял и развел суконным засаленным картузом, что все расхохотались. Даже нервный и вспыльчивый Адольф.

— Не извольте сомневаться, барин, рыбец-с первый сорт-с! Покорнейше благодарим-с, милости просим в другой раз!

По дороге в Нижний Сергей усердно наливался чаем из захваченного с собой чайника, ел колбасу, крупно нарезанную перочинным ножом, крестился и икал... С предупредительностью лавочника помогал соседям размещать по полкам багаж и при каждом случае извинялся.

— Виноват-с, что вы изволили сказать? Никак-с нет!

На вокзале в Нижнем Сергей долго и навязчиво расспрашивал у жандарма, как ему пройти на Больничную улицу; потом толкался по вокзалу, пил вприкуску чай в буфете третьего класса и вышел с вокзала только тогда, когда убедился, что за ним не следят.

Сестра Николая жила на окраине города. На звонок Сергея вышла молодая женщина с приветливым лицом.

— Лизавета Семеновна Новожилова здесь квартируют?

— Здесь. Вам что?

— Нам повидать ее...

Молодая женщина посмотрела на рыжий кожаный чемодан в руке Сергея. Сказала немного удивленная:

— Я Елизавета Семеновна.

Сергей улыбнулся и решительно шагнул в калитку.

— Здравствуйте, я — от Коли. Он вам кланяется и просил передать, что жив и благоденствует.

— От Коли?! Боже мой! — радостно всплеснула руками Елизавета Семеновна и заторопилась, пропуская вперед Сергея — Заходите, заходите, пожалуйста! Я так за него беспокоилась, так боялась! Значит, все благополучно?

В маленьких комнатках было опрятно и пахло яблоками. На одной из стен висел большой портрет Толстого.

— Мы с мужем как проводили его — все время беспокоились! Боялись, что по дороге его арестуют. Слава богу, что все хорошо! Как он там живет, как устроился?

— Великолепно!

Сергей совсем не знал, как живет Николай, и видел его только один раз, в день отъезда, когда получил от него необходимые для поездки сведения.

— Я к вам за багажом, — многозначительно посмотрел он на Елизавету Семеновну, — цел он?

— Шрифт?

— Да.

— Цел, цел, с ним столько было хлопот! Прятали, перепрятывали, у нас в городе обыски без конца.

Сергей до вечера просидел в маленьких чистых комнатах, где так славно пахло яблоками и медом. За чаем он вел бесконечные споры с Елизаветой Семеновной и ее мужем, доказывая несостоятельность толстовского учения «о непротивлении злу». Муж Елизаветы Семеновны с вдумчивым, апостольским лицом мягко возражал. В его мягкости чувствовалась сталь, которую не сломать.

«Какие милые, славные люди», — думал Сергей, сидя на извозчике, с объемистой корзинкой в ногах. К ручке корзины веревочкой был привязан чайник из белой жести.

Жизнь подпольного работника-революционера напоминала всегда Сергею жизнь пчелы, сбирающей в полях и садах драгоценную медовую влагу. Незнакомые города, чужие дома и семьи, люди, с которыми часто встречаешься первый и последний раз, были чашечками цветов, в глубине которых теплился огонек сочувствия, огонек одной и той же огромной любви к свободному, прекрасному будущему. И в этих случайных встречах с людьми, доселе

неведомыми, — поэтому велись речи, очищенные от житейских будней и дрязг, речи о народе, об идеалах, об общем всечеловеческом счастье. И, быть может, поэтому после таких встреч оставалось светлое и радостное чувство на душе, сильнее верилось, а люди, с которыми только что расстался, казались милыми, добрыми, прекрасными. И не пугали опасности этой жизни. Корзинка со шрифтом казалась тем чудодейственным средством, которое спасет и осчастливит, наконец, человечество.

— Хороший город Нижний! — сказал Сергей извозчику, чувствуя потребность что-нибудь сказать.

— Первый город! — с достоинством отозвался извозчик, окая, как истый нижегородец. — Ярмарки такой не сыскать. Из Москвы будете?

— Из Москвы. К сестре приезжал. Сестра у меня тут отдана, — начал врать Сергей, присматриваясь к извозчичьей спине и думая о том, что извозчики часто бывают шпиками. — Сено у вас почем?

— Сена нынешний год дорогие!

«У извозчиков сена и овес всегда дорогие!» — подумал Сергей и, почему-то решив, что извозчик не шпик, успокоился и заговорил об ярмарке.

В вагоне он опять наливался чаем, ел колбасу, вел разговоры с почтенной чуйкой напротив, плевал на пол и растирал плевки сапогами. Подъезжая к Москве, он прошел два раза по вагону. Ничто не внушало подозрений. Все пассажиры казались обыкновенными пассажирами.

«Кажется, все в порядке! — подумал он. — На Курском выйду вместе с этой чуйкой, заведу разговор, так лучше!»

— И куда спешат?! — сказал он чуйке, когда поезд остановился и пассажиры бросились к выходу. — Все выйдем, успеем... Нецивилизованный народ пошел!

— Да уж... — неопределенно согласилась чуйка и втиснулась в кашу, образовавшуюся на площадке.

Тяжелая корзина оттягивала плечо, но Сергей старался держаться прямо, свободно, делая вид, что корзина совсем легкая.

— Один раз, в позапрошлом годе, послал меня, например, хозяин в Царицын, — громко врал он, идя рядом с чуйкой к выходу, — поехал я, изволите видеть, приезжаю, значит, туда...

Широкая рука прочно взяла Сергея сзади под локоть. Он не успел додумать какой-то мысли. Рослый жандарм

очутился близко-близко. Слева — человек в штатском протягивал руку к корзине.

Мысль лопнула режущими осколками:

«Вокзал... Толпа... Скроюсь...»

От толчка с жандарма свалился картуз, но цепкие руки осадили Сергея назад, и, казалось, вся толпа, все толкавшиеся на вокзале люди всей своей многопудовой непосильной тяжестью повисли на плечах. Десятки глаз со всех сторон протянулись к Сергею — испуганные, непонимающие, любопытные, но все чужие. И острое сознание одиночества, тоскливое и вместе с тем успокаивающее, как сталь в сердце, вошло в Сергея...

В дежурной жандармской комнате Сергей снял картуз, вытер потный лоб и, глядя на корзину, около которой, развязывая, уже хлопотал торопливо человек в штатском, с искренним сожалением произнес:

— На кой же чёрт я пер все это сюда?!

— Для нас меньше хлопот! — язвительно отозвался в штатском, поднимая к Сергею лицо от корзины.

Сергей, на всю жизнь запоминая это запрокинутое ноздреватое лицо с тараканьими усами, с отвращением и ненавистью плюнул в него.

IV

Об аресте Сергея первым узнал Адольф. Сергею удалось переслать из участка на волю коротенькую записку:

«Арестован на Курском вокзале по приезде. Провокация несомненна. Сергей».

Прочитав записку, Адольф подошел к зеркалу и, дернув за нос сразу поглупевшее лицо, поклонился:

— С приездом!..

Перечитал еще раз записку. Страшными были последние два слова: «Провокация несомненна».

Торопливо напихав во все карманы с полдюжины газет — без газет Адольф не чувствовал себя Адольфом, — Адольф помчался к Наташе. Когда шел по улице, ему казалось, что он едет в вагоне поезда и назойливые колеса отстукивают одно и то же слово: «Про-во-ка-ция... Про-во-ка-ция... Про-во-ка-ция...» С этим словом в голове и на языке он отчаянно дернул ручку звонка у Наташиной квартиры. Наташа сама открыла дверь. Увидев Адольфа, она замахала обеими руками. У нее было встревоженное, помятое лицо.

— Уходите скорее! Уходите! У меня только что кончился обыск!

Как кегельбанный шар от борта, Адольф задом откатился назад, забыв о цели своего прихода. Два пролета лестницы промелькнули сном.

— Адольф! Адольф! Минутку! — перегнувшись через перила, сверху звала его Наташа.

Адольф опомнился на третьей площадке.

— Сергей арестован! Провокация! — крикнул он снизу Наташе и, не слушая ее умоляющего зова, нахлобучил на нос кепку и выкатился на улицу. Торчавшие из всех карманов газеты делали его круглую фигурку смешной и нелепой, похожей на странную полуощипанную птицу с надломленными крыльями. Промчавшись несколько саженей по тротуару, опрокинув лоток с грушами у разносчика, он круто остановился, подумал и так же стремительно понесся обратно.

Наташа, открыв дверь, поймала его за пиджак и почти силою втащила в коридор.

— Куда вы умчались?! Расскажите скорее, в чем дело? Надо предупредить Макса! Надо собраться немедленно и обсудить. Рассказывайте же скорей! У меня рылись всю ночь, до утра. Ничего не нашли! Адреса я успела уничтожить.

Пугливо озираясь и прислушиваясь, Адольф сунул Наташе записочку Сергея, свернутую в микроскопический шарик. Адольф держал его все время в руках, пока шел по улицам, готовый в любой момент проглотить.

— Читайте скорей! Сергей арестован, провокация, — скороговоркой проговорил он.— Прочли? Проглотите сейчас же!

Адольф вырвал у Наташи записочку, скомкал ее и сунул Наташе ко рту.

— Глотайте!

Наташа не могла удержаться от улыбки.

— Зачем же глотать, когда можно сжечь!..

Адольф вместо ответа быстро сунул шарик в рот и глотнул, выпучив круглые глаза.

— Ну, я пойду! — повернулся он к двери.

Наташа опять поймала его за пиджак.

— Да подождите вы!.. Где соберемся? Надо, необходимо собраться. Завтра, послезавтра? Надо Макса предупредить...

— В субботу, на Якиманке, в семь, — прошипел, как

сковорода, Адольф и, не слушая Наташи, выскочил в дверь.

Вениамина Аполлоновича дома не было. Адольф оставил ему записку:

«Сережа серьезно болен. Зайдите навестить тетушку, Наталия Андреевна очень расстроена, ей тоже нездоровится».

Под словом «тетушка» подразумевалась конспиративная квартира на Якиманке, где происходили заседания комитета.

В этот день и улицы, и дома, и люди странно переменились. Городская сутолока с ее экипажами, трамваями, конками, магазинами и пивными, с ее тысяченогим торопливым шмыгом тротуаров, где тысячи незнакомых людей встречаются, расходятся, обгоняют друг друга, спеша каждый по своим делам, со своими мыслями и мыслишками, радостями и печалями, вся эта суета, праздная и непраздная, без которой подпольный революционер, как без воды рыба, не мог жить и дышать, — в этот день была похожа на огромного дикобраза, выпустившего свои колючки на каждом перекрестке, на каждом шагу, в трамваях, с извозчиков, из подъездов каменных, незнакомых Адольфу, громад. Каждый встречный был предателем; предательством дышала каждая улица и каждый камень. И было такое ощущение, что над головой шевелится страшная крыша, готовая каждую минуту обрушиться. Иногда казалось, вот-вот из этой суеты и уличного грохота протянется неведомая рука сзади и... схватит. И невольно Адольф втягивал в плечи голову и ускорял шаги. У театра Солодовникова на огромной розоватой афише он пять минут читал крупно написанное слово «Пре-датель», вместо «Кармен». Тверскую Адольф обошел. Там был переулок с зловещим тупиком, хорошо знакомый каждому революционеру. И самое название переулка — Гнездниковский — в этот день звучало змеиным затаенным укусом предательства и ядом.

На Никитском бульваре Адольф присел на скамью и закрылся «Русскими Ведомостями». Мысль его безнадежно кружилась по заколдованному кругу.

«...арест Сергея, обыск у Наташи, предательство... Кто?»

Ответа не было. И было страшно.

Господин в золотых очках и котелке слишком внимательно посмотрел на Адольфа как раз в тот момент, когда Адольф выглянул из газеты. Адольф поймал этот взгляд,

и мураши скатились от затылка за воротник, по спине. Хитрые глаза из-под золотых очков проникли глубоко внутрь и, казалось, нащупали как раз то, что тщательнее всего было спрятано. Стараясь казаться беспечным, но чувствуя, как ноги просятся бежать вдоль по бульвару, Адольф встал. Сердце колотилось как у пойманного воробья. Медленными, неторопливыми шагами он пошел в сторону, противоположную той, куда шел господин в золотых очках.

— Сейчас повернет за мной... Шпик!.. — Адольф едва удерживался от того, чтобы не обернуться. Почувствовал вдруг в желудке проглоченную у Наташи записку Сергея, будто это была не микроскопическая бумажка, а булыжник из мостовой. Ноги не слушали увещаний старого подпольщика и срывались, готовые улепетнуть и бросить на произвол судьбы туловище и сдерживающую их кучерявую голову конспиратора.

В таких случаях всегда развязывается шнурок у ботинок... Адольф остановился и, нагнувшись, скосил назад выпуклые глаза. Золотых очков не было, но как раз напротив торчали два подлые, рыжие глаза субъекта в коричневом костюме. Здесь ошибки не могло быть.

Адольф бегом спустился с бульвара и вскочил в проходивший трамвай. Субъект в коричневом, улыбаясь, помахал ему рукой, когда он выглянул из трамвая.

На квартиру к себе Адольф попал лишь поздно вечером. Хозяйка передала ему записку, оставленную солидным господином с бородавкой.

Макс писал:

«Мне сегодня нездоровится. Загляните к Наташе». Слово «нездоровится» было подчеркнуто. Но и без этого было понятно: и у Макса был обыск.

Квартира Макса была самой надежной квартирой. Ее и Макса берегли.

Адольф остро почувствовал, как над ним опускается неведомая и неотвратимая рука. Он сел на кровать, как был, в кепке, с запиханными во все карманы газетами, и закрыл руками лицо.

— Кто?..

V

Адольф, маленький, выпуклый, странно напоминавший кепку с пуговкой на макушке, катался по комнате и брызгал торопливыми страстными фразами. Он всегда горя-

чился и в обсуждение даже простых вопросов всегда вносил страстность.

— Так дальше продолжаться не может. Не мо-же-ет! Ждать, когда нас всех пересажают? Вы этого хотите? А вы? Я тоже не хо-чу! Вы знаете, что и сюда я шел с таким же чувством, как мышь в мышеловку. Я переменил трех извозчиков, шесть трамваев, пять верст пешком исколесил, прежде чем попасть сюда. Где гарантия, что за мной, за вами, за нами нет слежки? Так не-во-змо-жно!!

Вениамин Аполлонович с бесстрастным лицом крутил светлый кустик волос под губой. Молчала и Наташа. Адольф поминутно останавливался перед ними и выбрасывал вперед руку, будто у него в горсти были зажаты эти страстные, прыгающие слова.

— Я спрашиваю вас, товарищи, — чем объяснить эти провалы? Чем? Шесть провалов на протяжении двух недель! Арест Сергея, обыск у вас, у Наташи, провал дачи в Кускове!? Что это, то-ва-ри-щи-и?! Это — про-во-ка-ция! Это значит — в организации есть пре-да-тель.

— Какие же выводы? — глухо спросил Вениамин Аполлонович.

— Выводы? Выводы? — вскрикнул Адольф и описал по комнате полукруг. — Выводы? Извольте! Я настаиваю на временном роспуске организации.

Вениамин Аполлонович нахмурился. Адольф заметил это и закипел.

— Что? Что вы хотите этим сказать? — обрушился он на него. — Вы не согласны! Да? Не согласны? Тогда, тогда...

Адольф перевел дух, посмотрел на Наташу...

— Тогда я заявляю о своем выходе из комитета!!! Я не могу работать в такой атмосфере. Я не желаю играть в круглого идиота.

«Идиот» Адольф произносит как «идиёт».

Мелкие капельки пота выступили на его круглое лицо. Он изнеможенно упал на диван и уставился в потолок, всем своим видом показывая, что больше говорить не о чем и что для него — все кончено. Правая нога его выбивала мелкую дробь по паркету, и в такт ей крутились большие пальцы рук, один вокруг другого.

Вениамин Аполлонович кашлянул.

— Я считаю ваше заявление, товарищ Адольф, недостойным члена комитета и старого партийного работника.

Адольф подпрыгнул с дивана, как пущенная ракета.

— А я считаю преступным продолжать работу, когда в организации есть невыявленное предательство! — выкрикнул он.

Наташа встала и взяла Адольфа за локоть. Адольф яростно повернулся к ней, готовый к отпору.

— А я? А Макс? — тихо сказала Наташа, глядя ему в глаза. — Вы не один в комитете! Голубчик Адольф, так нельзя!..

Как укрощенный дикарь, Адольф скомкался и стих; взъерошил африканские волосы и снова мрачно уселся на диван, дергая то плечом, то ногой и громко сопя, что у него всегда было признаком большой взволнованности.

— Я вчера вот, — Наташа достала из сумочки исписанные мелко листки бумаги и протянула их Адольфу, — получила письмо из Орловского централа. Прочтите! Там товарищи кончают самоубийством от пыток и издевательства, а мы хотим здесь отойти от работы... Распустить организацию? Но сердцу-то не прикажешь: не бейся!

Наташа остановилась у дивана против Адольфа, быстро пробегавшего исписанные листки.

— Нельзя так, милый Адольф!

— Но что, что же делать!? — с надрывом воскликнул Адольф, комкая прочитанное письмо, и повернулся к Вениамину Аполлоновичу, сидевшему за столом. Туда же повернулась и Наташа.

Сгорбленный сидел Вениамин Аполлонович и постаревший. Карандаш в руке у него мелко вздрагивал, и смешно вис книзу правый ус. Он молчал, сосредоточенный и упорный в каких-то думах.

— Чем объяснить, например, арест Сергея? — спокойнее заговорил Адольф. — Вся обстановка ареста говорит о несомненном предательстве. Охранка знала о поездке Сергея. Она ждала его. Сергей достаточно опытен, он утверждает, что его выдали!.. Ведь кроме нас — никто не знал об этой поездке!?

Вениамин Аполлонович передвинул к Адольфу медленные, внимательные глаза.

— Что вы? — спросил Адольф.

— Продолжайте, продолжайте! — тихо сказал Вениамин Аполлонович, передвигая глаза на Наташу и как бы приглашая ее особенно внимательно слушать.

— Если предположить, что его выследили в Нижнем, тогда почему его не арестовали там же? Да я не допускаю, чтобы Сергей мог не заметить слежки! Затем — дача в

Кускове? И здесь все говорит за то, что охранка была информирована человеком знающим. Почему сразу же бросились в сарай, где хранился станок, оружие? А квартира на Долгоруковской?! Наконец, эти обыски у вас! Вашей квартиры почти никто не посещал, кроме меня и Наташи...

Наташа, неслышно ходившая взад и вперед по комнате, вдруг остановилась, взглянула на Вениамина Аполлоновича и, словно отгоняя что, тряхнула головой.

— О поездке Сергея знал еще один человек, — глухо проговорил Вениамин Аполлонович и посмотрел по очереди на Адольфа и Наташу; после его слов молчанье натянулось до последнего предела, до жгучей близости бритвы, приставленной к открытому горлу. Обломок карандаша в руке у него прохрипел по бумаге и зарылся в нее, прорвав страницу книги. Адольф весь напряженно устремился к столу, к сломанному карандашу, к тонкому, готовому шевельнуться рту Вениамина Аполлоновича. Но Наташа предупредила:

— Ни-ко-лай?!

Вениамин Аполлонович горько наклонил голову. Некоторое время все трое молчали. Первый заговорил Вениамин Аполлонович. Он подробно рассказал о своей встрече с Николаем и, кропотливо разобравшись во всех обысках и арестах, имевших место после приезда Николая, установил простой и страшный в своей простоте факт: проваливались только те квартиры, где побывал Николай.

— Тяжело и страшно высказывать подозрение, — заканчивая, говорил Вениамин Аполлонович, — но перед нами вопрос о жизни организации. Вот почему я беру на себя ответственность...

Адольф глядел в раскрытое окно, но его курчавый упрямый затылок напряженно слушал каждое слово за спиной. Наташа, скорбная, сидела у стола. Все, что говорил Вениамин Аполлонович, она знала, но она знала и что-то другое, не укладывавшееся ни в какие факты и логику.

— А я не верю, — сказала она, когда Вениамин Аполлонович кончил, — не могу верить. Как хотите, но вот... не верю! Как вспомню его, и не верю.

— Я ничего не утверждаю, — заметил Вениамин Аполлонович строго, — от подозрения до утверждения далеко.

— А вы, Макс, верите? — посмотрела на него Наташа. — Нутром верите?

Вениамин Аполлонович взялся за голову.

— Ах, Наташа! Нет, конечно, нет! Сердце протестует, но факты, факты!.. Чем опровергнуть их? Чем? Вспомните Клавдию Полякову. Разве кто-нибудь из нас, хотя бы на миг, мог допустить, чтобы эта милая, тихая Клавдия — и вдруг сотрудница охранки?! Никто. Разве вы допускали?..

— Нет.

— Вот видите! Никто не допускал, а на деле оказалось — эта милая Клаша — злостная, расчетливая предательница... И сколько народу из-за нее пропало — страшно подумать! Нет, тысячу раз нет! — шлепнул он по столу ладонью. — Поменьше сердца в таких делах, побольше трезвого, жестокого разума и логики! Логика неумолима, Наташа!

Адольф круто повернулся:

— Надо, товарищи, проверить это, проверить его! Ошибка здесь недопустима! Надо проверить.

У Наташи были благодарные глаза, когда она посмотрела на него. Вениамин Аполлонович перебил Адольфа коротким:

— Как?

— У меня есть знакомая семья в Сокольниках. Никакого отношения к революционным организациям не имеет, люди чистые во всех отношениях. Пошлем его туда... Скажем, что там склад оружия. Предлагаю намекнуть ему в разговоре, что оружие хранится в кладовой. У них есть кладовая... Понимаете? Если он провок, — он выдаст. Можно даже упомянуть, что оружие должно быть скоро перевезено оттуда, тогда он непременно поторопится донести куда следует...

— Вряд ли он попадется на эту удочку, — покачал головой Вениамин Аполлонович, — хотя... попробовать можно! Вы что скажете, Наташа?

— Я согласна. Так или иначе, но что-то надо предпринять.

— Я сейчас же отсюда поеду в Сокольники, — сказал Адольф, — если это не даст результатов, попробую организовать за ним слежку...

— А согласятся ли на такой эксперимент ваши знакомые? — спросил Вениамин Аполлонович. — Обыск — удовольствие не из приятных! Кто они?

— Совершенно мирные обыватели, милые люди, и только! Они согласятся, я уверен. Да вы их немного дол-

жны знать, Макс! Помните, мы как-то с вами заходили в один дом по Тихоновской улице? Прошлым летом? -

— Н-нет! — припоминая, не припомнил Вениамин Аполлонович и встал, смотря на часы.

— Пора расходиться! Кто первый выйдет? Вы, Адольф? Ну, пожелаем успеха нашему плану. Берегите себя, друзья, на наших плечах слишком, слишком много! А вы, Наташа, — задержал он руку Наташи в своей, — не забывайте примера Клавдии Поляковой. Не всегда сердце говорит правду. Я знаю, душой понимаю, как тяжело вам... Но и мне ведь нелегко, Наташа, милая!..

Голос Вениамина Аполлоновича дрогнул. Он повернул Наташу за плечи к двери.

— Идите, идите!

VI.

Адольф с заседания комитета поехал в Сокольники, а через два часа уже звонил у двери Наташи.

— Все сделано. Я из Сокольников, там — согласны. Завтра или даже сегодня посылайте его туда с каким-нибудь поручением. Не забудьте—дайте ему понять, где спрятано оружие... Если там будет обыск, — я просил известить об этом вас... До свидания, я пойду к себе! Вы сказали, что сегодня он должен зайти ко мне — я хочу перебраться в другое место.

Наташа задержала Адольфа.

— Голубчик Адольф, скажите мне... Вы верите, что Николай предатель?

— Не знаю. Вот увидим! — уклонился Адольф, хмурясь, и решительно повернулся к двери.

— Подождите, минуточку... А что, если бы такие же факты сложились против меня, вы бы поверили, что я?..— Наташа не договорила. Серьезно смотрела Адольфу в глаза.

Адольф дернул плечом и засопел.

— Поверили бы?

— Этого... не может быть! — пробормотал Адольф.

— Почему?

— Не может быть!

— Но почему?!

Адольф посмотрел на Наташу с таким видом, будто на миг допустил, что перед ним стоит предательница. И тряхнул упрямой, курчавой головой.

— Тогда и я... провокатор! — неожиданно заключил он и поспешно добавил: — Вообще я принципиально на такие вопросы отвечать не желаю! Глупо! До свидания!..

Адольф жил в одном из переулков около храма Христа. Он снимал комнату у старой чиновницы, служившей сиделицей в винной лавке. Квартира помещалась во втором этаже, над лавкой. Пелагея Ивановна, одинокая и бездетная, была привязана к своему жильцу, как мать. По паспорту Адольф значился крестьянином Калужской губернии, Петром Петровичем Крапивиным. Пелагея Ивановна за чаепитием иногда говорила, поглядывая подслеповатыми глазами на курчавую, черную, как тушь, голову жильца:

— В вас, Петр Петрович, только смирность одна калужская, а кроме ничего!

В молитвах перед сном каялась Пелагея Ивановна и не скрывала своего расположения и особой, чувствительной жалости к революционерам. И как-то раз (давно было это), заметив беспокойство жильца, выбегавшего к двери на каждый звонок, Пелагея Ивановна всунула в приотворенную дверь его комнаты голову и значительно кашлянула.

— Вы бы, Петр Петрович, для спокойствия дали мне сверточек-то! — шепотком проговорила она.

— Какой сверточек? — вспыхнул Адольф.

— Который позавчера принесли... Он у вас под кроватью. Дайте его мне, я снесу вниз, в склад... Кому придет в голову там рыться!?

И с тех пор, частенько, в беспокойные дни, Пелагея Ивановна принимала из рук Адольфа свертки и прятала их в складе, где стояли ящики с водкой и пустой посудой.

Вернувшись к себе, Адольф первым делом предупредил Пелагею Ивановну о своем намерении переменить квартиру. Пелагея Ивановна расстроилась и даже обиделась.

— Столько времени душа в душу жили... Не понравилась, видно, я вам напоследок?..

Адольф всячески старался ее разуверить, но старушка в ответ лишь покачивала головой, и на глазах у нее были слезы.

— Чего уж, не по нраву пришлась! Бог вам простит, а я против вас ничего не имею, кроме жалости... Когда оставлять-то меня хотите?

Адольф, узнавши от Наташи, что Николай знает его адрес, твердо, тогда же, решил немедленно переменить комнату. И даже сообщил Максу свой новый адрес — од-

ного знакомого врача, где временно думал устроиться. Но теперь, глядя на опечаленную и расстроенную Пелагею Ивановну, он заколебался и на вопрос ее ничего не ответил.

— Когда-нибудь, Пелагея Ивановна, вы все узнаете!.— говорил он, проходя к себе в комнату. — Я тоже привык к вам, мне тоже очень не хочется с вами расставаться. Я вас очень люблю, Пелагея Ивановна!..

— Какая уж тут любовь?! — приговаривала Пелагея Ивановна, идя следом за ним. — Вам, молодым, не до нас, старых. Какая уж тут любовь!? А сердце-то мое чует — не к добру это. Нонче к вам заходил молодой человек, забыла совсем, из ума вон!

Адольф встревожился.

— Когда заходил? Какой он из себя? Что он говорил? Он в комнату входил?

— Что вы, что вы, Петр Петрович, как же это можно чужого человека в комнату впустить? Разве я не знаю! Что вы? Рыженький такой, из себя несимпатичный. Все допытывался, когда вы дома бываете...

Адольф сел у окна, выходившего в переулок. Золотой огромный купол храма Христа казался близким-близким. Снизу, из Замоскворечья и с моста, доходили звонки трамваев и глухой гул. На улицах зажигались фонари. Пелагея Ивановна принесла самовар и подогретый ужин.

Адольф ел много, долго и жадно. А когда наелся, ощутил во всем теле приятную усталость и прилег на диван. Он уснул почти мгновенно; последняя мысль его была: не заснуть бы!

Проснулся за полночь.

Посмотрел на часы, на кровать, на пустую сковороду из-под жаркого и стал раздеваться, твердо решив завтра оставить комнату.

— Сегодня ночью ничего не может быть... Если он провокатор — сегодня ему не до меня, в Сокольники двинутся искать оружие.

В окно, выходившее во двор, залитый асфальтом, вошел сдержанный топот ног нескольких человек. Адольф погасил огонь и высунулся в окно. Двор был проходной: одними воротами — в переулок, другими — на Волхонку. Оттуда, со стороны Волхонки, озаряемые слабым светом фонаря во дворе, шли люди гуськом. Впереди серая шинель пристава.

— Обыск?!

Натягивая пиджак, Адольф выбежал из комнаты.

— Пелагея Ивановна, обыск! — сдавленно крикнул он в дверь хозяйки. — Подождите открывать. Подождите! Я вниз, в лавку...

Торопливо вырывая из записной книжки листки, Адольф совал их в рот, давился ими и глотал.

В кухне, в полу была дверка и лестница вниз, в винную лавку. Запасный выход склада выходил во двор. Дверь запиралась на крюк с внутренней стороны. Адольф скатился вниз, как мяч, и застыл у двери, прислушиваясь.

Голос Пелагеи Ивановны спрашивал наверху:

— Кто?

Что ей отвечали — слышно не было.

— Сейчас, сейчас, — говорила Пелагея Ивановна, — я раздетая. Сейчас открою!

Настойчивый звонок снова забился по квартире, над головой Адольфа. Он слышал, как звякнул замок; слышал тяжелые шаги вверху, справа, где была его комната; бесшумно снял крюк и осторожно нажал дверь, боясь, чтобы она не скрипнула.

«По Лебяжьему переулку, к Румянцевскому музею, там извозчики, иногда лихачи...» — торопливо закружилась мысль.

Нахлобучив кепку, он шагнул вперед, через порог, прямо в объятия городового.

— Сто-ой!

Откуда-то из-за выступа дома отделилась темная фигура и повисла на левой руке Адольфа, с испуганным и пронзительным визгом:

— Держи-и!!!

День Адольфа кончился.

VII

В ночь с четверга на пятницу — Адольф был арестован; в среду — к дому № 8 на Тихоновской улице подходил усиленный наряд полиции. Шли боковой дорожкой, в тени сосен, почти незаметными, сливающимися с деревьями, темными призраками. Впереди двое тихо разговаривали — пристав и человек в штатском. С Сокольнического круга разбегались последние звуки оркестра.

Человек в штатском говорил, понижая голос до шепота:

— Придется оцепить кругом. Во дворе есть кладовая аль сарай. Там главное надо. Улов должен быть!

— Ул-о-ов!! — передразнил злобно пристав. — Залепят в лоб из маузера, вот и... поймаешь!

Он зябко повел плечами и замедлил шаги.

— Н-н-ничего, Иван Филиппыч, н-н-не зал... не залепят, Иван Филиппыч! — заикаясь, торопливо стал его успокаивать штатский, и голос у него вдруг осел и засипел, как сырое полено. — Не залепят, Иван Филиппыч, бог не без милости, Иван Филиппыч!..

— Какой тут бог!? — раздраженно оборвал его пристав. — Он, что ль, сидит в браунингах? На прошлой неделе, в Сущевском, пошел вот так же Климков...

Пристав глотнул недосказанное.

— А я, Иван Филиппыч, я завсегда на такой несчастный случай, когда, скажем, подходишь, примерно к двери за каковой должно укрываться преступное лицо, я, Иван Филиппыч, завсегда следую указаниям военной хитрости... Стукнешь, телеграммка, скажем, или что там еще выдумаешь... Стукнешь, а сам этим моментом в сторонку от двери, или присядешь на корячках. Так что случается, бахнет через дверь, а я цел и невредим, без всякого повреждения!

— Капаюк! — подозвал пристав одного из городовых.— Возьми четверых к воротам. Двоих оставишь у дверей. Двоих по сторонам, на дороге поставь. Если увидишь — бегут и на оклик не остановятся — стрелять! Понял?

— Так точно, ваше в-дие! — громко бухнул городовой.

— Т-ссс! — исступленно зашипел пристав. — Осел! Скотина! Эфиоп! Тише! Слушай... Двор оцепить с соседних владений по трое. Да не зевать! Смотри у меня! Сгною. Понял?

— Так точно! Никак нет! — сразу на все ответил Капаюк и, отставая, стал подтягивать в кучу наряд.

Терраса одной из дач, затянутая парусиной, была освещена. По парусине передвигались огромные тени; тихий звон посуды доносился оттуда; слышались голоса:

— Малый в трефах.

— Пасс!

— Пасс!

Пристав покосился туда и вздохнул:

— Вот живут же люди, как подобает!.. Эх!.. Служба, будь она треклята. Дали б им, чертям, конституцию эту, или это самое учредительное собрание... бомбы только не позволять делать, да оружие отобрать...

— Никак это невозможно, Иван Филиппыч! — помол-

чав, вздохнул штатский, — тогда у нас с вами никакого отечества не может быть! Оплот престола и верноподданические чувства должны погибнуть втуне, Иван Филиппыч...

Не доходя дома № 8, остановились. Пристав переложил браунинг в карман шинели. Капаюк отдавал тихие приказания и, когда темные фигуры бесшумно рассыпались по назначенным местам, подошел к приставу.

— Так точно, ваше в-дие, готово!

Пристав всмотрелся в темную дачу впереди и, торопливо перекрестившись, повернулся к штатскому, приглашая вперед:

— Ну?

Штатский попятился.

— Уж вам, Иван Филиппыч, вы уж первый! Вам уж... Я уж за вами, Иван Филиппыч! Вы уж как начальник... Можно даже сказать, вроде главнокомандующего. Уж вы вперед!

— Тьфу! — свирепо отплюнулся пристав. Молча поправил лаковый пояс и пошел решительно вперед, крикнув: — Капаюк, за мной!

— Здеся, ваше в-дие!

Капаюк с винтовкой выдвинулся вперед, открыл калитку и, все ускоряя шаги, застучал сапожищами по ступенькам террасы.

VIII

На узком листке бумаги Николай что-то писал мелким убористым почерком, когда вошла Наташа. Толстый том Олара «История Французской Революции» лежал перед ним на столе, раскрытый. Смутившись, Николай торопливо спрятал узкий листок в карман пиджака.

— Что это вы, конспект составляете? — спросила Наташа. Ее глаза пытливо устремились к карману, куда Николай спрятал бумажку.

— Н-ет, это я так писал! — смутился еще более Николай и, густо покраснев, отвернулся. — Я вас совсем не ждал, хотите чаю?

Лицо Наташи закрывала густая вуаль. Она не подняла ее; присела у стола и, придвинув том Олара, начала медленно его перелистывать.

— Очень хорошая книга! — сказал Николай. — Может быть, вы чаю хотите?

— Нет-нет, я тороплюсь, — отклонила Наташа, — я к вам на минутку.

За стеной в соседней комнате старческий голос, добрый и ровный, ворчал:

— Озорник ты мой, непослушны-ый! Опять выпачкался весь, трубочист ты эдакий!.. Вот возьму хворостинку да чи-чик-чик! Не хочешь!?.

— Это моя хозяйка с Марсиком... Кот у нее, Марсик,— пояснил с улыбкой Николай прислушивавшейся Наташе. Наташа тоже улыбнулась, но, словно спохватившись, схоронила улыбку — серьезная, строгая, посмотрела на Николая.

— Завтра надо поехать в Салтыковку,—заговорила она, быстро перелистывая страницы книги вздрагивающими бледными пальцами,— там у нас на даче есть оружие, литература и еще кое-что. Надо все это перебросить в другое место. Вы знаете товарища Семена? Нет?

Николай слушал со средоточенным вниманием.

— Он будет ждать вас там, на платформе, на скамье. В руках у него будет газета «Утро России». Запомните? Вы подойдете и попросите прикурить. Он с папироской будет... Он спросит: «Который час?» С ним вы пойдете на дачу и поможете.

— Товарищ Семен, «Утро России», папироса, который час,— повторил Николай.

— Да, да!

— Салтыковка?

— Да.

На окне лежала недоеденная колбаса и ватрушка, над постелью портрет Лассаля, пришпиленный кнопками, и Писарева — в черной рамке; стопочка книг на самодельной полке из дощечки и веревочек; а на спинке узкой кровати деревенское, из холста, полотенце с вышитым красным петухом.

— А что, у вас мама есть? — спросила Наташа.

Николай покачал головой.

— Умерла?

— Да, и папа и мама...

Николай, заметив, что взгляд Наташи остановился на расстегнутом вороте его рубахи, торопливо застегнул высокий черный воротник на все три белые пуговки.

— А когда мне ехать туда? — спросил он.

— С поездом в десять тридцать.

— Я могу и раньше! Я ведь очень рано встаю!

— Почему?

— Я привык. И я очень люблю утро! Когда я просплю, мне все кажется грязным, старым...

— Семен будет ждать вас там к одиннадцати,— перебила Наташа, внимательно смотря на него. Ее взгляд был странный: так смотрят на вещи, и так смотрит человек, когда он один.

И опять добрый старческий голос вошел в комнату через стену:

— Не будешь больше? Нет? Смотри, какой ты у меня чи-истенький, беленький, как снежок!.. Скоро кушать будем, молочко будем пить!.. Ах ты, м-мой...

Слова зарылись в пушистый поцелуй.

Наташа посмотрела на стену, откуда доходил этот ласковый, певучий голос, и, повернувшись к Николаю, тихо проговорила:

— Николай, слушайте... Скажите... скажите мне одной...

Николай вдруг и весь насторожился и впился глазами в лицо под густой вуалью.

— Что-о?

Наташа захлопнула книгу. У Клавдии Поляковой было лицо с такими же невинными глазами и большим ртом...

— Вы не перепутаете, что я вам сказала? — договорила она, вставая.— Не забудьте, поезд в десять тридцать, Салтыковка, товарищ Семен...

— «Утро России», прикурить, который час!— с улыбкой докончил Николай.— У меня память отличная. Все будет сделано в точности. Разве я когда-нибудь что-либо напутал?

— Н-нет!

— А после зайти к вам? — спросил Николай.

— После?..

— Когда все сделаем? — пояснил Николай.

— Да, да! Конечно, конечно! — поспешно проговорила Наташа.

— Во сколько зайти?

— Когда хотите!

— Вечером, часов в восемь, в девять, хорошо?

— Да, да! До свидания!

Наташа торопливо застучала каблучками по крутой лестнице.

— Осторожно! — вслед ей кричал Николай, стоя на площадке и перегнувшись черев перила.— Лестница у меня гадкая, не упадите, до свидания! До завтра!

Наташа не оглянулась. Не ответила.

В раскрывшуюся парадную дверь ворвалась шумная, грохочущая улица. Николай улыбался, стоя на площадке, и долго глядел вниз, где скрылась Наташа.

IX

Ветер неслышно шевелил и передвигал по деревянной платформе осенние листья. Листья были блёклые, нежные, еще не совсем утратившие зелень, и от ветра казались живыми. Прозрачная грусть осени озаряла все предметы и лица особенным, чистым светом; небо было глубоко и просторно и дышало свежестью, как голубой огромный водоем.

На одной из скамеек сидел человек и читал «Утро России». Он часто посматривал в сторону Москвы, откуда должен был прийти поезд. На нем было непромокаемое пальто с поднятым воротником. Окурки усеивали платформу у его ног. Он жег одну папиросу за другой. Взад и вперед мимо него бродили одиноко осенние дачники. Газетчик несколько раз предложил ему журнал. Когда вдали показался поезд, человек в непромокаемом пальто вдруг ужасно заторопился; скомкал газету и сунул ее в пальто; потом быстро пересек платформу, пути и очутился на другой платформе — для поездов, идущих в Москву. Застегнув пальто и вздернув плечи, отчего лицо его ушло еще глубже в поднятый воротник, он отошел в конец платформы и стал смотреть в сторону, обратную той, откуда подкатывал поезд. Как сковорода с маслом, шипящий паровоз прополз мимо, разделил вагонами две платформы, постоял, свистнул и потащил дальше темно-зеленые коробки. Среди немногочисленных пассажиров, вылезших из поезда, был Николай. Он быстро и весело прошел платформу из одного конца в другой, от скамьи к скамье, и, удивленный, осмотрелся. Взглянул на часы. И еще раз, но уже медленнее, пошел вдоль платформы, мимо скамеек. Увидя на другой стороне неподвижную фигуру в непромокаемом пальто, Николай нерешительно пересек линию, направляясь туда. Человек в непромокаемом пальто, стоявший к нему спиной, оглянулся как раз в тот момент, когда Николай подходил к нему. Две пары глаз встретились. Человек в непромокаемом пальто зашагал от Николая. Николай догнал его. Обходя справа, бросил взгляд на карман пальто, откуда торчала газета «Утро Ро...». На поднятом воротнике заметил две

металлические кнопки. Торопливо достав папиросу и неумело вставив ее между указательным и средним пальцами, Николай повернулся к человеку в непромокаемом пальто:

— Позвольте прикурить!

И еще раз две пары глаз встретились. Человек в непромокаемом пальто сунул вперед свою папироску и хотел пройти дальше, и уже сделал несколько шагов от изумленного Николая, но вдруг резко повернулся и спросил:

— Который час?

— У-уф! — вздохнул облегченно Николай. — Вы товарищ Семен? Я Николай, от Наташи.

Пожали друг другу руки. Николай всмотрелся в лицо Семена и наморщился, что-то припоминая. Семен глядел в сторону, страшно внимательно рассматривая рельсы.

— Сядем на минутку! — предложил Николай.

На скамье он еще раз всмотрелся в Семена и зажмурился.

— Я никогда вас не видал, но я вас знаю, — заговорил он тихо, не открывая глаз.—Вот и пальто это припоминаю, и кнопки на воротнике...

Николай был одет в ту же черную с тремя белыми пуговками рубаху, как и вчера, когда пришла к нему Наташа.

Семен, украдкой рассматривая Николая, ежился будто от сырости и был не в силах подавить охватившую его мелкую дрожь. Она наползала от этой близости с Николаем, сидевшим рядом, плечом к плечу, и мелко трясла ноги, руки и песком поскрипывала на стиснутых зубах.

— Я вчера был в опере, — громко сказал Семен, — у моей хозяйки сын в оркестре...

Говоря это, он ладонями крепко накрыл дрожь острых колен своих. На левой руке у него не хватало одного пальца. Николай заметил это и спросил:

— Что это у вас? Вы...

Семен перехватил взгляд голубых глаз, устремленных к его дрожавшим коленам, и плотно сжал их; потом попытался натянуть на них полы непромокаемого пальто, но тут же порывисто встал. Не глядя на Николая, выговорил тихо и твердо:

— Идем!

— Далеко идти? — спросил Николай.

— Во-он туда! — указал Семен на сосновый бор за полотном дороги. — Там нас ждет еще один товарищ. Вставайте!

В лесу к Семену и Николаю присоединился Ваня — крепкий, коренастый рабочий в рыжем картузе и стеганом пиджаке. Он молча поздоровался с Николаем за руку. Шли все трое, рядом, по мягко шелестевшей листве и хвое. Пахло прелью и рекой. Около большого пруда Семен свернул с дороги в лес.

— Тут короче! — коротко пояснил он.

В лесу было так тихо, как бывает только осенью, когда слышен шорох падающей ветки. Не было птиц. Сосновый бор напоминал пустой покинутый жильцами и огромный дом. Николай оживленно рассказывал о лесах в Нижегородской губернии и, останавливаясь, запрокидывал голову, любуясь глубокими, голубыми колодцами неба в просветах вершин.

— Как сла-вно! Смотрите! Далеко еще нам!?

— Нет, скоро! — односложно отвечал Семен и раза два выразительно посмотрел на Ваню.

— Здесь и дач-то нет!

— Там дальше будут.

Семен замедлил шаги.

— Я закурить хочу. Ваня, хочешь?

— А я нарочно купил десяток «Дюшес»,— остановился и Николай,— я ведь не курю! Наташа сказала, чтоб я попросил у вас прикурить, вот я и купил. Хотите? Возьмите, пожалуйста, себе! Возьмите, мне же не надо!

Он протянул желтую коробочку папирос Семену.

— Не надо. Идите, идите! — странным голосом сказал Семен и изменился в лице. — Идите вперед, я... сейчас.

И лишь только Николай повернулся, Семен дернул из кармана браунинг и торопливо выстрелил ему в спину.

— А-ах! — остро и удивленно вскрикнул Николай, повертываясь. Правая нога у него высоко вскинулась при повороте. Какое-то мгновение он казался гимнастом, застывшим на одной ноге, перед тем как сделать замысловатый трюк. Его светлые с просинью, безумно раскрытые глаза остановились на лице Семена, и был ужас глаз этих огромен. Семен и Ваня почти одновременно выстрелили еще раз, не целясь, в эти глаза.

Желтая коробочка с папиросами «Дюшес» описала полукруг, выскользнув из распустившихся пальцев, и упала у ног Семена.

Николай уткнулся лицом в желтую, влажную листву, выпрямляя ноги в заплатанных ботинках.

X

Когда в сумерках, рассеиваемых светом зажженных в улице фонарей, вздрогнул и забился, как пойманная птица, звонок, у Наташи вырвалось дрожащее и изумленное:

— А-а-а...

Звонок повторился настойчивый и резкий.

В комнату прошел, тяжело ступая, Семен. И стал посредине. Свет уличного фонаря падал на его лицо. Наташа подошла к нему близко-близко. Его лицо и глаза сказали ей все. Наташа ничего не спросила. Семен молчал. Молча протянул Наташе листок бумаги, исписанный наполовину мелким, убористым почерком. Наташа зажгла лампочку, и дрожали у нее руки, развертывая бумажку...

Николай не дописал письма «миленькой сестрице Лизаньке». Не дописал о Москве и новых товарищах, среди которых есть прекрасная женщина, ради которой он готов на самую страшную жертву...

«...у нее в глазах такое же чистое и бездонное небо, как в поле, когда лежишь на спине во ржи. Ее зовут Наташа, она...»

Здесь письмо обрывалось. Здесь пришла к нему, в его маленькую комнату с недоеденной колбасой и ватрушкой, прекрасная женщина с чистыми, как небо, глазами; пришла Наташа, чтобы дать ему последнее поручение.

Наташа ладонью разгладила скомканный лист бумаги, с темным пятном на одном из углов... И шепотом спросила Семена:

— Ты читал?

Семен ничего не ответил. Мотнул головой и остался так же стоять, выпрямленный, деревянный. Большой рот его резко обозначался на худом лице, и — казалось — губы были сжаты страшной силой и не разомкнутся никогда. Лишь изредка смешно подпрыгивала левая бровь.

Наташа провела рукой по лбу. Упорно Семен смотрел на нее. Она села у стола и долго, бережно разглаживала узкую полоску бумаги с темным пятном.

— Ты вынул это у него из кармана пиджака, из левого? — спросила Наташа и добавила тише. — Он положил его тогда в левый карман. Я вспомнила... Вчера это... Что ты смотришь так?

Неустранимый, молчащий, стоял Семен перед Наташей. И еще раз Наташа провела по лбу рукой.

— Семен?

Семен был ее учеником. Она направляла первые шаги его в революционной работе. Семен молился на нее и был предан ей, как предан человек смерти — неотвратимо.

— Семен?..

Абажур лампы затенял его лицо — впадины и бугорки на нем обозначались резко, как на камне. И каменным был молчавший, неподвижный рот — большой, грубый, прямой.

— Семен?.. — в третий раз проговорила Наташа и встала. Подошла близко к Семену, глядя на его замкнутый рот. Было слышно, как глубоко дышал он. Наташа положила ему на плечо легкую руку; потом тихо провела ладонью по взлохмаченной голове его и, отойдя к окну, выпрямилась там. Но почти мгновенно, словно крикнула улица что-то ей, она оторвалась от окна и в упор подошла к Семену.

— Семен, а что, если мы... ошиблись?.. — одним дыханием докончила она, кладя на плечо ему руку и страстно всматриваясь в остановленные на ней чужие, незнакомые глаза.

У Семена заклокотало в груди и в горле. Большой рот дернулся. Он снял руку Наташи с плеча и передвинулся от Наташи на один шаг. Потом еще и еще. К двери. С порога его глаза, холодные и злые, протянулись к Наташе.

— Я исполнил постановление комитета, — жестко проговорил он и два последних слова повторил еще раз.

Наташа съежилась. Зыбким стал пол. Похолодевшие пальцы заметались по воротничку блузки, и оторванная пуговица одиноко стукнула о пол.

Медленно Наташа повторила:

— Да, да! Вы, товарищ, исполнили постановление комитета.

Хлопнула дверь, отрезая убегающие шаги Семена. Наташа была одна.

XI

В дежурную комнату вошла неслышно сестра и тихо позвала по имени врача, уткнувшегося в газету.

— Вас очень просит больной из четвертой хирургической...

Сбросив пенсне и потирая переносицу, доктор посмотрел на сестру, что-то припоминая, и быстро встал. Застегнул халат.

— Он очень плох,— проговорила сестра,— почти все время в забытьи...

Доктор вскинул плечи и развел молча обеими руками, как бы говоря: «Мы с вами сделали все!» Сопровождаемый бесшумно ступавшей сестрой, он быстро прошел по коридору, через большую палату с двумя рядами коек и колоннами посредине, и осторожно открыл дверь в отдельную палату № 4.

На койке, укрытой светло-коричневым одеялом, лежал Николай. Забинтованная голова и шея сливались с подушкой, и повязка резко подчеркивала лихорадочно яркие глаза. Увидя доктора, он зашевелился, но доктор ласково остановил его:

— Тссс! Не волнуйтесь и лежите смирненько!

Сестра подала доктору стул. Он сел и взял руку Николая, нащупывая пульс. Николай закрыл глаза. Он дышал короткими неровными вздохами, и в груди зловеще похлюпывало. Когда врач бережно опустил его руку на одеяло, Николай открыл глаза.

— Доктор... я с одним... с вами хочу... — прошептал он с усилием, размыкая бескровные губы с запекшейся в уголках кровью.

Сестра вышла и прикрыла за собой дверь.

Николай положил свою руку на руку доктора.

— Я умру скоро... умоляю вас.. пошлите записку... Я не могу умереть так... Пошлите, она придет, она не может... умоляю, доктор...

Николай смолк, и бессильно опустились веки... Доктор нахмурился. Часы этого юноши, привезенного с тремя тяжелыми ранами в больницу, были сочтены. Ничто не могло спасти его. Кто он, кто его ранил? За что? — доктор не знал, но вся обстановка и его слова говорили о страшной, необычайной драме.

— Дайте... бумагу... каран...даш,— зашептал опять Николай,— я не могу так... Обещайте мне, доктор! Я все, все скажу вам, она... расскажет...

Доктор вынул записную книжку и карандаш, сам вложил в прозрачные пальцы Николая.

С мучительными усилиями царапал карандаш по бумаге, выскальзывал и падал на одеяло. Два раза доктор подносил к губам Николая питье.

— Не отходите! — говорил доктор сестре, выходя из палаты. Запечатав записку в конверт, он немедленно отослал ее по адресу с привратником.

Наташа приехала через полчаса вместе с привратником, проводившим ее в комнату дежурного врача. Врач встретил Наташу с хмурой сдержанностью и пригласил идти за ним. Испуганно озираясь на длинные ряды коек, с молчавшими на них фигурами больных, Наташа шла молча, ни о чем не спросив доктора. Перед дверью четвертой палаты врач остановился.

— Подождите здесь!

И несколько мгновений, пока он был в палате, легли в сознанье Наташи тяжелыми пластами одной огромной жизни, которую не было сил изжить до конца... Длинный, мягко освещенный коридор уводил глаза к неведомой двери в конце. Было в нем тихо, и белые бесшумные фигуры сестер, изредка пересекавших его, оставляли после себя напоминание о чьих-то страданиях, боли, смертях. И каждая молчаливая дверь в нем говорила о том же, а все вместе — и тишина эта, и белые сестры, и запахи лекарств, и вся эта скорбь — уводили невольно мысль туда, где в молчаливом лесу крестов и памятников на могильных плитах лежат печальные надписи об отошедших в иной мир... «Вкушая, вкусих мало мёду, се аз умираю...»

Доктор из двери сделал Наташе знак рукой, приглашая войти. Неуверенным порывом Наташа очутилась в палате.

Восковая, прозрачная рука была покорно и беспомощно вытянута по коричневому одеялу... Это первое, что увидела Наташа.

Николай лежал, слегка запрокинув голову. И так как у него были закрыты глаза — белое лицо, марля на голове и подушка сливались в одно. Его измененное лицо показалось Наташе далеким-далеким, будто напоминание о другом, знакомом и живом Николае.

Подойдя к изголовью, Наташа всматривалась в это лицо и запоминала каждую складку и тень. Было тихо в палате; торопливо тикали часы в кармане у доктора.

Наташа позвала:

— Николай!

Николай открыл глаза и, глядя на Наташу, словно медленно узнавал ее. Ссохшиеся, темные губы шевельнулись и не могли разлепиться. Николай сделал какое-то последнее усилие, чтобы заговорить, и вдруг из уголков его глаз, устремленных к Наташе, выкатились две крупные, медленные слезы...

Одним слабым движением губ прошептал он что-то и опять был бессилен разлепить клейкие губы, которые уже

целовала смерть. Закрылись глаза, и ресницы протянули чуть заметные тени.

Наташа упала лицом к холодной руке на одеяле; щекой слышала, как слабо шевельнулись пальцы...

XII

Вениамин Аполлонович, встревоженный, усадил Наташу в кресло. Ее бледное, без кровинки, лицо было жутко освещено лихорадочными глазами. Вениамин Аполлонович пристально всмотрелся и побледнел.

— Что с вами?!

Наташа протянула ему обрывок бумажки.

Разбегающимися буквами на клочке были нацарапаны крупные, разорванные слова:

«Меня убили... Кто меня убил? За что меня, товарищи, убили, скорее скажите, я умру, скорее скажите, мне страшно, за что же? Никого нету, приходите же скорее, в больнице умираю. Николай».

Вениамин Аполлонович впился глазами в лицо Наташи.

— Он умер?

Наташа наклонила голову и зарыдала.

— Я была в больнице... Ночью умер .. Там врач—меньшевик, он прислал эту записку... Что, что мы сделали?! Боже мой! Я не могу!

— Товарищ Наташа! — строго сказал Вениамин Аполлонович.— Слышите товарищ Наташа! Опомнитесь!

Его твердая и тяжелая рука легла на голову Наташи. Наташа порывисто вскинулась, сбрасывая руку.

— Вы понимаете, что это?! — шепотом, с безумными глазами, проговорила она.— Пони-ма-ете? Мы убийцы! Мы убили нашего то-ва-рища!

Проговорила и ждала, исступленная, острая, как боль ожога.

— Успокойтесь, Наташа, возьмите себя в руки. Записка не опровергает ничего: написать...

— Как?! — с выкриком выпрямилась Наташа.— Вы думаете, что эта записка — ложь, что он лжет в ней?!

— Успокойтесь! Я ничего не думаю. Я говорю, что эта записка не опровергает фактов. Обыск в Сокольниках — факт.

— Нельзя лгать перед смертью! — опять перебила его Наташа, и опять ровный глухой голос Вениамина Аполлоновича повторил:

— Успокойтесь... Вы утверждаете, что мы ошиблись? Пусть мы ошиблись. Я вас спрашиваю: во имя чего совершена эта страшная ошибка? Отвечайте. И кто виноват? Вы? Я? Адольф? Нет, Наташа! Они-и!

Вениамин Аполлонович угрозно вытянул руку к раскрытому окну.

— Они, Наташа, все те же наши враги, враги народа. Эта жертва на их чашу бесчисленных грехов и преступлений. И они заплатят нам за нее... А мы?!. Мы подняли новую ношу на наши перегруженные плечи. Не согнуться бы, Наташа, родная, не ослабнуть бы, не попустить... Вот что нам остается. Не сломаться в этой борьбе... под этой ношей!.. А-а-х!!

Он хрустнул пальцами.

— Ведь мы-то должны продолжать наш путь, Наташа. Мы-то остались жить. А каково нам будет идти с таким... с этим страшным грузом?!.

Наташа притихла. Она подумала о Семене.

Она ушла от Вениамина Аполлоновича поздно вечером. На груди под кофточкой уносила бережно сложенный обрывок бумаги, исписанный крупным почерком,— последнее письмо Николая. Ее красивое лицо было похоже на мертвое лицо затворницы. Строгий и молчаливый Вениамин Аполлонович проводил ее до двери и в дверях молча поцеловал в лоб.

С двумя полосками на серебряных погонах человек взглянул на часы, ударившие восемь раз, и взял телефонную трубку. Назвал номер коротко и повелительно и ждал, подпирая бровями оседавший на глаза большой, неумолимый лоб.

— Алло... Ну... что у вас хорошенького?

В трубке зашипело, кашлянуло, и голос глухой, ровный пополз оттуда:

— Чуть было не сорвалось, полковник...

Набирая на жесткий, окантованный воротник мундира складки шеи, человек в погонах наклонил голову и слушал, выразительно играя бровями.

Часы показывали десять минут девятого.

Вениамин Аполлонович Гудим положил трубку и сел в кресло. На костлявое лицо вылезла странная улыбка и шевельнула волосатые уши.

СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ

Человечий пронзительный всхлип захлестнулся в воздухе, и на него обернулся Яков Шевчук, сдернув с плеча винтовку...

На освободившихся путях, там, где в поворот уползла последняя цистерна большого состава, трепыхалась нелепая куча... С платформы, странно подпрыгивая и размахивая руками, подбегал к ней начальник станции. Бежали еще люди — стрелочник, мешочники. Из вокзала выскочил лохматый телеграфист, мотнул головой по сторонам и побежал туда же...

Шевчук подошел...

Первое, что он увидел, был мешок с рожью, лопнувший и выпачканный нефтью и кровью. Потом — ворох тряпок, буро-красная гуща, заголенная нога... Оскал свежих, крепких зубов жутко оживлял молодое мертвое лицо, и, казалось, вот-вот шевельнется оно и, приподнявшись с рельса, посмотрит на всех живыми глазами.

— Сколько раз говорил — снимать с буферов! Сколько раз говорил... Ну, какого черта вы смотрите?.. Сколько раз говорил!.. — плачущим голосом выкрикивал начальник станции сторожам и охранникам.

Молчали все. Молчали и неотрывно глядели на раздавленную. Мужичонка Ефим Кауров с огромным мешком на спине протиснулся вперед, всмотрелся в мертвую и завздыхал:

— Баба-то молодая! Вот она-а, жисть-то наша кака-ая! И не угадаешь! И к тому же — дите в ней ни в чем не повинное.

Сумрачный стрелочник отвернулся от трупа, сплюнул и сказал хмуро:

— Темнота! Сказано: не лазь на буфер!..

— Эх, мил-человек,— вздохнул мужичонка с мешком,— легко сказать это! Не лазь на буферу! Сказать все одно — дыхнуть! Беспоследственно, мил-человек! А вникнуть — душа не сусед, есть-пить просит!..

— Ржица-то матушка просыпалась.

И снова вздохнул, мотнув головой на мертвую.

— Без надобностев ей теперь! Эх!..

— Нешто подобрать?

Шевчук сурово двинул винтовкой.

— Не тронь! Отойди!

— Я ништо, почтенный, я... — торопливо отодвинулся

Ефим,— я к тому: все одно без надобностев ей... Ржица-то!.. А я — ништо, я ведь с понятием, ежели... Детки-то небось жду-у-ут теперь,— жалостливо прогнусавил он, помолчав.— Эх, жисть!

И заковылял куда-то под откос, на ходу поправляя огромный мешок за спиной.

Шевчук зашагал к караульному помещению.

* * *

— Шевчук!

Шевчук, лежа, чуть повернул на зов голову, открывая глаза.

— Ты зачем на зарезанную бабу долго глядел? — спросил караульный Васька.

Румяная улыбистая рожа Васьки Стучилина склонилась над ним. Стучилин, как бык нагульный. Щеки, губы того и гляди брызнут красным соком. Не любил его Шевчук. Знал, что для видимости Васька к охране примазался. От фронта. И в охране спекулянством занимался; как был лавочник, так и остался им, жадный до денег и похабный в словах.

— Что ж молчишь?

Яков Шевчук приподнялся на локтях. Замутил голубизну глаз давней злобой и глухо переспросил:

— Чево?

— Ничего! Проехали! Думаешь, в партию записался, так тебе все можно? — не унимался Васька, но отодвинулся чуть от мутневших голубых глаз: тяжелели они, будто свинцом наливались.— Ты знаешь, теперь декрет есть. Как в партию занумеровался, так чтоб к бабам ни-ни, не подходи! А подойдешь — к стене! Это нашему брату можно. Мы несознательные! А ты обрадовался, заголенную бабу увидел, час целый разглядывал...

— Замолчи!

— И молчать нечего!

Шевчук выпрямился и посмотрел в угол, на винтовку.

— Отойди! — тихо выговорил он.

И на одну короткую минуту стало тихо-тихо в карауле. И было слышно, как тяжело дышит Шевчук.

— Стучилин! — позвал старший Лука Иваныч.— Брось, поди сюда. В город поедешь.

Васька с льстивой готовностью подскочил к столу.

— В командировку, Лука Иваныч?

— Ведомость отвезешь...

Васька приложил к козырьку руку и колесом выкатил грудь, подмигивая ребятам.

— Служу революции!

— Кстати, хины оттуда захватишь.

— Могем и хиной раздобыться... Только разрешите мне сперва, Лука Иваныч, на денек в отпуск отлучиться? Бельишко сменить и прочее...

«Опять туда масло повезет, а оттуда мануфактуру...» — с тяжелой тоской думал Шевчук, закрывая глаза.

* * *

Поздно вечером притащился перегруженный бесконечный «Максим». Скотские вагоны до крыш были набиты человечьим живьем и мешками. Выходили в темноте по головам, ребрам, животам. Задыхались от духоты и вони и мешки берегли больше, чем ребра.

Ефим Кауров, подпрыгивая и поправляя прилаженный за спиной огромный мешок, тыкался от вагона к вагону, из одного конца поезда в другой, и клянчил:

— Кормильцы, да сжалобьтесь! Третью неделю сесть не могу, допустите! Семь человек мал мала меньше ждут. Третью неделю...

— Валяй в конец, там свободно!

— Там прицепка!

— Не пущают, был! Примите, касатики!..

— Лети грачом! Сказывают — некуда!

Проходивший по платформе Яков Шевчук остановился и прислушался. Потом решительно подошел к вагону, перед которым клянчил Ефим Кауров.

— Эй, там, открой!

— На энтой неделе приходи! — отозвался насмешливый голос из-за двери.

Шевчук ударил прикладом в дверь.

— Открой, говорю!

Дверь чуть приоткрылась. Кто-то выглянул в щель и, увидев винтовку, испуганным, сдавленным голосом бросил назад:

— Ребята, заградительный!..

— Лезь! — скомандовал Ефиму Шевчук. — Живо!

— Сичас, один секунд, товарищ... — захлебнулся не-

ожиданным счастьем Ефим Кауров. Проворно, как обезьяна, зацепился за поручни и тиснулся в приоткрытую дверь. — Спасибо, соколик, выручил из беды неминучей! Я с краешку.. Вот тута, не обеспокою... мне вершочек один и надоть-то! Я, товарищ...

Из глубины вагона завозилось, зашипело, зацыкало потревоженное живое.

— Молчу, молчу, почтенные, молчу! — забормотал Ефим Кауров, устраиваясь на мешке у двери...

* * *

«Всем надо... — думал Шевчук, медленно направляясь дальше по платформе мимо глухо гудевших, как ульи, вагонов, — сейчас его не пущают, а доедет до следующей станции, он не будет пущать.. Так и едут: к себе жалостливые, а к другому лютые Время такое — человек потерялся, один другого не видит».

У одного из вагонов стоял Васька Стучилин. Дверь в вагон была полуоткрыта В то время как во всех других вагонах было темно, в этом тускло горел фонарь, и было просторно. Человек в железнодорожной форме спрыгнул оттуда и торопливо стал отсчитывать деньги Ваське. Васька, заметив приближавшуюся фигуру Шевчука, что-то тихо сказал железнодорожнику, и оба они отошли в конец платформы, в тень от багажного лабаза

Шевчук подошел к вагону и заглянул в дверь.

Вагон наполовину был завален мешками и узлами. Несколько человек сидели на нарах и пили чай.

— Свои, товарищ! Организация! — подскочил один из них к двери, увидев голову Шевчука, всунувшуюся в дверь.

Шевчук ответил ему тяжелым взглядом Не сказал ничего.

Вдали на полотне метнулось что-то живое, серое. Шевчук сощурил глаза и перехватил винтовку. Вышедший на смену Фомичев подошел сзади и тоже стал всматриваться, зевая и ежась со сна. Уже можно было различить человеческую фигуру. Кто-то быстро бежал по полотну, спотыкаясь и припадая к земле. Фомичев разглядел первый.

— Бабкин, с моста... — проговорил он и вдруг забеспокоился.

— Чего это он? Кричит что-то! Слышь!

— Подожди! — остановил его Шевчук, пристально всматриваясь.

— Банда! — крикнул вдруг Фомичев, расслышав, и стремглав бросился к караульному помещению...

Через минуту, окруженный плотным кольцом охранников, Бабкин рассказал, что к мосту на седьмой версте подступают банды, а через полчаса две платформы с паровозом уже готовились выехать к мосту. На платформах были навалены шпалы и мешки с песком, образуя прикрытие, поставлены два пулемета и разместились двадцать вооруженных людей.

— Смотри за телеграфистом! Сволочи они! — приказывал Шевчуку Лука Иваныч, влезая на паровоз. — Приставь к нему Бабкина!.. Кольт за бугром приладь, в случае... Ежели «она» пойдет — оттуда, больше неоткуда!

Перепуганный машинист трясся и слезливо просил Луку Иваныча:

— Семейство у меня... Освободите!

Лука Иваныч, вытаскивая наган, сказал:

— Я вот те освобожу!

И упер ствол нагана в небритую щеку машиниста.

— Ежели да ты... Понял? Чхну — и нет! Трогай!

Машинист с отчаянием повернул рычаг, и, когда паровоз уже тронулся, он высунул голову и крикнул двоим ребятишкам, крутившимся все время около паровоза:

— Паша, детки мои, Степа, скажите матери — не ждала... проп...

Шум колес и пара заглушил слова.

Ребятишки пробежали некоторое время рядом с уходившей летучкой, потом остановились, посмотрели друг на друга с плаксивыми лицами, как бы спрашивая один другого: «Нешто зареветь?»

— Побегем в караулку, пулемет смотреть! — неожиданно предложил Степка, почесав под коленкой. Посмотрели вслед уплывавшей в поворот платформе и разом оба стремглав понеслись к станции.

Обежав все закоулки станции, заглянули и в фонарную. Там Васька Стучилин напихивал в мешок торопливыми и трясущимися руками непроданные катушки, камешки для зажигалок, цветные платки...

— А к нам банда идет! — в спину ему крикнул Пашка. Крикнул звонко, весело, будто с праздником поздравил.

— Убирайтесь отсюда, пархачи! — свирепо цыкнул Васька. Он тискал мешок и торопливо думал: «Успеть бы! Если Тишка с ними — ничего! А то... В Ржаксе двух своих

исковыряли... эх, мать... До села лугом три версты, больше не будет! В присадник — и гайда!»

Затянул туго вещевой мешок, поддернул голенища хромовых франтоватых сапог, где были николаевские и керенки, и проворно, оглядываясь, скользнул на крыльцо.

— Куда?

Голубые глаза — как стенка, о которую с разбегу стукнулся лбом, — откинули Ваську назад. У крыльца стоял Шевчук. Шинель — застегнутая наглухо; через плечо — пулеметная лента и на поясе — пара гранат.

Васька вспыхнул, потом побледнел. Перевел дух и, набирая злобу, грудью надвинулся на Шевчука.

— Отойди!

Голубые неморгающие глаза в упор смотрели на него. Как каменный врытый столб, тяжело стоял Шевчук перед крыльцом, расставив ноги и уперев приклад винтовки в нижнюю ступеньку.

— Пусти! — сдавленно глотнул выпиравшую злобу Васька.

Они стояли грудь с грудью, так близко друг к другу, что Васька слышал ровное, короткое дыхание Шевчука.

— Иди назад! — выговорил Шевчук, не шевелясь ни одним членом и не спуская с Васьки упорного взгляда.

— А тебе что? Ты старший?

— Иди в телеграф, к Бабкину!

— Я в отпуску. При тебе Лука Иваныч сказал...

— Никакого отпуска сейчас! Боевой пост... — с расстановкой, ровным голосом произнес Шевчук и прошел следом за Васькой до двери в телеграфную.

— Тут и будь пока!

* * *

Шевчук, неторопливо обойдя станцию, вышел к бугру, к пулеметчикам, и своим ровным, немного глухим голосом объяснил дистанцию прицела.

В это время глухо громыхнуло, и почти сейчас же застучал торопливый молоточек.

— Наши! — шепотом проговорил лежащий у пулемета и побледнел. Все слушали. Когда пулемет смолк, в один голос двое сказали:

— Замолчал...

— Посматривай больше туда вон! — указал Шевчук рукой на перелесок, слева от железнодорожной линии. —

В случае если, то — оттуда «она». Ляжьте все, бугор видать далече... Я пойду взгляну в станцию. Может, депеша есть.

Пашка и Степка встретили Шевчука у палисадника. Лица у обоих были потные и, как у волчат, блестели глаза. Перебивая один другого, словно играя взапуски, они начали рассказывать Шевчуку, что один дяденька побежал куда-то из станции и что у него тугой мешок...

Шевчук пересек палисадник и вышел на платформу, в конец.

— Вот он! Вот он! — в один голос закричали ребятишки, вскидывая руками.

По откосу насыпи, пригнувшись, убегал Васька Стучилин.

Шевчук снял винтовку и, поудобнее уставив правую ногу, старательно прицелился. Ребятишки, жадные захватить все: и пульку, вылетающую из ствола, и убегавшего дяденьку, крутили белобрысыми головами от винтовки к Ваське и от Васьки опять к маленькой дырке в конце ствола. И, как у галчат в гнезде, были раскрыты их рты.

Треснуло...

Васька Стучилин широко взмахнул руками, выпрямился и покатился под откос, ворочая, как крыльями, серыми полами шинели.

Там и остался лежать неподвижно мутным пятном.

КОРОТЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА

I.

«Почему все мужчины такие гадкие? — думала Туся, тщательно подкругляя пилкой полированные, розовые ногти. — Сами же лезут целоваться и дальше, а... потом — зевают!?.»

Жорж Семенцов обещал вчера идти в оперетку, а когда нацеловался — вдруг вспомнил, что у него есть какое-то неотложное дело, и ушел с такой торопливостью, будто боялся, что у него попросят взаймы.

«В следующий раз ни за что не позволю ему!.. — твердо решила Туся. — И Вовка сейчас придет, и ему тоже не позволю».

В час, когда должен был прийти Вова, в комнату вместо него вошел незнакомый человек в лохматой шапке и, осмотревшись, протянул Тусе ордер на право занятия ее комнаты. Туся сперва не поняла, а когда поняла — всплеснула руками.

— А как же я?!

Незнакомец еще раз оглядел комнату, посмотрел на Тусю и сказал:

— Придется вам куда-нибудь перебраться... Вы одна здесь живете?

— Ну, конечно же, одна!

— Мне нужна комната. Вы нигде не служите?

— Нет.

Незнакомец пожал плечами и повторил:

— Мне нужна комната. У меня совершенно нет времени заниматься опять поисками, да и бесполезно это! Город набит до отказа.

На глазах Туси задрожали слезы. Голубая тесемочка торчала у нее из-под кофточки и смешно дрыгала от готовых прорваться всхлипов. Беспомощно она повела глазами по комнате, словно прощаясь со всем, что в ней было, и не выдержав, всхлипнула.

Незнакомец сдвинул на затылок лохматую шапку и досадливо почесал переносицу:

— Как это все неприятно!.. Послушайте... — он посмотрел на ширмы в углу, потом на Тусю, — может быть, вы пока там вот, в углу, ширмами как-нибудь. Пока, а там что-нибудь придумаем.

Туся тоже посмотрела на ширмочки, потом на незнакомца. У него был досадливо наморщен лоб.

— Я совсем не хочу выбрасывать вас на улицу! — добавил он.

Туся смахнула слезинки и, заметив торчавшую голубую тесемочку, поспешно спрятала ее.

— Давайте познакомимся, — вздохнул незнакомец, — как прикажете вас величать?

— Туся.

Подумавши, незнакомец спросил:

— Это... по-настоящему-то как?

Тусю все, всегда и везде звали Туся. А если и случалось где-нибудь в обществе, кто-нибудь называл «Наталия Андреевна», Туся оглядывалась по сторонам, ища глазами Наталию Андреевну, и мило краснела, вспомнив, что Наталия Андреевна — это она, Туся...

И тут, не поняв сперва, чего от нее хочет этот незнакомый, в лохматой шапке, сероглазый человек, она долгое мгновение смотрела на него, недоуменно шевеля подкрашенным ртом. Потом торопливо сказала:

— Наталия Андреевна.

И так странны и чужды были для нее эти два слова.

— Ну, вот! А меня — Василий Петрович!

II

Лежа за ширмочками, Туся подсматривала в щель. Василий Петрович сидел у стола над толстой книгой. Туся, запоминая его профиль с четко изогнутым подбородком, спросила:

— Василий Петрович, который час?

— Два.

Василий Петрович не прибавил больше ни слова; шуршал страницами и накручивал на указательный палец русый вихор, а Туся была уверена, что после ее вопроса он заговорит с ней...

Из смежной комнаты доходил мерный, заглушенный стук чьих-то тяжелых шагов. Думая о другом, Туся невольно отмечала их одним и тем же счетом: два, два... два!.. Слышала мелкий торопливый бег маятника часиков, висевших над постелью.

«Почему он не такой?..» — думала Туся о Василии Петровиче и не доканчивала мысли. Ей хотелось сказать: «не такой, как Вова, Жорж», — но она чувствовала, что Вова и Жорж тут не к месту Перебирала в уме других знакомых, тянулась глазами к фотографическим карточкам над туалетным столиком и опять обводила долгим, запоминающим взглядом профиль Василия Петровича. Наутро проснулась, разбуженная шипением примуса Василий Петрович пил черный, как деготь, чай и, просматривая бумаги, совал их в старенький портфель.

— Василий Петрович, который час?

— Половина десятого.

Голос у Василия Петровича был густой, как мед. Попив чаю, он сунул в карман револьвер, забрал портфель и торопливо ушел. Когда хлопнула за ним калитка, в дверь к Тусе сунулось крысье лицо старушки-полковницы из комнаты напротив.

— Ушел? — шепотом спросила она.

— Ушел.

Полковница вошла и подозрительно посмотрела на деревянный диван, служивший Василию Петровичу постелью.

— Багаж-то у него какой есть?

— Портфель и во-н чемоданчик!

— Обедает-то где?

— А мне и в голову не приходило, Евдокия Борисовна, где же он, правда, обедает?! — искренне изумилась Туся.

— Все они, большевики, дома не обедают, боя-ятся! — осторожно зашептала полковница. — Боятся, мышьяку подсыплют им... Что ж, и не раздевается, когда спит-то?

— Нет, раздевается.

— Не пове-ерю! И не раздевается, они никогда не раздеваются, нехристи.

Крысье лицо с седыми усиками потемнело; сжав высохшие кулачки и положив их один на другой, полковница зашипела, смотря на образ в углу:

— Уж дожду-усь, дождусь, когда из них кишочки пускать будут!

Туся посмотрела на старенькую полковницу, и ей стало страшно. Она представила себе Василия Петровича лежащим на полу и кого-то, кто пускает из него кишочки. И просяще протянула:

— Не на-адо-о! Евдокия Борисовна, не на-до-о!

— Надо! Надо! Надо! — застучала кулачком о кулачок полковница. — Вы смотрите в оба, неспроста вселился он, неспроста.

III

По стене над туалетным столиком были размещены в три яруса фотографические карточки. Вверху висел в вишневой рамке корнет на вороном коне. Под ним — еще корнеты, поручики, юнкера; ниже — карточки актеров в задумчивых позах, и совсем низко, под актерами, — несколько дешевеньких фотографий людей в кожах. Эти три яруса карточек над туалетным столиком Туси были тремя эпохами ее жизни. За месяцами и годами шпорного звона, вечеров, свиданий и встреч наступили годы без кондитерских и балов, с ослеплыми без магазинов улицами, когда только у актеров остались смокинги и разглаженные брючки, и только в них еще, казалось, теплилась так

внезапно отошедшая в прошлое прекрасная, блистающая огнями жизнь. Потом пришли люди чужие, незнакомые, в кожаных куртках и галифе, с витыми шнурами наганов. Они не сторонились при встрече и не говорили галантное: «Ах, простите!» От них пахло ветром и паровозом. Туся сперва пугалась их, но... под кожами стучало все то же глупое, а быть может, мудрое сердце человеческое...

— Почему вы никогда со мной не разговариваете? — повернулась Туся от туалетного столика к Василию Петровичу.

Василий Петрович только что пришел и возился у стола, вытаскивая из портфеля бумаги.

На вопрос Туси он посмотрел на нее так, как будто в первый раз ее увидал. Пропустил сквозь пальцы густую шевелюру и улыбнулся.

— Не разговариваю? Гмм... Ну давайте разговаривать!

У Туси было серьезное лицо.

— Знаете что? Налаживайте чай, а у меня есть конфеты, — весело заговорил Василий Петрович, — и... будем разговаривать!

Из кармана шинели он вытащил горсть конфет и рассыпал их по столу.

— Вот, видите!..

Никогда Туся с такою заботливостью не хлопотала, приготовляя чай. Накрыла стол чистой скатертью и для конфет поставила вазочку с длинной ножкой, похожую на одуванчик.

— Совсем как по-настоящему! — улыбнулся Василий Петрович и неожиданно спросил: — Сколько вам лет?

— Мне? Двадцать четыре.

Брови Василия Петровича изумленно пошли вверх, но он ничего не сказал. Отошел к туалетному столику и стал рассматривать фотографии: корнетов, актеров, поручиков...

— Это все ваши знакомые?

А Туся мучительно думала: «Зачем он рассматривает? Зачем я не убрала все эти карточки?» В первый раз, словно крупная дождевая капля, упала откуда-то мысль о жизни, прожитой не так. Туся умоляющими глазами потянулась к Василию Петровичу, как бы говоря: не надо, не надо об этом!

В одиннадцать Василий Петрович, отодвинув пустой стакан, потянулся к портфелю. В движении его руки, отставившей стакан, было невысказанное:

— Ну-с, поговорили!? Теперь не мешайте мне!

И у Туси было такое ощущение, будто и ее куда-то в сторону отодвинула эта рука. Так освобождают рабочий стол он ненужных бумаг, перед тем как приняться за работу.

Вытащив из портфеля бумаги, Василий Петрович чему-то улыбнулся и засвистел. Из-за ширмочек Туся долго, с тоской смотрела на его четкий профиль.

IV

Так прошло какое-то количество дней.

Как воры, крадущиеся в темноте, в город вползли тайные слухи о наступлении белых. Полковница стала чаще наведываться в комнату к Тусе и спрашивала:

— Сбежал, аль тут еще?

Василий Петрович исчез накануне той ночи, когда на город, в сырую предрассветную тьму прыгнул первый тяжелый вздох орудия, а наутро в покинутый красными город вошли белые.

В комнате после него осталось две книги и постель. В одной из книг Туся нашла недописанное письмо. Письмо начиналось словами: «Моя родная Катерина...»

Василий Петрович писал о своей жизни в новом для него городе, о товарищах по работе и о многом еще. Туся жадко глотала слово за словом и от каждой строчки возвращалась к первым словам: «Моя родная Катерина...» Образ незнакомой женщины вставал из письма — властно и неотвязно. С ней говорил Василий Петрович как равный с равным. Каждое слово его было простым и мужественным. Ни «Кити», ни «Каток», ни «Катюша».

Туся, подняв голову от письма, лежавшего перед ней на подушке, и куда-то всматриваясь заострившимися глазами, шепотом, раздельно произнесла:

— Ка-те-ри-на...

И слушала каждую букву.

«... а живу я в одной комнате с Тусей, — писал в конце Василий Петрович, — это разновидность существ в коротеньких платьицах, в тридцать лет выглядывающих девочками, с уменьшительными именами; вмещающих в себя — так мне думается — уйму коротеньких любвишек; в двух словах — коротенькая женщина...»

Исступленно впилась Туся в каждую букву. Запомнила покривившееся «любвишек»; запомнила каждую запятую.

И, оторвавшись от письма, стукнула туфельками по дивану и замотала головой, как лошадь, которую неожиданно и больно ударили.

«... разно-видность существ...» — пыталась она еще раз перечитать, но крупные строчки выступили из берегов, и капля за каплей мокрое, неодолимое размазывалось по письму фиолетовыми кляксами.

По-щенячьи, тоненько заскулила Туся, уткнувшись в письмо.

День, пустой, длинный, странный, наливался и налился горечью. Время не существовало. Задерживая всхлипы, Туся поднимала голову, режущими глазами всматривалась перед собой и видела Катерину. Катерина прочитала уже это письмо. Катерина смотрела на Тусю оттуда, из прочитанного. Так смотрит снисходительно сильный на уродца. И был мал день, и не хватало ночи, чтобы вместить пять коротких строк недописанного Василием Петровичем письма.

Туся не знала — утро было ли, полдень ли, или уход дня. Чужие руки бросили в комнату резко и настойчиво стук.

— Откройте!

Было странно, непонятно, и было страшно, что стучат, когда весь мир притаился и был как пропасть — бездонно тихий.

— Откройте!

Вооруженные, подозрительные вошли люди. Не было ни одной вещи в комнате, к которой бы не бросился настороженный глаз. Чернобородый офицер—на груди Георгий, в руке браунинг — посмотрел удивленно на встрепанную, с припухшим носиком, девочку.

— А вы кто?

Туся ответила не сразу. Припоминала что-то и собрала на лбу складки.

— Наталия Андреевна Круглопольская.

Офицер смотрел на нее, она — куда-то.

— Вы одна здесь живете?

— Одна.

— Гмм... А тут жил один... то-ва-ри-щ? Где он?

— Тут, тут был! — просыпалась злобно в разговор крысья полковница и даже вперед тиснулась, — тут, вот и постель его, и диван его, и чемоданишко вот...

Офицер сгреб в кулак бороду и потянул далеко в сторону стрелковидный ус.

— Вы не знаете, куда он улизнул? — спросил он Тусю.

Туся посмотрела в ту сторону, где был деревянный диван, служивший постелью Василию Петровичу. Василий Петрович, когда читал, близко придвигал к дивану большой круглый стол и садился так, что Тусе из-за ширм всегда был виден его четкий профиль.

Выпрямляясь, прямо в глаза Туся посмотрела офицеру, чувствуя, как всю ее заполняет незнакомое доселе, огромное, новое ощущение; будто вдруг выросла она, выросла в Катерину, написанную крупными, каждый слог отдельно, буквами, твердо и величаво: Ка-те-ри-на.

— Если бы и знала, я не сказала бы вам! — ответила она громко, не отрывая взгляда от лица офицера.

Офицер чуть наклонился и сощуренно всмотрелся в Тусю.

— Почему же вы не сказали бы? Вы — тоже красная?

Туся кивнула головой.

— Да.

Полковница всплеснула руками:

— Господи Иисусе! Она с ума спятила!? Не верьте, не верьте ей, оговаривает себя, не в уме!..

— Во-от оно что-о!? — протянул офицер, кому-то весело подмигивая. — Кра-асная?! Но тогда я вас арестую.

А Туся, выпрямленная, уносилась в растущем восторге к неведомому новому; видела себя иной, видела себя Катериной, и Василий Петрович уже ей, равной, писал письма.

— Арестуйте! Я не боюсь!

— О-о, какая же вы храбрая! — улыбнулся офицер. — Обязательно арестую, на весь вечер... Поужинаем вместе, а?

Он сделал движение взять Тусю за подбородок.

Туся растерянно отодвинулась. Широко раскрытыми глазами посмотрела на офицера, на полковницу и на других... Все улыбались.

Засмеялся и офицер:

— Ну-у не бу-ду, не бу-ду, не хныкайте! Ах, вы... большевичка!! — покрутил он головой. — Значит, вы не знаете, куда скрылся этот мерзавец?

Комната опустела.

Туся как стояла посреди комнаты, так тут же и опустилась на пол и закрыла руками лицо, в неслышном и безутешном плаче.

ОСКА

Был праздничный вечер в одном из двадцати кварталов Парижа. Загруженная палатками, балаганами, ларьками площадь напоминала багажное отделение вокзала. Бродячие актеры и фокусники на открытых сценах весело зазывали публику, обещая самые невероятные номера; укротительница львов и тигров, в полосатом трико, соблазнительно подчеркивавшем пышные формы, принимала томные позы перед исполнением грозящих смертью опытов с царем пустынь и свирепым бенгальским тигром; намазанные клоуны бросали в толпу непристойные шутки; где-то плакала одинокая скрипка нищего музыканта; пели выразительную «Маргарита», трещали колеса лото, звенели накидываемые на бутылки кольца, и сухо щелкали карабины в тирах...

Квартал Мон-Руж справлял свой годовой праздник.

Я остановился перед одним из балаганов. Черная коленкоровая вывеска с красными буквами гласила:

ОСКА

или

ЗНАМЕНИТЫЙ ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ!!!

Вход 10 сантимов.

?!? !?!

Я был убежден, что эта вывеска — обычный балаганный прием, но меня интересовал трюк, которым можно обмануть парижанина.

«Если это и обман, то обман остроумный, учитывающий как скептицизм парижанина, так и его неохоту расставаться попусту хотя бы и с десятью сантимами», — решил я и стал в очередь у кассы.

Публика в очереди была самая разномастная. Рабочие, мидинетки, молодые люди апашистого вида с фуляром на шее, неизменные участники каждого из двадцати квартальных праздников Парижа; были и благополучные буржуа целыми семейными выводками. Билеты продавала красивая, откормленная женщина. Хмурый мужчина в модном галстуке цвета «шантеклер» проверял билеты у двери и на вопросы любопытных о знаменитом пожирателе змей коротко отвечал:

— Проходите! Там увидите...

Публика шутила, острила, смеялась, но на лицах у всех я читал то же, о чем думал сам: «Как они нас обманут?»

Весь балаганчик занимал не больше шести-семи квадратных сажен. Сделан он был из тонкого теса. Внутри, посредине было огороженное заборчиком пространство шириной в два метра и чуть больше в длину. На земляном полу за загородкой сидел желтолицый человек с серьгами в ушах и кольцом в носу. Его голова была повязана красной чалмой с махрами. На земле рядом с ним стояла четверть молока и стакан: стакан был грязный и противный, как обычно бывает после давно выпитого молока. Кругом желтолицего человека, на земле, по углам копошились комья ужей. Некоторые из них медленно ползали вдоль загородки, вытягивали вверх по забору голову, украшенную золотистой коронкой, и, высовывая тонкое раздвоенное жало, тихо шипели.

Желтолицый человек исподлобья взглядывал на толпившуюся у загородки публику. Он сидел поджав по-турецки ноги. Меня поразило тупое безразличие его лица. Белки глаз были слегла тронуты красноватым налетом, как это бывает иногда от натуги.

Балаганчик быстро наполнился зрителями, плотно облепившими тесовую загородку. Красивая женщина, продававшая билеты, вошла в балаган и сделала знак желтолицему человеку.

Красноватые белки медленно обошли притихших зрителей, задержались на хозяйке и скользнули к ужам. Желтолицый человек налил из четверти в стакан молока и поймал одного из ужей. Я боялся до конца додумать мысль: «Неужели он сейчас...».

Чешуйчатое, гибкое тело, крепко перехваченное кулаком, извивалось и браслеткой закручивалось вокруг руки; золотистая коронка на голове металась из стороны в сторону, и было отчетливо видно, как появлялось и исчезало тонкое раздвоенное жало.

«Неужели он будет сейчас?!»

Желтолицый человек, захватив пальцами золотистую голову, поднес ее ко рту, сверкнул зубами и откусил. Обезглавленное судорожное тело он опустил шеей в стакан. Молоко в стакане порозовело. Все смотрели на смуглую руку, державшую обезглавленного ужа, и ждали, что будет дальше. Желтое лицо было бесстрастно и непроницаемо.

Медленным движением Оска поднес руку с ужом ко рту, зубами отодрал и, как чулок, заворотил шкурку с шеи на туловище, обнажив беловатое мясо. И быстро откусил.

Я видел его судорожный глоток. Я видел, как этот глоток прошел по всему его телу. Я подглядел конвульсию, еле заметную, но страшную, его смуглого лица.

Беспечная после делового дня публика была настроена весело. Десять сантимов, уплаченные за вход, давали право на остроты.

— Ну, как!?

— Вкусно?

— Он ест, как макароны!

— Это не так плохо, не правда, старина!

— Хорошенько жуй, иначе испортишь желудок!

— Продолжай! Еще кусочек!

— К хвосту жирнее!..

Я неотрывно глядел на желтого человека. Я видел, как мучительно долог был его глоток. Мне казалось, что это судорожное усилие никогда не кончится, и откушенный кусок никогда не пройдет пищевода...

Отбросив затихшее тело, желтолицый человек потянулся к стакану с молоком и жадным ртом припал к нему.

— Макароны с молоком! — опять острила публика.

— Это не молоко, это абрикотин!

— Крем-де-ваниль!

Рядом со мной благополучный отец семейства громко выразил свое негодование:

— Во-первых, ужи и змеи — не одно и то же, а потом он же съел всего-навсего один крохотный кусочек!

— Знаете что, — с внезапной ненавистью повернулся я к нему, — я с удовольствием бы заплатил последние десять франков, чтобы посмотреть на вас в его роли!

Сосед, не замечая моих ненавидящих глаз, весело отпарировал:

— Но я вегетарианец!

Кто-то засмеялся.

Опять вошла красивая полная женщина и объявила, что сеанс кончен. Когда я выходил из балагана, перед кассой была новая очередь. Черный коленкор с красными буквами над балаганом был виден отовсюду.

ОСКА
или
ЗНАМЕНИТЫЙ ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ!!!
Вход 10 сантимов.
?!? !?!

Опять полная красивая женщина рвала пухлой рукой белые талончики и ловко сгребала в ящичек серебряные и медные монеты, а хмурый мужчина у входа повторял на вопросы любопытных:

— Проходите! Там увидите...

Праздник кончался в полночь. Я толкался по площади, смотрел на игру в лото, слушал клоунов, бродил от одной открытой сцены к другой и не мог уйти от нечистого стакана с розовым молоком, и не мог забыть бесконечно долгого, судорожного глотка... По пятам за мной неотступно ходил желтолицый человек, и я ощущал во рту солоноватость крови, и мне все чудилось прохладное прикосновение к руке обезглавленного чешуйчатого тела...

Площадь пустела. Лишь около лото и тира редкие толкались люди. Открытые сцены свертывались. За занавесами стучали молотки. Было слышно, как подсчитывали выручку. Но еще играл нищий скрипач...

И я снова очутился у балагана с черной коленкоровой вывеской. В окошке кассы был свет. Я видел галстук «шантеклер» и четыре руки, две — жилистые, с узловатыми пальцами, и две — пухлые, в кольцах. Они раскладывали столбиками серебряные и медные монеты.

Когда огонь в кассе погас, из балагана вышел маленький человек в котелке.

Я сразу узнал в нем знаменитого пожирателя змей, хотя ни в ушах, ни в носу колец у него не было, и цвет лица был обыкновенный. Пройдя за ним полквартала, я поравнялся и предложил:

— Не хотите ли выпить со мной стаканчик вина, Оска?

Знаменитый пожиратель змей молча согласился, и через несколько минут мы сидели в ночном баре на авеню Мон-Руж. Я заказал красного вина. Оска посмотрел на меня и нерешительно проговорил:

— Мне абсенту, можно?

Абсент он пил не так, как обычно его пьют французы. Кусочек сахару, положенный на серебряную лопатку на

рюмке, он почти с презрением отшвырнул в сторону, медленно вытянул рюмку и попросил еще...

Я долго не решался ни о чем спросить его. Он заговорил первый. Посмотрел на меня мутневшими глазами и спросил:

— Вы иностранец?

— Да.

— Американец?

— Нет.

Он посмотрел на меня еще раз.

— Я русский, — сказал я.

— О-о, ру-усские!.. — протянул он и приложил руку к сердцу.

Он не пояснил, что хотел сказать этим восклицанием. Я молчаливо принял это как комплимент.

— Как жаль, что вы не знаете Клэр! — закатил он глаза. — Она очаровательна! Мы скоро поедем с ней в Марсель. Я обязательно познакомлю вас с ней! Когда она остается в одной рубашечке, я не могу, я визжу от восторга; я прыгаю на одной ноге!

— Клэр — ваша дочка? — спросил я.

— До-очка!? О не-ет! Когда у меня будет дочка, я ее тоже назову Клэр!.. Клэр — моя подруга! Она вот сейчас ждет меня в постельке...

— Скажите, сколько вам... платят? — спросил я, когда мы вышли из бара.

— За что?

— А вот за... это...

Оска понял и зябко съежился.

— Три франка в день.

Дальше мы шли молча. У церкви Мон-Руж он протянул мне руку.

— Я никогда не думал, что у меня может быть друг русский... Я бы хотел поцеловать вас, но вы видели, как я...

Судорога прошла по его телу.

— Но что же делать, — пожал он плечами, — когда нет другой работы... Три франка в день, и, знаете, с моими ужами!!! Прощайте!

ОСВОБОЖДЕННЫЕ ВОДЫ

I

Трещины изморщинили потемневший лед. Река дулась, как тесто. С каждым днем глинистая кайма обрывистого, невысокого правого берега становилась все у́же и у́же. И казалось — опускается берег.

Весеннее солнце сгоняло последний снег и торопило сотни хлопотливых ручейков.

В мелколесье левого берега суетились птичьи голоса. Среди них особенно резок был бестолковый, скрипучий стрекот длиннохвостых сорок, снующих целые дни по голому осиннику.

С юга тянули косяки гусей. С упругим свистящим шелестом проносились стаи уток, и плыли в прозрачных сумерках медлительные журавли.

По утрам на берег Вороны приходили деревенские парни, девки и ребятишки. Толпился суетливый весенний гомон. Все было полно ожиданием.

Ленька каждый день приставал к старому Игнату, караулившему бывшую барскую усадьбу:

— А когда лед тронется? А завтра тронется? А послезавтра?..

Невозмутимый Игнат, собирая в памяти многолетний опыт, раздумчиво говорил:

— Не должно быть, чтобы теперь тронулась она...

— А почему?

— Потому — ночь светлая, месяц!.. Река завсегда темной ночью трогается...

— А почему ночью, дядя Игнат?

— Завсегда ночью... На моей памяти не было, чтобы днем. Положение такое!

— Дядя Игнат, а я ноньче гусей видал! И мно-о-ого-о!!

На обожженном зноем и стужами коричнево-красном лице Игната разбегались лучики. Он улыбался Леньке беззубым черным ртом.

— Лед пройдет — самый раз вентиря ставить. Налиму тут — тысячи!.. А гусь — строгий, взять его тру-удно!

От дяди Игната Ленька мчался к полуразрушенному барскому дому, где в двух уцелевших комнатах поселился Егор Петрович, уполномоченный грачихинского кооператива, заарендовавшего у уисполкома усадьбу с паровой мельницей.

Бурно врывался в комнату пахучий весенним ветром, навозом и талой землей воздух.

— Егор Петрович!

Егор Петрович откладывал в сторону карандаш и счеты.

— Егор Петрович! А я ноньче гусей видал. И-и-х, и мно-ого-о!!

— Ну-у?

— Ей-бо-огу! Тыщу штук будет!

— Ты считал? — улыбался Егор Петрович.

— Двести... Сто штук будет, верно слово, не вру! — сбавлял Ленька.

— Вот подожди, лед пройдет, — на селезней с тобой поедем.

— Сразу поедем? Только-только пройдет, и поедем? — загорался Ленька. — А когда лодку шмолить? Давайте ноньче шмолить!?

— Отец где сейчас?

— В машинном... А я папаньку спрашивал: можно, говорю, с Егором Петровичем на охоту? А он говорит «можно». Верно слово! Сами спросите! Я и Лизе сказал...

При имени Лизы лицо Егора Петровича оживлялось. Подтянув к себе Леньку за руки, он спрашивал:

— Ну, а она что?

— Ни-чего! Ба-аба...

Обидные слова сестры о необсохшем молоке на губах Ленька повторять не хотел.

* * *

Из окна комнаты Егора Петровича был виден обрыв.

В закатный час, когда косые, негреющие лучи протягивали розовые длинные тени, на берег приходила Лиза...

Она приходила всегда одна и, если кто-нибудь появлялся, сейчас же уходила плывучей, медленной походкой.

«Тоскует», — думал Егор Петрович у окна, и ему хотелось потихонечку прокрасться к ней через сад, взять ее крепко за плечи да тряхнуть, да зыкнуть так, чтобы лед на реке треснул, чтобы тоска, как пробка из бутылки с шипучим квасом, в потолок хлопнула.

Силищи в Егоре Петровиче много было.

Хотелось, чтоб кругом все ходуном ходило...

II

Первой и главной заботой Егора Петровича был сорокасильный дизель на мельнице.

Дизель был мертв.

Второй месяц хлопотал около него старый Иван Федорович. Подгонял, нарезал, сваривал, чистил. И десять раз на день в машинное забегал Егор Петрович.

— Ну, как?

— Стучим, Егор Петрович!

Иван Федорович размазывал по лицу копоть, нефть и пот и сверкал ослепительными зубами. Егор Петрович ходил вокруг дизеля, щупал, похлопывал и вздыхал:

— Э-эх, кабы пошел!

— Пойдет, Егор Петрович!

— Пойдет?

— Должен пойти.

— Не пойдет — живьем съест меня общество!.. Моя ведь затея-то! Я ведь уговорил кооператив заарендовать усадьбу с мельницей. Я обнадежил!..

— Пойдет! Все в исправность приведем, — уверенно говорил старый машинист. — Вот с шатуном закончил. Теперь пусковой клапан, проверку должен сделать...

— А что, правда, сказывают, с умыслом попорчено? — спрашивал Егор Петрович. — Говорят, Сергей Сергеич-то всю ночь портил перед тем, как уйти отсюда?

Иван Федорович стаскивал кожаный картуз и скреб в лохматой голове.

— Порча, действительно, есть, которая с умыслом... Коромысло, скажем, у насоса или вот тоже впускной клапан... А только скажу, — без понятия все сделано! Ежели кто с понятием — подними нефтяной насос на три миллиметра, ну и... нипочем не узнать! Пришлось бы снимать картер и рамы проверять... Позавчера в город я ходил, в милицию... Да-а! Иду, смотрю — он сам, Сергей Сергеич. «Ну что, говорит, пустили мельницу, что ль?» Спрашивает, а сам эдак посмеивается. Хотел сказать ему: нехорошо, мол, так, Сергей Сергеич, образованным людям достояние народное портить! Да сдержался... Вот он какой!

— Ни себе, ни людям! — сплюнул Егор Петрович. — Откуда в них злобы этой?

— Темной души человек, — покрутил головой Иван Федорович, — и очки на нем желтые... Ничего не видать

за ними... Глаз свой хоронит... Я примечал, Егор Петрович, который человек глаз хоронит — обязательно нутро в нем темное!

— Черт с ним! — отмахнулся Егор Петрович. — Как только наладим дизеля, заработаем, тогда пусть приходит злобиться... Сита новые поставим, мужики повезут на свою мельницу. Каждый для себя стараться будет.

— Это непреме-енно так! — убежденно согласился Иван Федорович. — Своя, общественная мельница — сила!..

— Пусть приходит тогда!

— Он и то собирается... Приду, говорит, посмотрю, как новые хозяева хозяйничают на чужом добре...

III

Потомственный дворянин Сергей Сергеевич Королев очень любил живописные виды и усадьбу свою поставил на обрыве высокого берега Вороны, на самом острие треугольника, образованного крутым изгибом реки.

С обрыва открывался просторный вид на левый берег, поросший чернолесьем. За чернолесьем — город. На первом плане — казарма из красного кирпича. Из-за них — пять золоченых глав собора.

Сидя на обрыве, Сергей Сергеевич часто мечтал о любимом проекте своем: перекинуть воздушный мост с обрыва в город. Над чернолесьем, озерами, болотами — к собору. По прямой линии версты четыре

Мечтательность была в роду у Королевых.

Дед Сергея Сергеевича, Артемий Королев, всю свою жизнь о белом цвете мечтал. В его имении все было белое. Лошади, коровы, быки, овцы, куры, собаки, кошки — белые, без единой отметинки. Все другого цвета безжалостно уничтожалось. Все постройки, экипажи были выкрашены в белый цвет; и дворовые люди, и управляющий — все белобрысые; и когда родился сын у него, будущий отец Сергея Сергеевича, с черными, как у негра, кудряшками, Артемий Королев в колыбели лишил его наследства...

Младший брат Сергея Сергеевича — Андрей, умерший от чрезмерного пристрастия к алкоголю, тоже мечтал до самой преждевременной смерти своей. Его мечта была скромная: взобраться на кочетыгах на телеграфный столб против губернаторского дома и там «стебнуть», как говорил он, полбутылку.

Достройка паровой мельницы в имении, где протекала великолепная река, явилась результатом четырех роберов винта, за которыми прогоревший сосед развил мысль об американизации хозяйства... Сергей Сергеевич всегда тяготел к американской культуре... И мельница была построена.

Когда над порогами Вороны запыхтел сорокасильный дизель, Сергей Сергеевич устроил торжественный обед.

На этом обеде самой замечательной была речь полицмейстера.

— В наш век машин и паров, — полицмейстер говорил так же зычно, как на пожаре, — я приветствую в лице этого грандиозного произведения первую победу над косностью слепой природы и темной невежественностью народа, утопающего в лености и водке до потери сознанья и сыновних чувств, ведших государство наше к расширительным завоеваниям... Урра-а!!!

Обед продолжался четыре дня.

На четвертый день, когда пили уже не в доме, не за столом, а в саду, под яблонями, кто-то сказал:

— Хорошо бы теперь выпить под жареного чирка!

Андрей Королев призвал кучера, дал выпить стакан крепкого коньяку и сказал:

— Садись и разыщи Кучума! Скажи: Андрей Королев приказал сейчас же доставить чирят, а не доставит — голову отверну, а тебя разочту! Понял? — налил кучеру второй стакан и добавил: — Пусть сдохнет, а чирята чтобы были! Пшел!!

Кучер поклонился и рысью побежал к конюшням, а через час Кучум появился под яблонями с чирятами.

Его появление встретили разноголосым ревом и даже рукоплесканиями.

— Ку-чу-мка-а!

— Ге-ге-ге!

— Го-го-го-о! Мо-ло-дец!

— Ка-чать его, сукина сына!

— Ай да Кучум! Ай да мерзавец!

— Иди сюда, неумытая харя!

Кучум стянул с головы рваный картузишко и низко поклонился господам.

— С праздничком вас и прочее! Наше вам почтеньице!

— Принес?

— Обязательно, государь! Чирок особенный!

— Ну, иди сюда, пей!

— Налить ему меланже с искоркой!

Меланже с искоркой — слитые остатки из всех стаканов и для крепости — щепоть перцу.

— Много лет здравствовать!

Кучум тряхнул вихрами и единым духом осушил стакан.

— Покорнейше благодарим!

— Налить ему еще! Пдажди закусывать, черт сиволапый! Подбавить чистого.

И с чистым выпил Кучум, а через полчаса раскорячился.

— А кто я есть такой? Вы — господа, значит, а я кто есть? Аррря!

Слово «арря» имело в устах Кучума какой-то таинственный, известный ему одному смысл. И всегда за ним следовало выразительное ругательство.

— Арря-я! — по-козлиному проблеял еще раз Кучум, выругался скверно и, повернув к господам зад, шлепнул по нему ладонью.

— Вот вам чего!

Андрей Королев сзади подошел к Кучуму и треснул его по уху.

Кучум пластом растянулся на траве.

Девятипудовый Андрей Королев сел на него верхом, двинул его по другому уху и начал командовать:

— Веревок! Вяжи ноги! Вяжи руки!

— О-о, ой-о-ой! Ре-жу-ут! Ка-ра-у-ул! — вопил Кучум, не пытаясь освободиться.

Пегий кобель прыгал вокруг с трусливым лаем, бессильный помочь хозяину.

Полицмейстер запустил в кобеля пустой бутылкой из-под шампанского.

Откуда-то притащили двенадцатиаршинную толстую слегу и крепко прикрутили к концу ее Кучума.

— Поднимай теперь, ну! — скомандовал Андрей Королев. — Привязывай к яблоне!.. Крепче!

Кучум, очутившись на двенадцатиаршинной высоте, сразу протрезвел и стих. Сперва молча посматривал вниз. Потом смиренно начал просить:

— Смилостивьтесь, отпустите полегоньку!

— Пой скворцом! — снизу кричал ему Андрей Королев.

— Спустите, явите такую милость! Кончаюсь!

— Пой, сукин сын, скворцом!

— О-ой, пустите, кончаюсь!

И Кучум заголосил что было мочи:

— Ка-ра-у-ул! Конча-а-аюсь, ой-ой-о-о!!!

Пегий кобель, задрав морду, сидел в сторонке и подвывал, вскинув смешно одно ухо.

Кучум кричал до хрипоты.

С тех пор осип на всю жизнь.

Этим завершилось торжественное открытие паровой мельницы в имении потомственного дворянина Сергея Сергеевича Королева.

Мельница через год стала. Муку приходилось продавать в убыток, чтобы конкурировать с двумя паровыми мельницами в городе. Пошла мельница в год войны, когда Сергей Сергеевич получил казенный подряд. В эти годы барыши воскресили умирающую мечту о постройке воздушного моста, но революция вымела Сергея Сергеевича из насиженного гнезда.

В ночь перед тем, как уйти совсем из усадьбы, Сергей Сергеевич долго возился в машинном отделении, загоняя гвозди в цилиндры, отвинчивая гайки, ручки и все, что можно было пхнуть в карманы, а потом с обрыва в реку...

— На-те, выкусите!..

IV

— Э-о-о-о-о! Ле-енька-а-а!!.

Из машинного отделения кубарем выкатился Ленька, осмотрелся и, увидя на обрыве Егора Петровича, понесся к нему, звонко шлепая по лужам.

Добежал и, изумленный, остановился.

Река была в движеньи. И глухо ворчала.

Огромными полосами лед передвигался книзу. Льдины сталкивались, расходились, цеплялись краями за берег и, медленно крутясь, останавливались, образуя затор. Подходили сверху новые льдины. Глухо ломались от удара при столкновении; погружали один конец в воду и становились торчком, обнажая нижнюю часть, блестящую и прозрачную, как стекло, и вся масса льда останавливалась. Было слышно журчанье воды. Мелкие суетливые льдинки звенели. В их звонком шелесте каждый отдельный звук был слышен отчетливо и казался близким. А снизу, от моста, доносился глухой гул и треск. Там льды, бессильные сокрушить предмостные быки, взмывались по

ним до самых верхушек и, надрезанные железом, ломались, рушились, грохотали вниз и исчезали, уносимые мутными потоками воды.

Ленька рассеянно глядел на реку неуспевающими захватить всего глазами. С раскрытым ртом, еще полусонный, он словно оцепенел.

— Что, брат, проспал? — шлепнул его по плечу Егор Петрович.

— Когда же это она?

Егор Петрович набрал полную грудь ветра.

— Эх, картина! — сказал он и загоготал: — Ог-го-го-го-о!

Но его голос утонул в ветре и шумливой возне льдов.

Ленька почесал живот.

— Егор Петрович, а почему лед не тонет?

— Легче воды он, вот и не тонет.

— А если тяжелее, тогда чего?

— Тогда?

Егор Петрович подумал.

— Тогда весны не было бы!

— Почему? — испуганно посмотрел Ленька сперва на Егора Петровича, потом на реку.

— Дотошный ты, Ленька! — усмехнулся Егор Петрович. — Сам сообрази! Чего тогда получится? Лед утонет, на дно опустится, а воду наверх выжмет, а эта вода опять замерзнет — и тоже вниз. Ну? Так до самого дна вся речка промерзла бы, и никакой жаре не растопить! Понял?

Ленька мотнул вихрастой головой. Подумал и сказал:

— И тогда вентирей ставить нельзя?

— Венти-ре-ей? Тогда никакой рыбы не было бы!

— А лето?

— Чего лето?

— А лета тоже не было бы?

Егор Петрович задумался и вместо ответа спросил:

— Лиза встала?

— Чай собирает... Егор Петрович, а лодку ноньче шмолить?

— Смо-лить ло-одку? — переспросил Егор Петрович, думая о другом, и, словно эхо, повторил: — Ноньче смолить.

Ленька завизжал от радости и повис на руке Егора Петровича.

— А что, если сто штук убьем? Намедни я ворону у

конюшни — ке-эк дам! Она — брык! Наповал, верно слово, Егор Петрович! Да-але-еко сидела...

— Лен-ня! — раздалось сзади.

Из-за угла барского дома вышла Лиза и, увидя Егора Петровича, остановилась.

— Леня, пить чай иди!

— С добрым утром, Елизавета Ивановна! — крикнул Егор Петрович.

Как добрая лошадь, принятая на вожжи, он весь сразу запружинился и зазвенел каждым мускулом.

— С ледоходом, с весной вас! Идите полюбоваться с нами на реку!

— Нет, нет Егор Петрович, сейчас мне никак нельзя...— чуть испуганно проговорила Лиза, — папаша чай будет пить!..

Голос у нее был низкий, глубокий, и говорила она растягивая слова, не торопясь. Худенькая и легонькая до того, что в ветер Егору Петровичу за нее страшно было.

«А ну, как взвихрит, поднимет и унесет, как перышко?»

— Все-то дела у вас, Лизавета Ивановна!.. Свободной минутки, погляжу, нету.

Егор Петрович крепко зажал в широкой и сильной ладони маленькую худую руку Лизы и отпускать не торопился. Говорил, заглядывая под длинные ресницы, трепетно набегавшие на синие глаза.

— Весна, теперь и побездельничать можно часок-другой.

— Пустите!— проговорила Лиза, тихо высвобождая руку. — Папаша ждет, Леня, идем!

— А сама гадает на вас, Егор Петрович! — выпалил неожиданно Ленька. — Верно слово — на бубнового короля!

Лиза вспыхнула и, круто повернувшись, пошла прочь.

— Лизавета Ивановна! Лизавета Ивановна! Подождите! Слово одно сказать!

Лиза не оглянулась.

V

Закатав рукава рубахи выше локтя, Егор Петрович чистил ружье. На полу напротив него сидел на корточках Ленька, разинув рот, и внимательно следил за каждым его движением. У дверей высокий и прямой, как сосна, несмотря на свои семьдесят лет, стоял дядя Игнат.

Промыв стволы, Егор Петрович смазал их, протер насухо тряпкой и протянул Леньке.

— Ну, теперь смотри!

— Эх, и блести-и-ит! — проговорил Ленька, щуря глаз и смотря на свет лампы то в один, то в другой ствол.

— За ружьем ухаживать надо! В порядке чтоб всегда, понял? Пришел с охоты — сейчас же чисть! Вычистил, повесил, а потом садись сам есть, пить, спать... Теперь замки будем чистить...

— Как все приспособлено ловко! — вздохнул дядя Игнат, наблюдая за Егором Петровичем, ловко и быстро вывинчивавшим замки. — До всего человек домекался!.. А у меня, вон, одноствольная была, утятница... С пистоном которая. Мученье, бывало, с ней примешь! А чтоб чистить — никогда не чистил! Двадцать лет ходил с ей и ни одного разу не прочищал... А вдарит, бывало, ну прямо тебе сказать, все одно — из орудиев!..

— Теперь таких нету, дядя Игнат!

— Нету, нету... — вздохнул Игнат, — это действительно! Похитрел человек. А что, Егор Петрович, правду сказывают — ружье теперь обдумано: стрельнет, а ничего не слыхать?

— Бесшумное, значит?.. Не зна-ю... Врут!.. Потому, что хочешь тогда делай, кого хочешь убить можно безнаказанно... Не допустят!

— Я полагаю тоже — не должно этого быть! Духу в таком ружье неоткуда быть... Вон, у Сергея Сергеича ружьев-то много было. Хоро-о-шие, аглицкие были! Ну, а без толку, потому не охотник он...

— Много у них кой-чего без толку было, — с внезапной злобой сказал Егор Петрович. — Дармоеды!

— Теперь хорошо, вольготно стало!.. Хошь — на коблы ступай, аль вот в озерки насупротив, — продолжал Игнат. — Присад тут хороший. А при ем бывало — упаси бог! Только услышит — стрельнет кто, сейчас Федора кличет. Федор у его вроде за приказчика состоял... «Беги, говорит, отнимай ружье! Кто без моего дозволения стрелять может?» А сам аж весь затрясется... Во-олчья порода! А до женского сословия охоч был — бе-да! Девок понапортил — те-мно! Завистной!

Дядя Игнат покрутил головой и, помолчав, добавил:

— Вон сестра-то... — Игнат кивнул на Леньку, — через это самое дело жизни решиться хотела.

Егор Петрович выпрямился. Потемневшим взглядом впился в дядю Игната.

Потом быстро взглянул на Леньку.

— Леня, добеги-ка к себе... Вот что... Добеги-ка, стверточек там, понял, маленький... Поищи у отца, для замка вот...

— Папашка в город ушел.

— Ты поищи!.. Найдешь там какой-нибудь... Ступай, ступай!

Ленька вышел.

Оставшись вдвоем с Игнатом, Егор Петрович долго молчал. Перекладывал с места на место замки, цевье. Дунул зачем-то в пустой патрон. И, не смотря на Игната, спросил:

— Про Лизу говоришь?

— Про ее самое...

Что-то пожевал беззубым ртом Игнат, сгреб бороду в кулак и потянул книзу.

Продолжал невозмутимо,

Долгая, трудная, семидесятилетняя жизнь, освобожденная от любви и гнева, глядела из слов его прозрачным глазом последнего покоя. Людские горе и радость легли в память окаменелыми пластами, и Игнат, как киркой камень, отламывал скупые слова.

— О Петров день было... Перед тем как Николая свергнули—за год будет. Отца не было о ту пору. На Петров день мельница не работала. С бабой на покос в Шевлягинскую степь уехал. Леньку с собой взяли тож... Случилось это вечером, в эту вот пору. Я в караул заступил. Слышу, с крыльца сам кричит: «Поди, говорит, Лизавету позови посуду помыть!» А стряпуха действительно на деревню ушла, и был он во всей помещении одинешенек. Знал я повадку его. Думаю — не сдобра кличет девку... Пошел, говорю: «Барин кличет, посуду помыть!» А она веселая была. «Сейчас» — говорит... Годов семнадцать, поди, было ей...

Затаился Егор Петрович.

Левая рука, лежавшая на столе, захватила и стиснула цевье от ружья. И вздрагивали напружившиеся мускулы.

Дядя Игнат неторопливо достал берестовую табакерку.

— Не отведаешь? — предложил Егору Петровичу.

Егор Петрович отрицательно мотнул головой.

— Не утерпел, я сказал ей: «Не ходи ты к нему!». А

она смеется... «Он, говорит, конфеток даст». Да-а! За своим, значит, горем жизнь послала. Во-от оно что!.. Долго ли, коротко, глядь-поглядь — в саду я был, у кручи, — бежит она на кручь эту самую. И ка-ак я ее перехватил — ума не приложу?! Право-слово! Довел я, это, ее до дому, а она, как дурная... Рехнулась совсем и вся тряской трясется. Стал я тут разговор с ей вести. Так всю ночь около ей и просидел. Перво-наперво и слушать ничего не хотела. Я ее на хитрость тогда... Так и так, говорю, вытащут тебя из речки. Доктор вскрытие произведет и доподлинно все увидит, что и как... Поверила! Глупая была... С тех пор ее и не узнать! Восковая стала. И слова не услышишь, а до работы — завистней нету!

Егор Петрович долго сидел, опустив голову. Потом хрипло спросил:

— Дядя Игнат, ты...

Посмотрел на него тяжелыми глазами и, не дожидаясь ответа, ничего не сказав больше, вышел в сад, как был — в одной рубахе, не застегнув ворота.

Лиза сидела в горнице и читала Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Егор Петрович вошел, не постучавшись, и она вздрогнула, когда сказал он:

— С добрым вечером, Лизавета Ивановна!

А потом смутилась и стала поправлять скатерть.

В отсутствие Ивана Федоровича никогда не заходил к ним Егор Петрович.

И вдруг зашел. Да и чудной он был.

Взлохмаченный. Глаза блестят. В одной рубахе, без пиджака; ворот нараспашку, и рукава закатаны выше локтя на волосатых руках.

От этих волос на руках и на груди стыдно стало Лизе. Не решалась взглянуть на Егора Петровича.

Опустив голову, стояла у стола и ладонью разглаживала скатерть. Егор Петрович перевел дух.

— Лизавета Ивановна! Выходите за меня замуж! — сказал он твердо и громко.

Лиза побледнела.

Исподлобья кинула растерянный взгляд на Егора Петровича, и вдруг ее губы дернулись, будто перед тем, когда человек вот-вот заплакать готов... Вздрогнувшая рука смяла угол скатерти.

— Я за этим к вам пришел. Сказать это самое... За этим именно и пришел, Лизавета Ивановна! Услышать

от вас хочу. Больше ничего! Выходите замуж за меня. За этим именно пришел, Лизавета Ивановна!

— Не на-до, — тихо, так тихо, как дыханье, выговорила Лиза.

Глядя на лицо ее бледное, на блистающие глаза и трепетные от слез ресницы, Егор Петрович с никогда не испытанной силой почувствовал, что вот именно ее, только ее любит и никого больше любить он не может...

И чувство это таким огромным напором ударило по сердцу. Застонал Егор Петрович и опустил низко голову.

— Я все знаю...

И уже готов был все рассказать, — все, что узнал от Игната, и о всех думах своих сейчас там, в саду, на той самой круче, с которой хотела броситься она в реку, обесчещенная, о том, что бесчестье это не бесчестье, а несчастьем сделалось, а через горе человек чище бывает, любит крепче...

Поднял голову.

Два испуганно раскрытые глаза глядели в эти самые мысли его.

Лиза тихо попятилась от стола.

И удержался Егор Петрович.

В эту минуту перед синими испуганными глазами зарок себе дал на всю жизнь:

«Никогда виду не показать Лизе о том, что рассказал ему сегодня дядя Игнат...»

И засмеялся весело, раскатисто, как всегда смеялся.

— Напугал я вас, этакий трепаный... Эх, Лизавета Ивановна, неволить не могу, а от сказанного не отрекусь! Подумайте и мне свой ответ когда-нибудь скажите. Все думы передумал я... А мельница б пошла, жизнь-то какая бы стала! Чайную с читальней да с библиотекой здесь устроили б. Вас в нее, на хорошее дело. Читать бы стали, работать бы сообща, совместно все. А там еще... Да эх!.. Столько бы, столько, что...

Егор Петрович махнул рукой.

Встал.

— Всей ночи, до утра не хватит, если все-то рассказывать начну... Пойду я... Покойной ночи вам!.. Из-за этого и пришел, Лизавета Ивановна! Покойной ночи, Леня там меня ждет! Уток завтра привезем вам.

Егор Петрович вышел.

Было слышно, как прошел под окнами.

В горнице снова стало тихо.

VI

Всю ночь Ленька спал плохо.

Всю ночь думал о диких утках, гусях; убивал их десятками, победителем возвращался из неведомых озер, с ног до головы обвешанный черноголовыми селезнями, и под самое утро выдержал смертельный бой со стаей волков, напавших на него в дремучих лесах... И у волков были красные глаза, и разговаривали они между собой по-человечьи...

С первыми лучами солнца Ленька был уже на ногах.

Первым делом побежал в сарай, к кряковым уткам. Посыпал им проса, подлил в черепок воды, а от кряковых махнул вниз, под откос, где, прикованная на цепь, покачивалась на мутных водах просмоленная заново лодка. От лодки — к Егору Петровичу.

Старая Тимофеевна на кухне чистила картофель.

— Встал? — шепотом спросил Ленька, поглядывая на прикрытую дверь в комнату Егора Петровича.

— К чему это, эдакую рань вставать! — сердито ответила Тимофеевна.

— Мы ноньче на охоту...

— Какая ноне охота! Аль он бусурман? Благовещенье ноне...

У Леньки екнуло сердце.

— Ноне птица гнездо не вьет!.. Грех великий, а ты — на охоту...

— А Егор Петрович ружье вычистил... — упавшим голосом проговорил Ленька.

— Ну и вычистил, а ноне Благовещенье!.. Ишь вскочил рань какую!

— Мы чайник приготовили и уток кормили, — с слабеющей надеждой убеждал самого себя Ленька.

За дверью послышался громкий протяжный зевок.

Ленька ужом вскользнул в комнату.

— А-а-а, Алексей Иванович! — встретил его Егор Петрович и, зевая и жмурясь, как кот, потянулся до хруста в грудной клетке.

— А кряквы все просо поклевали... — начал Ленька, — я им еще сыпнул. И водички долил...

Ленька говорил заискивающим голосом и пытливо всматривался в лицо Егора Петровича.

— Молодец!

— Тепло-о ноньче... И ни одной тучки нету!..

— Это хорошо!

— И лодку я смотрел... Не течет. Ни капельки в ней нет!

Егор Петрович потянулся еще раз и выпрыгнул из постели.

В пустоту дообеденного времени Ленька, как в бездонный мешок, напихал всего, что мог: суету около лодки, укладывание и перекладывание в брезентовую сумку припасов; чистое ружье еще раз прочистил; напихал в карман сломанный компас, перочинный нож, свисток; приладил веревочки к корзинкам с кряковыми.

А обед все не наступал.

Раза три Ленька начинал хотеть есть. Подхватывал живот и говорил Лизе:

— А есть хо-очется!

— Что ты?! Недавно чай пили. Возьми, поди, хлеба!

— Неда-авно? — обиженно передразнил Ленька сестру. — Солнышко-то вон где!

К хлебу не прикасался и шел к Егору Петровичу. Смотрел на круглые стенные часы и ужасно хотелось ему подтолкнуть черную медленную стрелку.

Его одолевали сомнения.

«А вдруг Егор Петрович передумает?»

«А вдруг дождик?»

«А вдруг отец придет из города и скажет: нельзя?..»

Когда перед самым обедом к Егору Петровичу пришли из грачихинского кооператива члены правления, Ленька упал духом. С ненавистью глядел он, как, раскуривая махорку, они сидели с Егором Петровичем на бревнах и не торопились уходить.

А Егор Петрович словно забыл об охоте. Неторопливо рассказывал о совсем неинтересных вещах: о вальцах, о ситах, раструбах. Особенно сердился Ленька на Акима Иваныча, за то, что тот переспрашивал каждое слово, а когда говорил, — расставлял слова так, что в их прогалах можно было поставить роту солдат.

— Леня, поди-ка принеси ключи от машинного! — позвал его Егор Петрович.

— Я не знаю где...

— Спроси у Лизаветы Ивановны!

— А она почем знает! Их папашка с собой, должно, унес.

— Поди, поди! Живо!

Ленька долго не возвращался, хотя ключи сразу дала

ему Лиза. Подсматривал в окошко в надежде, что не дождутся и уйдут.

В машинном долго ходили вокруг двигателя, щупали и вздыхали... Аким Иваныч расставлял редкие, неторопливые слова. Ленька сверкал глазами и думал:

«И чего они тут! Понимают, тоже...»

VII

Когда отвалили от берега и Егор Петрович сильными ударами выровнял лодку, на косогоре показалась человеческая фигура. Она быстро сбегала вниз, размахивая руками.

Егор Петрович пригляделся и в несколько взмахов опять пристал к берегу.

— Ку-чум! — улыбнулся он, узнав.

— Вот грех-то! Чуть не опоздал! — засипел, спустившись к лодке, Кучум. — Один момент, и уехали бы...

За плечом у него болтались двустволка и корзинка с кряковой. Просаленный, в заплатах пиджак был перетянут веревкой; на веревке — жестяная фляжка и узелок с хлебом.

— Мне Игнат сказывает — в обед едут... А у меня, государь, никакого, то есть, припасу нету. Туды-сюды, насилу дроби достал, государь... А лодки самостоятельной — ни!.. На коблы, что ль?

— Садись, там видно будет! — сказал Егор Петрович.

Под дружными ударами весел лодка выкинулась на середину и, увлекаемая течением, ходко пошла по бурливой мутной реке к синеющему вдали дымному лесу.

— У моста, государь, настоящая выхуль, — сипел Кучум... — В городе по четыре рубля скупают.

— Выхухоль у нас бить запрещено!

— Какой нам запрет, государь!? — отвечал Кучум и зорко шарил глазами по залитым водою кустам.

* * *

Коротконогий, низкорослый Кучум был похож на обезьяну. На маленьком лице, заросшем шерстью, тесно были собраны глазки, вздерчутый ноздрястый нос и оттопыренные губы. Длинные руки были угловаты и жилисты.

Ловко работая топором, Кучум заострял жерди для шалашей и сипел:

— Селезень должен тут быть. Градские сюда не доходют... На этом самом месте, государь, я шесть штук сшиб! Воды тогда много было. Разлилась морем к самому городу. Исправник наказывал селезней обязательно доставить. Как сейчас помню, государь, шесть материковых. Жи-ирные! Ну, скажи, ба-ра-ны!!! Только это я причал сделал, вылез, он — Сергей Сергеич — собственной персоной тут и есть. И городовой с ним... Туда-сюда..., «В моих, говорит, дачах без дозволенья моего убил!» Отобрал, государь, ружье, да-а!.. А идешь, бывало, — шея с оглядков болит.

— Кучум, а как это ты скворцом пел? — с улыбкой спросил Егор Петрович, завязывая верхушки жердей, натыканных полукругом в землю.

В крохотных глазах Кучума вспыхнули злобные точки.

— Ишь, припомнил чего! — сказал он и замолчал надолго.

Достраивали третий шалаш.

— Веришь, Петрович, думал — кончусь... — засипел неожиданно Кучум. — Все одно как на голгофине разбойник. Принимай дух мой — да и шабаш! Ты думал, легко это, государь? А этот ирод очкастый нет-нет да снизу-то: «Кучум, а Ку-чум!..» Мягко эдак, будто поп... «А по-соловьиному можешь?» Ему хорошо!.. Не стерпел я под конец, к-ээк в очки-то ему харкну! Провалиться — не вру!

— А он что?

— «Ах, говорит, скверный ты хам! Из ружья, говорит, тебя сейчас из поганого...» Обдумал тоже! С той самой поры голос утерял, государь! От натуги это.

Кучум помолчал, сплюнул и в ухо Егору Петровичу просипел:

— Осенью я ему, очкастому, ригу спалил

— Ну?

— Именно. Дом хотел запалить, да...

Стайка материков со свистом пронеслась над разговаривавшими. Ленька схватился за ружье, растерянно смотря то на Егора Петровича, то на Кучума.

— Скоро и заря зачнет, — сказал Кучум, — ты, Петрович, в этот шалаш залазь, тут самое место. Ленька — туды, на край, а я посередке. Сидеть до темного.

Когда стали расходиться по шалашам, Кучум задержался у шалаша Егора Петровича, раздумчиво посмотрел вверх и вздохнул:

— Эх, кабы однова главным самым комиссаром побыть!

Егор Петрович улыбнулся.

— Ну?..

— На денек бы один!

— Ну, и что тогда?

— Сделал бы я...

— Чего?

— Та-ко-ое, уух! — зажмурился Кучум и закрутил лохматой головой.

В вечернюю зарю посчастливилось только одному Кучуму сшибить пару селезней.

Сидя у костра, Ленька с завистью рассматривал их и думал о том, что Кучум нарочно посадил его в крайний шалаш, чтобы он ничего не убил.

— Хитрый тоже. Себе серединку выбрал... Утром на его место сяду...

С этими невеселыми мыслями Ленька, пригретый костром, задремал, укутавшись в пиджак. Часто просыпался. От костра горячо было, а в спину дуло, и липкая сырость лезла под пиджак.

Сучья шипели. Густой дым душил огонь, и тогда низко опускалась ночь и снова отшатывалась, когда огонь, разорвав толщу дыма, весело вскидывал кверху. Огромный дуб, под которым устроили ночевку, тихо раскачивал могучие ветви и был живой.

Когда Ленька проснулся, Кучум и Егор Петрович сидели у догоравшего костра. На рогульке покачивался закипавший чайник и плевался из носка на уголья.

— Вставай закусывать! Скоро заря.

Егор Петрович снял с сучка брезентовый мешочек с провизией.

И хлеб, и яйца, и пахнувший болотом чай — все было необычайно вкусно. Ленька ел не торопясь, так же, как ели Кучум и Егор Петрович. И от этого все казалось еще вкуснее. С едой прошли грустные мысли о неудачной вечерней заре. Ленька с надеждами, почти с уверенностью залез опять в крайний шалаш. Зажал в руках дробовую берданку и весь превратился в зрение и слух.

Прямо перед шалашом, привязанная за лапку, купалась и прихорашивалась кряковая. Опускала голову в воду и грациозным изгибом шеи откидывала ее на спину. Накупавшись, начала таскать из ила червей.

С писком бултыхались по воде крысы; подплывали к насторожившейся утке и, нырнув, исчезали. Справа и сле-

ва по кустам скрипели улитки. И казалось — чмокают чьи-то клейкие губы. Впереди в камышах осторожно крякали утки.

С упругим свистом над шалашом пронеслась стайка чирят. Ленька крепче стиснул берданку, до боли напрягая зрение. Шли минуты.

И каждая уходящая минута отрывала от Леньки драгоценную возможность...

Хотелось, чтоб заре не было конца, а ночь неумолимо расползалась. Все светлей и светлей становилось вокруг.

Селезни не прилетали.

Кряковая, забыв о Леньке, мирно пожирала червей и лягушек.

— Хоть бы одного!.. Разъединственного одного!.. — шептал Ленька и весь вздрогнул, когда звучные, раз за разом, наполнили зарю два выстрела.

— Кра-кра-кррак! — закричала утка и вытянула шею.

Ленька застыл.

Стая материков пронеслась влево, где надрывно, неумолкая, кричала утка Егора Петровича.

И снова сочно, оглушительно полыхнуло над островом. Теперь выстрел был ближе, влево, где сидел Кучум.

Ленька готов был плакать от досады.

И, будто в насмешку, кряковая запуталась в веревочке и беспомощно забилась вокруг колышка...

Ленька выполз из шалаша. Долго возился с уткой, распутывая, и пока распутывал — еще два прогремели выстрела.

В тот момент, когда Ленька приготовлялся снова залезть в шалаш, неожиданно над головой его протянулось низкое и важное:

— Ка-гга-ак!

Большой табун гусей плыл над шалашом низко-низко. Ленька различал вытянутые красные лапки, прижатые к белому брюшку.

Как во сне припомнил потом все это Ленька.

Из его сознания навсегда ушло и то, как он поднял берданку, и как целился, и как стрелял.

Запомнилось: кувыркающийся сверху темный огромный ворох.

Гусь глухо шлепнулся в нескольких шагах от Леньки; трепыхнулся раз и два и будто веером прикрыл вытянутую лапу огромным судорожным крылом...

* * *

Возвращались весело!

На дне лодки — семь штук селезней и гусь.

На носу — героем — Ленька.

— Только это я вылез из шалаша, смотрю...

— Кучум, глянь-ко-сь крыло-то! Егор Петрович, смотрите! — Ленька растягивал могучее мертвое крыло и восхищенно говорил: — Аршин сколько будет?..

— На версту еще скажешь, — сплевывал Кучум, кровно обиженный в своем охотничьем самолюбии. — Сиди смирно! Лодку опрокинешь.

Ехали лесом. Просеками. Скрытые водой пни чертили по дну лодки, и лодка становилась. Егор Петрович натягивал высокие охотничьи сапоги, слезал в воду и тащил лодку за цепь. В прогалах осинника впереди светилась чистая просторная река. Ленька нетерпеливо посматривал на реку, сгорая желанием поскорее попасть домой

Наконец вывалили на простор.

Величавую чистую радость лила синева безбрежного неба. Румянились под солнечными лучами молодые вербы, и воздух окрест казался розоватым. С голой березы на другом берегу плавно снялся коршун. Поплыл в синем небе неторопливый, могучекрылый. Теневая сторона леса снизу была окутана легкой дымкой тумана, но в обнаженных верхушках уже трепетали золотистые солнечные нити.

На обрыве, у мельницы, неподвижная стояла фигура в черном. Кучум с кормы разглядел первый.

— Никак очкастый?

Егор Петрович посмотрел назад, через плечо

— Он и есть, — сказал Кучум и перестал грести.

Тихо ухмыльнулся и взял ружье

— Чего ты? — посмотрел на него Егор Петрович.

— А то чего же? — просипел вместо ответа Кучум и, повернувшись боком, медленно стал поднимать ружье.

— Не балуй! — строго остановил Егор Петрович. — Слышь, говорю, брось!

И поднял весло, мешая прицелу.

— Ничего от этого не подеется! — недовольно опустил ружье Кучум. — Дробь-ать — утиная!.. Попужать черта очкастого. Вреды никакой от этого!.. Вроде, как пострекочет...

— Брось! — еще раз повторил Егор Петрович и сильными ударами подвалил к опрокинутому у обрыва вязу.

* * *

Сергей Сергеевич Королев иногда наведывался в бывшую свою усадьбу. К его посещениям привыкли, и никто даже не замечал, когда приходил он.

Никому никакого дела до него не было.

В больших желтых очках, в стареньком черном сюртуке, был он весь линялый и жалкий.

Придет и бродит по усадьбе...

Подойдет к конюшне — вздохнет: припомнит чистопородную тройку; от конюшни к амбарам — вздохнет; у скотного двора постоит-постоит — вздохнет; вокруг дома — повздыхает и так по всей усадьбе разроняет бесплодные вздохи, как гнилые семена, пробудет день-другой и уйдет в город.

Лиза в каждый приход его забивалась в комнату и не выходила.

Семь лет прошло с того вечера, но помнила Лиза все, как сегодняшний день.

Вино было сладкое и горячее... На долгий и страшный миг отнялись руки и ноги, и все вокруг поплыло... И тогда низко-низко заглянули в лицо ей огромные желтые очки, а холодные мокрые губы из-под жестких усов присосались к телу, как слизняк, и выпили зараз всю силу и крик...

* * *

Стоя на обрыве, Сергей Сергеевич глядел вниз.

На причалившую лодку.

И под седыми усами нехорошо возилось:

«Тоже господами стали... Гра-би-те-ли!»

С веслами на плече из-под кручи вылез Егор Петрович.

— Сергей Сергеич, здравствуйте!

И протянул руку.

Протянул руку и Сергей Сергеевич.

Кучум вылез вторым и плюнул.

А Леньке все равно в этот день было кому не рассказать — да рассказать.

Он волочил за ноги раскрылившегося огромного гуся.

— А я гуся убил, Сергей Сергеич!

Сергей Сергеевич потрогал концом палки убитую птицу.

— Гмм...

Шевельнул седыми усами и поправил на голове светлый клетчатый картуз.

— Проведать пришли? — осведомился Егор Петрович и передал Кучуму дичь, весла и ружье.

— Скажи Тимофеевне, насчет самоварчика чтоб...

Сергей Сергеевич и Егор Петрович остались вдвоем.

— Мельницу пускать хотите? — спросил Сергей Сергеевич.

— Непременно, непременно пустим! — уверенно ответил Егор Петрович. — Отдохнула, теперь ей и потрудиться пора.

— От кооперации работать будете?

— От нее. От правления...

— А двигатель как?

Спросил и под усами проползло усмешливо.

— Приводим в порядок. Пойдет!

— Гмм...

— Да, Сергей Сергеич, пойдет...

— В добрый час!

— Покорно благодарим!

— И нефть есть?

— Нефть нам в кредит... Государство навстречу идет кооперации. Дело общественное.

— Гмм...

Так разговаривая, рядышком шли по усадьбе к мельнице.

Заложив руки за спину, Сергей Сергеевич бросал по сторонам из-под очков взгляды. Узнавал старое, хозяйское. И покашливал: гмм!

У каменных конюшен Егор Петрович остановился.

— Видите, — отремонтировали. Денников прибавили.

— А это зачем?

— Сюда мы поставим заводских производителей. От кооперации. Лошадь настоящую дадим... Для мужика лошадь, сами знаете, — первое дело! На скотном быков заведем племенных. Кооперация, Сергей Сергеич, дело большое, нужнейшее дело... Сейчас крестьянство поняло выгоду...

От конюшни к амбарам, от амбаров подошли к бывшей людской — большому каменному дому.

В открытые окна вырывался свистящий вздох рубанка.

— А тут что?

Сергей Сергеевич осторожно заглянул в окно.

— Читальня с библиотекой будут здесь... Мужик зерно привезет, в очередь, понятно, вот и будет здесь пережидать. И чайную здесь же откроем... Лекции читать будем. У вас этого не было, Сергей Сергеич?

В словах Егора Петровича мертвая усадьба оживала и начинала биться огромным сердцем, связанным тысячами нитей с раскинувшимися окрест деревнями и селами. Егор Петрович увлекался, забывал, что перед ним дворянин-помещик, бывший владелец усадьбы, ненавидящий зеленой ненавистью все, что от революции. Забывал и многое другое, незабываемое, и говорил страстно, убежденно, с непоколебимой верой в будущее.

Из-под круглых желтых очков Сергей Сергеевич посматривал на простецкое лицо Егора Петровича, и просачивалось в душу ему, вопреки самым закоренелым верованиям, обидное:

«А что, если правда? Если все будет так, как говорит этот нахватавшийся в городе мужик, холуй».

И сказал поспешно:

— Ничего не выйдет из этого!

Егор Петрович чуть улыбнулся.

— Почему?

— Хозяев много! А настоящего нет!

— Это вас-то?

— Ннет... мы свое отжили!.. Заботится человек и старается только о своей собственности, а когда много хозяев...

Егор Петрович прищурился.

— Мы, Сергей Сергеич, тоже собственники, — тряхнув головой, сказал он. — Только есть у нас с вами разница... У вас, например, — усадьба, а у нас — куда глаз хватит! А глаз у мужика на всю землю. Вот оно что! Чтоб на всем земном шаре одно хозяйство зашевелилось... Вот ка-ак!..

— Твой отец у моего деда в конюхах был, — произнес Сергей Сергеевич.

Егор Петрович сбоку посмотрел на Королева.

Снял картуз и, зайдя наперед, поклонился.

— Спасибо вам, Сергей Сергеич, и деду вашему!

— На конюшню посмотрел и вспомнил, — добавил Сергей Сергеевич.

— Так, так, — сказал Егор Петрович. Помолчал и тихо спросил: — Все припомнили-то?

Шли по саду.

Мимо барского дома липовая аллея вела на обрыв.

У обрыва на круче, над рекой, остановились.

Сергей Сергеевич вздохнул.

Здесь мечтал он о постройке воздушного моста.

— Собор-то как хорошо видно... — проговорил он, смотря на видневшийся за чернолесьем город.

— Все по-старому, только вот... Припомнили-то все? — с настойчивостью, но тихо повторил Егор Петрович.

Сергей Сергеевич раздумчиво посмотрел на него.

— О чем вы?

Егор Петрович подошел к Сергею Сергеевичу в упор.

Увидел под желтыми очками забегавшие глаза. И глотнул подступившую к горлу злобу.

— Ничего не забыли?

Ладонью провел себя по оттопыренному боку Сергей Сергеевич, а другой рукой поправил очки.

Егор Петрович перевел дух и шепотом спросил:

— Ли-зу-то?

Сергей Сергеевич попятился.

— Тут вот, на этой круче... Помнишь, что ль? Гговори, гад старый! — зарычал Егор Петрович.

Как железные крючья, впились его пальцы в сюртук и тело Сергея Сергеевича у самых мышек и встряхнули с бешеной силой.

Из оттопырившегося сюртука просыпались пачки, перевязанные ленточками и ниточками: николаевские сотенные, пятисотки, акции, еще что-то.

— А-ай! — взвизгнул по-бабьи Сергей Сергеевич и одной рукой тщетно пытался удержать очки.

Расставив ноги, Егор Петрович оторвал его от земли и вскинул над головой.

— Спущай, спущай его, ирода, в кручь! — засипело вдруг около.

Кучум, раскорячившись, снизу всмотрелся в Сергея Сергеевича и, натужившись, заблеял:

— Ар-р-ря!!!

На одно мгновенье, раскрылив черный сюртук, Сергей

Сергеевич замер в страшном взлете над обрывом, над мутными бурливыми водами.

В этот момент над садом, над рекой и над всей усадьбой прошел гулкий вздох.

Егор Петрович, бросив на землю Сергея Сергеевича, застыл.

Второй короткий, мощный вздох.

И еще.

Будто вылетали тугие пробки из чудовищных легких.

Егор Петрович посмотрел на Кучума, на Сергея Сергеевича, растопырившегося беспомощно на краю обрыва, и, ничего не сказав, побежал к мельнице.

Навстречу ему от мельницы пулей мчался Ленька.

— Его-ор Петрович! Поше-ел! Поше-ел! Скорей!

На пороге машинного Егор Петрович остановился, как вкопанный.

Дизель был живой. Дизель пошел.

Огромный маховик мерно крутился. Стучали поршни. Иван Федорович, черный от нефти и копоти, улыбался ослепительными зубами.

Голос Егора Петровича утонул в шуме и стуках работающей машины. Не слышно было и Ивана Федоровича. Но оба они понимали друг друга и крепко трясли друг другу руки.

Выходя из машинного, на пороге встретил Лизу.

Она улыбалась, и глаза ее сияли. Золотились на солнце белокурые волосы. В первый раз Егор Петрович увидел на ней светлую кофточку, и Лиза показалось ему прекрасной как никогда. Он посмотрел на нее, посмотрел на Ивана Федоровича. Набрал воздух и сказал Ивану Федоровичу:

— На такой радости прошу я тебя — отдай за меня Лизавету Ивановну!

Иван Федорович вытер синим рукавом блузы потное лицо и протянул Егору Петровичу руку.

От мельницы Егор Петрович вернулся в сад — вспомнил Сергея Сергеевича.

Ноги чтоб его здесь не было!

Кучум сидел на обрыве и развязывал пачки с николаевскими. Рядом с ним на земле валялась смятая клетчатая фуражка. Сергея Сергеевича не было.

Егор Петрович недоуменно осмотрелся.

— Убрался?

Кучум поднял заросшее шерстью лицо.

На нем были одеты желтые очки Сергея Сергеевича.

— Оступился он... Туды и загул!—мотнул он головой под обрыв.

Егор Петрович посмотрел с обрыва на быструю воду реки. Вспомнил жалкое испуганное лицо бывшего помещика, когда он недавно поднял его тут над обрывом, и в груди шевельнулось какое-то гадливое чувство. Обернувшись к Кучуму, Егор Петрович сказал:

— Конченный он был человек, Кучум. Зря ты его...

Кучум махнул рукой в ответ и крепко выругался.

ПРИМЕЧАНИЯ

Текст «Внука Тальони» и объяснения специальных слов и выражений, встречающихся в нем, печатаются по изданию: Петр Ширяев. Внук Тальони. Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1956.

Стр. 9. *Ногавки* — кожаные предохранители, которые надеваются лошади на пясть или плюсну для предохранения от ушибов во время движения.

Чек — специальный ремень, помогающий лошади при быстрой езде держать голову поднятой, вследствие чего она идет более устойчивой рысью.

Денник — отдельное помещение для лошадей в конюшне, где лошадь не привязывается и может свободно передвигаться.

Стр. 10. *Американка* — специальный двухколесный экипаж (качалка) на тонких дутых шинах. Впервые был привезен в Россию американскими наездниками.

Машистый жеребец — лошадь с размашистым ходом.

Стр. 12. *Флюид* — лекарственная смесь, применяется для растирания лошадей в целях усиления кровообращения или как охлаждающее средство.

Стр. 13. *Кобыла сейчас должна приехать без сорок...*—Это выражение означает, что лошадь проходит дистанцию 1 600 метров на 40 секунд быстрее тех 3-х минут, которые установлены как контрольные (минимальные) для прохождения этого расстояния. Такой своеобразный счет времени сохранился у наездников до сих пор.

Стр. 18. *Брошу... за флагом.* — Для каждого возраста лошади установлен так называемый флаг, та разница во времени, которая допускается между финиширующей лошадью и последующими лошадьми. Лошадь, оставшаяся за флагом, теряет право на получение какого-либо места и полностью лишается призовых сумм.

Будет на сбою — то есть лошадь перейдет с движения рысью на галоп, что не допускается при рысистых испытаниях. Лошадь, сделавшая 4—5 таких сбоев на дистанции, выбывает из соревнований. Сбой во время прохождения финишного столба (*галопом столб* — стр. 22) лишает ее какого-либо места и вообще дисквалифицирует.

Стр. 20. *Крэк* — лучшая лошадь в тренерской конюшне или на ипподроме.

Стр. 24. *Полуторная без двенадцать* — 400 метров пройдено лошадью за 33 сек.

Полкруга без двадцати трех — 800 метров за 1 мин. 07 сек.

Стр. 46. *Две четырнадцать* — означает, что лошадь прошла дистанцию 1 600 метров за 2 мин. 14 сек.

Стр. 48. *Спид* — наивысшая способность лошади к броску при прохождении дистанции.

Стр. 77. *Исплек* — простонародное выражение, обозначающее вывих или полувывих плече-лопаточного сустава у лошади, который приводит к атрофии мышц плеча и другим заболеваниям плечевого пояса.

Стр. 157. *Полуторная без десять* — 400 метров за 35 сек.

Стр. 166. *Шестой сзади* — лошадь, вырывающаяся раньше времени вперед, штрафуется, то есть берет старт позади общей шеренги лошадей.

Рассказы «Цикута», «Коротенькая женщина», «Оска» печатаются по изданию: Петр Ширяев, Цикута, издание второе, «Земля и фабрика», Москва — Ленинград.

«Солдат революции» печатается по изданию: П. Ширяев. Солдат революции. Государственное издательство.

«Освобожденные воды» печатаются по изданию: П. Ширяев, Освобожденные воды, Государственное издательство, 1928, Москва — Ленинград.

СОДЕРЖАНИЕ

Р 2
Ш 87

Ширяев Петр Алексеевич.
ВНУК ТАЛЬОНИ. РАССКАЗЫ. Тамбов, Книжное изд-во, 1962.
256 с.

Художник Е. В. Соловьев
Художественный редактор Г. В. Дергаченко
Технический редактор В. Н. Попов
Корректор А. М. Бурмистрова

* * *

Сдано в набор 17 февраля 1962 г. Подписано к печати 25 мая 1962 г. Формат бумаги 84×108/32. Печ. л. 13,44. Уч.-изд. л. 14,51+1 вклейка=14,54. Тираж 75 000 экз. Изд. № 412. Заказ тип. № 1715. Цена 59 коп.

* * *

Тамбовское книжное издательство,
г. Тамбов, Советская, 118
Типография «Пролетарский светоч»,
г. Тамбов, Советская, 118

Цена 59 коп.

ТАМБОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1962